Г-2
Г-83
101064

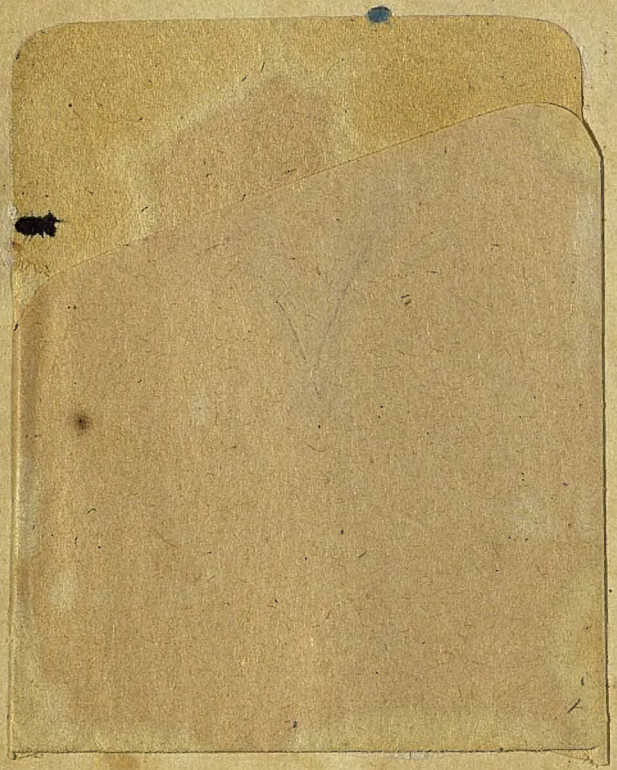
# ГРИБОЕДОВ

## ЕГО ЖИЗНЬ И ГИБЕЛЬ

## В МЕМУАРАХ СОВРЕМЕННИКОВ

КРАСНАЯ ГАЗЕТА
1929

K



Г-2

Г-2
Г. 83

БИБЛИОТЕКА
Московской
Православной Духовной
Академии
Инв. № 101064

А. С. Грибоедов

Из собраний Пушкинского Дома.
С портрета, принадлежавшего
В. П. Всеволожскому.

# А. С. ГРИБОЕДОВ

## ЕГО ЖИЗНЬ и ГИБЕЛЬ

## В МЕМУАРАХ СОВРЕМЕННИКОВ

Редакция и примечания Зин. ДАВЫДОВА

БИБЛИОТЕКА
Московской
Православной Духовной
Академии
Инв. № 101064

Издательство «КРАСНАЯ ГАЗЕТА». Ленинград. 1929

ТИПОГРАФИЯ
«КРАСНОЙ ГАЗЕТЫ»
ИМЕНИ ВОЛОДАРСКОГО
ЛЕНИНГРАД
Фонтанка, 57

Ленинградский Областлит № 22268. Заказ № 4439. Тираж 10.000.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Исполняющееся в 1929 году столетие со дня смерти Грибоедова должно сильнее привлечь общественное внимание к гениальному творцу «Горя от ума», к его трудной жизни и к столь необычайной и горькой его гибели. Его гражданский пафос, который взлелеяло «дней Александровых прекрасное начало», снова захватит нас своею свежестью, столь же неувядаемою, как и страстное воодушевление всего выросшего в эту эпоху поколения. Та исключительная, дотоле незнаемая сила, с которой Грибоедов бичевал «прошедшего житья подлейшие черты», была возможна только потому, что он был голосом, рупором своего поколения; вместе с последним оборвался и заглох этот голос, когда наступило пресловутое «начало славных дней» императора Николая, принесшее с собою «мятежи и казни» и преждевременный конец самому Грибоедову и его боевым товарищам, сверстникам, единомышленникам и друзьям. Он был не единственным «на поприще славы», кого сожрало свирепое безвременье; оплакавшие его Пушкин, Бестужев и Александр Одоевский последовали за ним вскоре — так же до срока — один за другим.

Предстоящая нам в этом году новая встреча с Грибоедовым должна вызвать большой интерес к его облику, каким он являлся современниками людям, знавшим Грибоедова близко. Но здесь придется натолкнуться на обстоятельство, констатированное еще Пушкиным, когда он на уединенной дороге — за Безобдалом — столь разительно повстречался с телом несчастного «Грибоеда», с «Грибоедовым-Персидским», возвращавшимся «в русские пре-

делы» на скрипучей грузинской арбе: «*замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов*»; и следы, оставленные Грибоедовым в памяти современников, во всяком случае, несколько путанны и не очень глубоки. Что делать?.. «Мы ленивы и нелюбопытны», память у нас короткая да и забвение было предписано с высоты престола. Ведь, «его величеству отрадна была бы уверенность», что эту страшную смерть «должно приписать опрометчивым порывам усердия покойного Грибоедова» и потому «его величеству» нетрудно было «предать вечному забвению злополучное тегеранское происшествие».

Но припоминания современников Грибоедова, как бы ни были они летучи и отрывисты, являются подчас чуть ли не единственными источниками для отдельных моментов его биографии. Кроме того, они, как и всякое свидетельство подобного рода, обладают яркостью и трепетной жизненностью, редко в такой мере присущею официальному документу. Поэтому собрать вместе известный цикл разбросанных записей о живом Грибоедове и об обстоятельствах его смерти представлялось нам, при наблюдающемся сейчас к нему интересе, делом далеко не лишним. Несмотря на все противоречие оценок, предопределенное разностью темпераментов, положений и подходов, перед нами должен здесь встать живой человек со всеми свойственными ему «неизбежными спутниками человечества». И наряду с задушевными признаниями близких друзей, знавших Грибоедова очень хорошо, читатель найдет в этой книге и прямолинейные обвинения Н. Н. Муравьева, и неожиданный партизанский удар Дениса Давыдова, и просто запоздалые уколы исподтишка. Никто, однако — ни панегиристы, ни хулители — не мог подняться до той всеобъемлющей высоты восприятия личности Грибоедова, как это, естественно, удалось Пушкину. Простота и торжественность, какая-то особенная тишина, разлитая в этих абзацах из «Путешествия в Арзрум», кажется реквиемом, под звуки которого Пуш-

кин, стоя над прахом растерзанного собрата, оплакал его достойно и немногословно.

Желая придать нашей книге некоторую органичность и стройность, мы, исходя из самой природы наличного материала, разбили его на шесть разделов, куда вошли наиболее крупные и значительные записи и рассказы современников о Грибоедове. Ряд припоминаний о нем, не вошедших в основной текст, читатель найдет в наших примечаниях (позади текста), где припоминания эти также соответствующим образом систематизированы; сюда относятся записи: Кс. А. Полевого, А. С. Стурдзы, Е. В. Новосильцевой, И. П. Липранди, К. А. Бороздина (о Нине Грибоедовой)... Кроме того, мы сочли уместным в тех или иных случаях вводить в примечания краткие извлечения из записей мемуарного характера, относящихся к друзьям и знакомым Грибоедова, так сказать — к грибоедовскому окружению.

Записи современников Грибоедова, собранные в нашей книге, печатались в различных повременных изданиях на протяжении восьмидесяти лет. В примечаниях в конце книги даны точные указания, из какого издания мы воспроизводим на страницах нашего сборника ту или иную мемуарную запись. Печатая весь этот материал по новой орфографии, мы, тем не менее, старались соблюсти возможную точность воспроизведения его, сохраняя в неприкосновенности стилистические промахи отдельных мемуаристов, а иногда и колоритное своеобразие их транскрипции. Это, тем более, относится к транскрпиции персидских собственных имен и терминов, иногда искаженных почти до неузнаваемости; приводить их к одному, хотя бы и верному, знаменателю, мы не считали себя вправе, несмотря на все желание видеть нашу книгу хоть сколько-нибудь цельной.

В дремучих дебрях персидского Востока и в недрах иностранных дипломатических архивов дремлет, надо думать, не одна еще тайна, имеющая ближайшее касательство

к тегеранской катастрофе, к трагическому эпилогу «ратоборства Грибоедова со всем царством персидским». Почему «искра его погибели таилась уже в Персии прежде, нежели он туда приехал», и почему сам Грибоедов, отправляясь в последний раз на Восток, был так мрачно и неколебимо уверен, что «нас там непременно всех перережут», — весь этот змеиный клубок и сейчас еще не совсем распутан. Но и из того, что мы могли представить в нашей книге, внимательный читатель уловит и поймет многое, а главное, он ощутит живого Грибоедова, эту желчь «одного из самых умных людей в России» среди «всей свольчи здешних литераторов», его верность другу, его «холодную храбрость» и гражданскую зрелость.

Зин. Давыдов.

# I

Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, все в нем было необыкновенно привлекательно.

А. Пушкин.

Ф. БУЛГАРИН[1]

## ВОСПОМИНАНИЯ О НЕЗАБВЕННОМ АЛЕКСАНДРЕ СЕРГЕЕВИЧЕ ГРИБОЕДОВЕ

После плачевного события, лишившего Россию одного из избранных сынов ее, а нас, друзей Грибоедова, повергнувшего в вечную горесть, — часто собирался я написать несколько строк в память незабвенного; но при каждом воспоминании о нем, глубокая скорбь, объяв душу, заглушала в ней все другие ощущения, затемняла разум и лишала возможности мыслить... я мог только проливать слезы...

Наконец, время, не исцелив ран сердечных, освоило меня с горестью, как увечного с его недугом. Я решился представить очерк жизни, или, лучше сказать, нравственного бытия Грибоедова, не для утешения друзей его (ибо нам невозможно утешиться), но исполняя долг гражданина, друга и писателя. Чувствую, что при всей моей любви к Грибоедову, при всем познании его характера, я не могу изобразить верно его нравственный портрет. Горжусь и тем, что мог постигнуть возвышенную его душу и оценить необыкновенный ум и дарования.

Жизнь Грибоедова обильна чувствованиями, мыслями, мечтами высокими, но не богата происшествиями[2]. Грибоедов родился около 1793[3] года. Род его ведет свое происхождение из Польши, от фамилии Грибовских, переселившихся в Россию, кажется, в начале царствования рода Романовых. Один из предков Грибоедова подписался на Уложении царя Алексея Михайловича, припоминающем, во многих местах, Статут Литовский, сочиненный

литовским канцлером Львом Сапегою в XVI веке. Это заставляет думать, что предок Грибоедовых, писавший Уложение, мог быть нарочно вызван в Россию для этого дела как муж искусный в правоведении. Впрочем, это одно предположение, о котором мы неоднократно говорили с покойным другом. Герб его и надпись на нем [4] объясняют происхождение и древность его рода, который отныне получает новый блеск дарованиями и душевными качествами покойного Александра Сергеевича, лучшими правами на уважение соотечественников. Воспоминания о знаменитых предках служат укором недостойным потомкам, которые гордятся чужими заслугами. А. С. Грибоедов облагородил бы всякое происхождение.

Он получил первоначальное воспитание в Москве, в доме родительском. Лучшие профессоры Московского университета и частные учителя преподавали ему уроки. После он стал посещать университетские публичные лекции как вольнослушающий студент; учился прилежно, страстно, более всех споспешествовал к развитию способностей Грибоедова знаменитый московский профессор Буле [5]. У него Грибоедов брал частные уроки в философических и политических науках на дому и руководствовался его советами по всем отраслям познаний. Наступление отечественной войны прекратило учебные занятия Грибоедова. Получив по экзамену степень кандидата прав, с чином 12 класса, А. С. Грибоедов в 1812 [г.], июля 26-го, вступил в военную службу корнетом в формированный графом Салтыковым Московский гусарский полк, который вскоре был распущен по смерти графа в Казани, и Грибоедов поступил, в декабре того же года, в Иркутский гусарский полк.

Эскадрон, в который он был определен, находился тогда в Литве, в резервном кавалерийском корпусе, состоявшем под начальством генерала-от-кавалерии Андрея Семеновича Кологривова; главная корпусная квартира была в Бресте-Литовском. Здесь для Грибоедова началась новая жизнь. Пламенная душа его требовала деятельности, ум

пищи, но — ни место, ни обстоятельства не могли удовлетворить его желаниям. Надлежало чем-нибудь наполнить пустоту сердца, и юность представила ему в радужных цветах мечты наслаждений, которых истинная цена познается только с летами и опытностью. Дружба спасла Грибоедова от сетей, в которые часто попадают пылкие и благородные, но неопытные юноши в начале светского поприща. В это время Грибоедов познакомился и подружился с Степаном Никитичем Бегичевым[6], бывшим тогда адъютантом при генерале Кологривове, и нашел в нем истинного друга и ментора. Дружба эта продолжалась до смерти Грибоедова и длится за гробом. В свете не поверили бы и стали удивляться такой дружбе, какая существовала между Грибоедовым, Бегичевым и еще некоторыми близкими к сердцу покойного. Чувства, мысли, труды, имущество, все было общим в дружбе с Грибоедовым. Нет тех пожертвований, на которые бы не решился Грибоедов для дружбы — всем жертвовали друзья для Грибоедова. Его нельзя было любить иначе, как страстно, с энтузиазмом, потому что пламенная душа его согревала и воспламеняла все вокруг себя. С Грибоедовым благородный человек делался лучше, благороднее. Его нежная привязанность к другу, внимание, искренность, светлые, чистые мысли, высокие чувствования переливались в душу и зарождали ощущения новой, сладостной жизни. Его голос, взгляд, улыбка, приемы имели какую-то необыкновенную прелесть; звук его голоса проникал в душу, убеждение лилось из уст[7]... Не могу написать ничего связного о Грибоедове: ибо когда только должен вспомнить о душе его, о его качествах, сердце мое разрывается на части... Но я обещал сказать что-нибудь — исполняю.

Грибоедова любили многие, но, кроме родных, ближе всех к нему были: С. Н. Бегичев, Андрей Андреевич Жандр[8] и я. Познав Грибоедова, я прилепился к нему душою, был совершенно счастлив его дружбою, жил новою жизнью в другом лучшем мире — и оспротел навеки!..

Но первое право на дружбу Грибоедова имел Бегичев. Он узнал его прежде других, прежде постигнул его и в юношеском пламени открывал нетленное сокровище, душу благородную. С. Н. Бегичев разбудил Грибоедова от очарованного сна и обратил к деятельности. Грибоедов писал стихи, еще посещая университет, но не собирал их и не печатал. В Польше он снова обратился к русской словесности и написал комедию «Молодые супруги», которая была играна в первый раз в С.-Петербурге, сентября 29-го, 1815 г., в пользу актрисы Семеновой м[еньшой] [9].

Грибоедов приехал в Петербург в 1815 году. В Польше познакомился он с князем А. А. Шаховским [10], а в Петербурге с Н. И. Хмельницким [11] и А. А. Жандром. Связь с сими литераторами заставила его снова приняться за перо и трудиться общими сплами для театра, по примеру французских писателей. Грибоедов участвовал с князем А. А. Шаховским и Н. И. Хмельницким в сочинении комедии «Своя семья», представленной в первый раз на СПБ театре января 24-го, 1818 г.; а с А. А. Жандром перевел с французского комедию «Притворная неверность», соч. Барта, представленную в первый раз на С.-Петербургском театре в феврале 1817 г. [12]

Тотчас по приезде его в С.-Петербург Грибоедов познакомился с Н. И. Гречем [13], издававшим «Сын Отечества», в котором Грибоедов поместил несколько театральных статей. Грибоедов душевно любил и уважал Греча, был с ним искренен, как с другом. Греч имел случай оказать ему на деле свою дружбу, и если я не поместил Греча в числе самых ближних, то это потому только, что он по обстоятельствам реже бывал с Грибоедовым, нежели Жандр и я.

В 1816 году, в марте, Грибоедов вышел в отставку из военной службы. Проживая в Петербурге, он не столько занимался литературою, сколько побуждала его к тому врожденная склонность. Он жил более в свете и для света, и только малые урывки времени посвящал музам.

В 1817 году он поступил на службу в ведомство коллегии иностранных дел, с чином губернского секретаря; в следующем году определен секретарем персидской миссии, произведен в титулярные советники, и отправился в Тавриз. Российским поверенным в делах в Персии был тогда стат. сов. Мазарович[14].

Грибоедов знал совершенно немецкий, французский, итальянский и английский языки и понимал латинский. В Персии он стал обучаться по-персидски и в скором времени не только объяснялся свободно на сем языке, но и понимал персидских авторов. Поведением своим и характером он снискал себе уважение целой английской миссии в Таврисе, и приобрел особенную благосклонность наследника престола, принца Аббаса-Мирзы, который истинно любил Грибоедова и находил удовольствие в его беседе. Все отличнейшие сановники персидские также уважали Грибоедова; он много способствовал к поддержанию доброго согласия между Аббас-Мирзою и правлением нашим в Грузии. Во время пребывания своего в Персии, Грибоедов убедил множество русских, поселившихся в Персии и вступивших в военную службу, возвратиться на лоно отечества. Ему поручено было проводить этот отряд в российские пределы, и Грибоедов неоднократно подвергался опасности лишиться жизни в сем походе от озлобленных персиян, которым неприятно было возвращение сих переселенцев. Однако ж, это дело ни мало не ослабило благосклонности Аббаса-Мирзы, который даже упросил шаха, родителя своего, пожаловать Грибоедову персидский орден Льва и Солнца 2 степени. В 1822 [г.], января 3-го, он произведен в отличие в коллежские ассесоры и в том же году, в марте месяце, получил дозволение носить персидский орден. В феврале 1822 г. Грибоедов выбыл, по собственному желанию, из персидской миссии и по высочайшему повелению определен по дипломатической части к г. главнокомандующему в Грузии, А. П. Ермолову[15].

Я до сих пор не говорил о достоинстве литературных опытов Грибоедова и вовсе умолчу о прежних его произведениях, потому что они меркнут пред бессмертным трудом его, комедией «Горе от ума», известною в рукописи в целой России всем грамотным людям. Вот каким образом родилась эта комедия. Будучи в Персии, в 1821 г., Грибоедов мечтал о Петербурге, о Москве, о своих друзьях, родных, знакомых, о театре, который он любил страстно, и об артистах. Он лег спать в киоске, в саду, и видел сон, представивший ему любезное отечество со всем, что осталось в нем милого для его сердца. Ему снилось, что он в кругу друзей рассказывает о плане комедии, будто им написанной, и даже читает некоторые места из оной. Пробудившись, Грибоедов берет карандаш, бежит в сад и в ту же ночь начертывает план «Горе от ума» и сочиняет несколько сцен первого акта[16]. Комедия сия заняла все его досуги, и он кончил ее в Тифлисе, в 1822 г. В марте 1823 г. он получил отпуск в Москву и Петербург на 4 месяца. Приехав в Москву, Грибоедов стал посещать общества, и в то же время почувствовал недостатки своей комедии и начал ее переделывать. Каждый выезд в свет представлял ему новые материалы к усовершению своего труда, и часто случалось, что он, возвратясь поздно домой, писал целые сцены по ночам, так сказать, в один присест. Таким образом составилось сие бессмертное творение, отпечаток чувствований, впечатлений и характера незабвенного автора. Любовь к родине и ко всему похвальному, глубокое презрение к нравственному ничтожеству, прикрывающемуся лаком иноземной образованности, презрение к закоренелым предрассудкам и низкому идолопоклонству, — вот характер сей комедии, написанной таким разговорным языком, какого поныне не было, в нашей литературе. Первый списанный экземпляр сей комедии быстро распространился по России, и ныне нет ни одного малого города, нет дома, где любят словесность, где бы не было списка сей комедии, по несчастью, иска-

женного переписчиками [17]. Этот удивительный успех — первый пример в России! Комедия «Горе от ума» была напечатана отрывками в «Русской Талии» и нашла противников в Москве, где с изумительным постоянством восстают противу всего, что выходит из обыкновенного круга [18]. Есть и в Петербурге украшенные лаврами литераторы, которые не понимают, как может существовать комедия, в которой, по обыкновению, никто не женится, где нет пролазов-слуг, шалунов-племянников, старого опекуна, хитрого любовника и нежной любовницы, которой свадьба предшествует закрытию завесы. Наши письменные люди, дамы и мужчины, обученные мудрости по курсу Лагарпа, точно так же рассуждают. Есть добрые и умные люди, которые увлекаются чужими суждениями. Жестокий приговор кмоедии «Горе от ума», произносимый завистью, невежеством, оскорбленным самолюбием и легковерным простодушием, есть лучшее доказательство ее высокого достоинства. Я не хочу распространяться в разборе сего произведения Грибоедова, потому что оно, хотя и всем известно, но поныне не напечатано.

Находясь при особе А. П. Ермолова, Грибоедов снискал его доверенность и родительскую любовь. Грибоедов был также привязан и к Алексею Петровичу, как к отцу, а не начальнику, был с ним безотлучно и даже сопутствовал ему в военных экспедициях. В 1824 [г.], в мае, Грибоедов получил позволение отправиться за границу до излечения болезни; но, прибыв в Петербург, остался там и прожил около года *. Уединенная жизнь в Персии и Грузии совершенно преобразила характер Грибоедова. Он не хотел появляться более в свете, посвятил себя наукам и, при необыкновенной памяти и прилежании, приобрел

* В это время я упросил его позволить списать с себя портрет, собственно для меня. Это единственный портрет его [19]. Зная, что доставим удовольствие многим, я и товарищ мой, Н. И. Греч, вознамерились издать оный. Знаменитый наш художник Н. И. Уткин исполнил наше желание.

глубокие познания, продолжая изучать то, чему положены были хорошие начала профессором Буле. Грибоедов, сверх занятий изящной словесностью и поэзией, трудился беспрестанно над изучением предметов важных. Правоведение, философия, история, политические и финансовые науки составляли его всегдашнее упражнение. Он читал не для препровождения времени, но для того, чтобы научиться, и умел из всего извлекать полезное для ума и сердца. Изъясняясь приятно и правильно на всех языках, он отлично хорошо говорил по-русски, достоинство весьма редкое между образованными русскими. Красноречие его, всегда пламенное, было убедительно, потому что основывалось на здравом смысле и глубокой учености. Трудно было не согласиться с ним в мнении. Он имел особенный дар, как все необыкновенные люди, убеждать и привлекать сердца. Знать его было то же, что любить. Более всего привязывало к нему его непритворное добродушие, которое, при необыкновенном уме, действовало на сердце, как теплота на природу. От того-то во время пребывания своего в Петербурге Грибоедов, почувствовав ничтожность светских связей, подружился с литераторами и любителями наук и словесности, снискал их привязанность и уважение и жил только в литературном кругу Грибоедова не умели ценить в свете, не умели ценить его и некоторые литераторы, которые думают повыситься тем, что выходят из природного своего круга и в приемных и гостиных ищут награды за свои труды в благосклонности людей, не постигающих другого достоинства в человеке, кроме связей, богатства и почестей. Грибоедов был выше всех этих мелочей: они казались ему смешными и жалкими, столько же, как и люди, забывающие для них предопределение таланта. Он купил познание света опытностию; чтил и уважал звание и почести в людях заслуженных и достойных и никогда не склонял чела пред временными любимцами фортуны или счастливыми пронырами. Разумеется, что с этими чувствами Грибоедов долженствовал

иметь врагов. Он имел их, не сделав никому ни малейшего зла, но единственно за то, что был выше других умом и душою. За это самое Сократ испил цикуту.

Грибоедов написал в это время прекрасное стихотворение на балет «Руслан и Людмила», напечатанное в «Сыне Отечества», и перевел пролог к Гетеву «Фаусту», напечатанный в альманахе «Полярная Звезда». Он отказался от намерения ехать за границу и решился возвратиться в Грузию, побывав в Южной России и в Крыму. Он любил величественную природу Грузии. Возвратясь туда, он был в экспедиции с генералом Вельяминовым [20] против горских народов, в 1825 г., и в виду вершин Кавказа и неприятельского стана написал прелестное стихотворение «Хищники на Чегеме», напечатанное в «Северной Пчеле».

Происшествия, опечалившие Россию в конце 1825 г., потребовали присутствия его в Петербурге [21]. Не знали Грибоедова, и узнали его. Благородный образ мыслей, откровенность и чистота всех дел его и помыслов снискали ему милостивое внимание монарха. Грибоедов имел счастие представляться государю императору и с этой минуты душою полюбил монарха как государя и как человека. При отправлении на службу, по собственному его желанию, обратно в Грузию, Грибоедов награжден чином надворного советника, 8 июня 1826 г.

В это время он жил со мною на даче, в уединенном домике, на Выборгской стороне, видался только с близкими людьми, проводил время в чтении, дружеской беседе, в прогулках и занимался музыкою. Все изящное имело доступ к душе Грибоедова: он страстно любил музыку, будучи сам искусен в игре на фортепиано. Фантазии его и импровизации отзывались глубоким чувством меланхолии.

Часто он бывал недоволен собою, говоря, что чувствует, как мало сделал для словесности. «Время летит, любезный друг», говорил он: «в душе моей горит пламя, в голове рождаются мысли, а между тем, я не могу

приняться за дело, ибо науки идут вперед, а я не успеваю даже учиться, не только работать. Но я должен что-нибудь сделать... сделаю!..» Вот как думал Грибоедов. Он не мог без сожаления вспоминать о том, что некоторые наши писатели, особенно поэты, думают, что им должно следовать одному вдохновению и ничему не учиться. Грибоедов указывал на Байрона, Гете, Шиллера, которые от того именно вознеслись выше своих совместников, что гений их равнялся их учености [22]. Грибоедов судил здраво, беспристрастно и с особенным жаром. У него навертывались слезы, когда он говорил о бесплодной почве нашей словесности. «Жизнь народа, как жизнь человека, есть деятельность умственная и физическая», говорил Грибоедов: «Словесность — мысль народа об изящном. Греки, римляне, евреи не погибли оттого, что оставили по себе словесность, а мы... мы не пишем, а только *переписываем*! Какой результат наших литературных трудов по истечении года, столетия? Что мы сделали, и что могли бы сделать!..» Рассуждая о сих предметах, Грибоедов становился грустен, угрюм, брал шляпу и уходил один гулять в поле или в рощу.

Мне не случалось в жизни ни в одном народе видеть человека, который бы так пламенно, так страстно любил свое отечество, как Грибоедов любил Россию. Он в полном значении *обожал* ее. Каждый благородный подвиг, каждое высокое чувство, каждая мысль в русском приводила его в восторг. Если бы знали враги его, раздиравшие его литературную славу, как он радовался, находя в них хорошее. Грибоедов, зная столько иностранных языков, любил читать русские книги, особенно переводы (даже самые плохие) великих писателей. Когда я изъявил ему мое удивление на этот счет, он отвечал: «Мне любопытно знать, как изъяснены высокие мысли и наставления мудрецов и может ли понимать их класс народа, незнающий иностранных языков? Это археологические и этнографические изыскания, любезный друг», прибавил он с улыбкою.

Грибоедов чрезвычайно любил простой русский народ и находил особенное удовольствие в обществе образованных молодых людей, неиспорченных еще искательством и светскими приличиями. Он находил особенное наслаждение в посещении храмов божиих. «Любезный друг», говорил он мне: «только в храмах божиих собираются русские люди; думают и молятся по-русски. В русской церкви я — в отечестве, в России. Меня приводит в умиление мысль, что те же молитвы читаны были при Владимире, Дмитрии Донском, Мономахе, Ярославе, в Киеве, Нове-городе, Москве; что то же пение трогало их сердца, те же чувства одушевляли набожные души. Мы — русские только в церкви, а я хочу быть русским!»

Но эта любовь к отечеству не заставляла его ненавидеть чужеземцев, подобно тем грубым невеждам, которые почитают врагом каждого, кто не родился на берегах Волги или Оки. Напротив того, Грибоедов радовался, когда чужеземец посвящал свои таланты на пользу России, и был признателен к каждому, оказавшему услуги его отечеству. Разумеется само по себе, что Грибоедов не почитал чужеземцами жителей областей, присоединенных к России оружием или трактатами. Такая мысль не может родиться в голове образованного человека. Но как всякий человек имеет свой особенный образ мыслей, то он любил более славянские поколения и желал, чтобы из двух человек одинакового достоинства соплеменник предпочитаем был иноплеменнику. Грибоедов вообще не любил разделения между славянскими племенами и почитал их одною семьею. Ему нравилась мысль моя: что все славянские поколения — родные сестры, из которых одна замужем за единоплеменником, другая за немцем, третья за турком, но это не должно препятствовать родственной любви и согласию.

Приехав в Грузию при начале войны с Персиею, Грибоедов находился при особе графа Паскевича-Эриванского [23], своего родственника, любившего его, как родного брата. Деятельность графа и пламенное желание быть полезным

тому краю обрадовали Грибоедова и заставили его трудиться. Я намерен сообщить здесь отрывки из нескольких его писем, в которых изображается характер и душа Грибоедова лучше, нежели в чужом описании. Вот что он писал ко мне из Тифлиса, от 16 апреля 1827 г.:

«Любезный друг, Фаддей Венедиктович! Прежде всего просьба, чтобы не забыть, а потом уже благодарность за дружеское твое внимание к скитальцу в восточных краях. Пришли мне пожалуйста статистическое описание, самое подробнейшее, сделанное по лучшей, новейшей системе, какого-нибудь округа южной Франции, или Германии, или Италии (а именно Тосканской области, коли есть, как края наиболее возделанного и благоустроенного), на каком хочешь языке, и адресуй в канцелярию главнокомандующего, на мое имя. Очень меня обяжешь: я бы извлек из этого таблицу не столь многосложную, но по крайней мере порядочную, которую бы разослал к нашим окружным начальникам, с кадрами, которые им надлежит наполнить... При Алексее Петровиче у меня много досуга было, и если я немного наслужил, так вдоволь начитался. Авось теперь, с божиею помощью, употреблю это в пользу. Стихов Жандра в 1 № «С. О.», я нигде не мог отыскать; ты не прислал мне; а другие «К Музе» я, еще не зная чьи они, читал здесь вслух у Ховена и уверен был, что это произведение человека с большим дарованием. Я надеюсь, что, возвратясь из похода, как-нибудь сюда его выпишу. Не могу довольно я отблагодарить тебя за приятное твое письмо и за присылку журналов. Желал бы иметь целого «Годунова»*. В первой сцене «Бориса» мне нравится Пимен, старец. Не ожидай от меня стихов: горцы, персиане, турки, дела управления, огромная переписка нынешнего моего начальника поглощают все мое внимание. Ненадолго, разумеется: кончится кампания, и я откла-

* Трагедия «Борис Годунов», соч. А. С. Пушкина, находящаяся в рукописи.

няюсь. В обыкновенные времена никуда не гожусь; и не моя вина: люди мелки, дела их глупы, душа черствеет, рассудок затмевается и нравственность гибнет без пользы ближнему. Я рожден для другого поприща. 1-я глава твоей «*Сиротки*»* так с натуры списана, что (прости душа моя) невольно подумаешь, что ты сам когда-нибудь валялся с кудлашкой. Тьфу пропасть! Как это смешно и жалко и справедливо. Многие просят, чтобы ты непременно продолжал и окончил эту повесть».

---

Наконец началась война. Грибоедов был безотлучно при графе Паскевиче-Эриванском, охотно переносил труды военные и не прятался от опасностей. Он прослужил кампанию, как отличный гражданский чиновник и как храбрый воин**. По представлению графа, он награжден был за отличие чином коллежского советника, в декабре 1827 г. Он был послан в лагерь Абасса-Мирзы для переговоров о мире, и имел с ними весьма занимательные сношения. При заключении Туркманчайского трактата [24] Грибоедов трудился беспрерывно и оказал важные услуги. В награду за сие, он избран был графом Паскевичем-Эриванским поднести мирный трактат государю императору.

В Петербурге получено было прежде известие, что Грибоедов отправится с трактатом в Петербург. Дурная дорога

---

* В романе «Иван Выжигин». Тогда я сочинял сей роман и напечатал I главу в «Сыне Отечества».

** Вот черта, характеризующая Грибоедова. В последнюю персидскую войну он проезжал верхом вместе с князем Италийским, графом Суворовым-Рымникским, внуком Великого, под выстрелами неприятельских орудий. Ядро оконтузило лошадь кн. Суворова, и она в испуге поднялась на дыбы. Грибоедов, любя князя и думая в первую минуту, что он ранен, пришел в некоторое смущение. Полагая, что страх вкрался в его душу, он решился наказать себя. При первом представившемся случае, сел на баттарею и выдержал, не сходя с места, 124 неприятельские выстрела, чтобы освоиться с ядрами, как он говорил.

воспрепятствовала ему прибыть в срочное время для курьерской езды. С нетерпением ожидали его. Не могу без умиления вспомнить о той радостной минуте, в которую я встретил его. По какому-то инстинкту, я несколько дней сряду ходил в заездный дом Демута и ожидал моего друга. Наконец, 14 марта, около полудня, подъехала кибитка, и я принял его в мои объятия... Мы плакали, как дети... от радости!

Государь император пожаловал ему чин статского советника, орден св. Анны 2-й степени с алмазами, медаль за персидскую войну и 4.000 червонных. В апреле сего же 1828 г. монарх наш благоволил назначить его полномочным министром при дворе персидском.

Все предвещало счастливый успех. Грибоедов знал персидский язык, страну, нравы и обычаи, характер двора и главнейших сановников. Грибоедов вовсе не предугадывал о сем блестящем назначении и намеревался выйти в отставку, посвятить себя совершенно наукам и словесности и поселиться со мною, по крайней мере на некоторое время, возле ученого Дерпта, в моем тихом убежище. Мы утешались этою мыслью, делали планы, как будем провождать время, как будем ездить в гости в Москву, в Петербург, в деревню к С. Н. Бегичеву, и проч. Повинуясь воле государя [25], Грибоедов отсрочил свое намерение жить для наук и словесности, но не отказался от них совершенно. Пламенея ревностию к службе, он однако же с мрачным предчувствием вспоминал о Персии и предсказывал, что не возвратится оттуда, что там должен окончить жизнь, в отдалении от милых сердцу, и часто повторял: «Там моя могила. Чувствую, что не увижу более России!...»

Из прощального письма в деревню, к жене моей, которую он любил как сестру, можно видеть его предчувствия и надежды.

«Прощайте, милый друг, прощайте! Расстаюсь с вами на три года, а может быть — навсегда! О, боже, неужели

я должен навсегда остаться в стране, чуждой моим чувствованиям! Я еще не теряю надежды укрыться в вашем Карлове от всего, что тяготит меня в жизни! Но когда? Еще далеко до этого! В ожидании, прощайте и будьте счастливы. СПБ. 5 июня 1828».

Во время военных и дипломатических занятий, Грибоедов, в часы досуга, уносился душою в мир фантазий. В последнее пребывание свое в Грузии, он сочинил план романтической трагедии и несколько сцен, вольными стихами с рифмами. Трагедию назвал он «Грузинская ночь»; почерпнул предмет оной из народных преданий и основал на характере и нравах грузин. Вот содержание: один грузинский князь за выкуп коня отдал другому князю отрока, раба своего. Это было делом обыкновенным, и потому князь не думал о следствиях. Вдруг является мать отрока, бывшая кормилица князя, няня дочери его, упрекает его в бесчеловечном поступке, припоминает службу свою и требует или возврата сына или позволения быть рабою одного господина и угрожает ему мщением ада. Князь сперва гневается, потом обещает выкупить сына кормилицы и, наконец, по княжескому обычаю, забывает обещание. Но мать помнит, что у нее отторжено от сердца детище, и как азиятка умышляет жестокую месть. Она идет в лес, призывает Дели, злых духов Грузии, и составляет адский союз на пагубу рода своего господина. Появляется русский офицер в доме, таинственное существо по чувствам и образу мыслей. Кормилица заставляет Дели вселить любовь к офицеру в питомице своей, дочери князя. Она уходит с любовником из родительского дома. Князь жаждет мести, ищет любовников и видит их на вершине горы св. Давида. Он берет ружье, прицеливается в офицера, но Дели несут пулю в сердце его дочери. Еще не свершилось мщение озлобленной кормилицы. Она требует ружья, чтоб поразить князя, — и убивает своего сына. Бесчеловечный князь наказан небом за презрение чувств родительских и познает цену потери детища. Злобная

кормилица наказана за то, что благородное чувство осквернила местью. Они гибнут в отчаянии. Трагедия, основанная, как выше сказано, на народной грузинской сказке, если б была так кончена, как начата, составила бы украшение не только одной русской, но всей европейской литературы. Грибоедов читал нам наизусть отрывки, и самые холодные люди были растроганы жалобами матери, требующей возврата сына у своего господина. Трагедия сия погибла вместе с автором *!..

Н. И. Греч, услышав отрывки из этой трагедии и ценя талант Грибоедова, сказал в его отсутствии: «Грибоедов только попробовал перо на комедии «Горе от ума». Он займет такую степень в литературе, до которой еще никто не приближался у нас: у него, сверх ума и гения творческого, есть душа, а без этого нет поэзии!»

Наконец, Грибоедов поехал к своему назначению, но по обстоятельствам не мог отправиться прямо в Персию и должен был свидеться прежде с графом Паскевичем-Эриванским. Отрывки из двух писем ко мне покажут, как Грибоедов смотрел на дела и какими чувствами одушевлялось его русское сердце.

«Ставрополь, 27 июня 1828.

«Любезнейшая Пчела! Вчера я сюда приехал с мухами, с жаром, с пылью. Пустил бы я на свое место какого-нибудь франта, охотника до почетных назначений, Dandy петербургского Bondsstreet, Невского проспекта, чтобы заставить его душою полюбить умеренность в желаниях и неизвестность.

«Здесь меня задерживает приготовление конвоя. Как добрый патриот, радуюсь взятию Анапы. С этим известием был я встречен тотчас при въезде. Нельзя довольно за это благодарить бога тому, кто дорожит безопасностью здеш-

* Ныне (в ноябре 1830 г.) получил я известие, что отрывки из сей трагедии и некоторые другие сочинения Грибоедова уцелели.

него края. В последнее время закубанцы сделались дерзки до сумасбродства, переправились на нашу сторону, овладели несколькими постами, сожгли Неудобную, обременили себя пленными и добычею. Наши пошли к ним наперерез, с 1.000 конными и с 4 орудиями, но не поспели. Пехота стала действовать отдельно, растянулась длинною цепью, тогда как донской полковник Родионов предлагал, соединившись, тотчас напасть на неприятеля, утомленного быстрым походом. Горцы расположены были табором в виду, но, заметив несовокупность наших движений, тотчас бросились в шашки, не дали ни разу выстрелить орудию, бывшему при пехотном отряде, взяли его и перерубили всех, которые при нем были, опрокинули его вверх колесами и поспешили против конного нашего отряда. Родионов удержал их четырьмя орудиями; потом хотел напасть на них со всеми казаками линейными и донскими, но не был подкреплен, ударил на них только с горстью донцов своих и заплатил жизнию за великодушную смелость. Ему шашкою отхватили ногу, потом пулею прострелили шею; он свалился с лошади и был изрублен. Однако отпор этот заставил закубанцев бежать от Горячих Вод, которым они угрожали нападением. Я знал лично Родионова: жаль его, отличный офицер, исполинского роста, и храбрейший. Тело его привезли на Воды. Посетители сложились, чтобы сделать ему приличные похороны, и провожали его, как избавителя, до могилы. Теперь, после падения Анапы, все переменилось: разбой и грабительства утихли, и тепловодцы, как их здесь называют, могут спокойно пить воду и чай. Генерал Эмануэль отправился в Анапу, чтобы принять присягу от тамошних князей. На дороге с той стороны Кубани, толпами к нему выходили навстречу все горские народы с покорностию и подданством. Опять повторяю, что выгоды от взятия Анапы неисчислимы... Прощай. Лошади готовы. Коли к моему приезду граф Эриванский возьмет Карс, то это не мало послужит в пользу моего посольства. Здесь я уже

в его улусах; все меня приветствуют с новым начальником. Говорят, что он со всеми ласков, добр, внимателен, и бездну добра делает частного и общего. А у нас чиновники народ добрый! Прощай еще раз, любезный друг».

Сообщив известие для «Северной Пчелы» о взятии Карса, Грибоедов приписал следующее:

«Ура! Любезнейший друг! Мои желания и предчувствия сбылись. Карс взят штурмом! Читай реляцию и проповедуй ее всенародно. Это столько чести приносит войску и генералу, что нельзя русскому сердцу не прыгать от радости. У нас здесь все от славы с ума сходят. Верный друг твой А. Г.

«Владикавказ, 23 июня 1828 г.»

Грибоедов, будучи в последний раз в Петербурге, открылся верным друзьям своим, что он любит. Он был как родной в доме той, которая занимала его сердце, видел ее ребенком и привык обходиться с нею, как с меньшою сестрою. В Петербурге он не знал еще, что сделает с собою, но одна минута решила судьбу его .Сообщаю любопытное письмо его ко мне по сему предмету. Это самый верный отпечаток сердца Грибоедова и его самобытного, необыкновенного характера. Читая его письмо — кажется, видишь его!

«Биваки при Казанче, на турецкой границе, 24 июля 1828.

«Любезный друг! пишу тебе под открытым небом, и благодарность водит моим пером; иначе никак бы не принялся за эту работу после трудного дневного перехода. Очень, очень знаю, как дела мои должны тебе докучать. Покупать, заказывать, отсылать.

«Я тебя из Владикавказа уведомил о взятии Карса. С тех пор прибыл в Тифлис. Чума, которая начала свирепствовать в действующем отряде, задержала меня на месте; от графа Паскевича-Эриванского ни слова, и я пустился к нему наудачу. В душной долине, где протекают Храм и Алгет, лошади мои стали; далее, поднимаясь к Шу-

лаверам, никак нельзя было понудить их идти в гору. Я в реке ночевал; рассердился, побросал экипажи, воротился в Тифлис, накупил себе верховых и вьючных лошадей с тем, чтобы тотчас пуститься снова в путь, а с поста казачьего отправил депешу к графу... Это было 16-го. В этот день я обедал у старой моей приятельницы А[хвердовой [26]], за столом сидел против Нины Чевчевадзевой, все на нее глядел, задумался, сердце забилось; не знаю, беспокойства ли другого рода, по службе, теперь необыкновенно важной, или что другое, придало мне решительность необычайную: выходя из-за стола, я взял ее за руку и сказал ей: «Venez avec moi, j'ai quelque chose à vous dire!» [27] Она меня послушалась, как и всегда: верно думала, что я ее усажу за фортепиано, — вышло не то. Дом ее матери возле: мы туда уклонились, вошли в комнату; щеки у меня разгорелись, дыхание занялось; я не помню, что я начал ей говорить, и все живее и живее; она заплакала, засмеялась, потом к матушке ее, к бабушке, к ее второй матери Пр. Н. А[хвердовой]; нас благословили; отправил курьера к ее отцу в Эривань, с письмами от нас обоих и от родных. Между тем вьюки мои и чемоданы изготовились, все вновь уложено на военную ногу; во вторую ночь я без памяти от всего, что со мною случилось, пустился опять в отряд, не оглядываясь назад. На дороге получил письмо летучее от графа Паскевича, которым он меня уведомляет, что намерен сделать движение под Ахалкалаки. На самой крутизне Безобдала гроза сильнейшая продержала меня всю ночь; мы промокли до костей. В Гумрах я нашел, что уже сообщение с главным отрядом прервано. Граф оставил Карский пашалык, и в тылу у него образовались толпы турецких партизанов; в самый день моего прихода была жаркая стычка у Басова Черноморского полка в горах за Арпачаем. Под Гумрами я натолкнулся на отрядец из 2-х рот Козловского, 2-х 7-го Карабинерного и 100 человек выздоровевших; все это назначено на усиление главного корпуса, но не знало, куда идти; я их тотчас

взял всех под команду, 4-х проводников из татар, сам с ними и с казаками впереди, и вот уже второй день веду их под Ахалкалаки; всякую минуту ожидаем нападения. Коли в целости доведу, дай бог. Мальцов [28] в восхищении: воображает себе, что он воюет.

«В Гумрах же нагнал меня ответ от князя Чевчевадзева [29] отца из Эривани: он благословляет меня и Нину и радуется нашей любви. Хорошо ли я сделал? Спроси милую мою В[арвару] С[еменовну] [30] и Андрея [31]. Но не говори Р[одофиникину] [32]: он вообразит себе, что любовь заглушит во мне чувство других моих обязанностей. Вздор. Я буду вдвое старательнее служить, за себя и за нее».

По возвращении в Тифлис, Грибоедов писал ко мне:

«Строфы XIII, XIV, XV *.

«. . . . . .

«Промежуток $1^1/_2$ месяца.

«Дорогой мой Фаддей! Я по возвращении из действующего отряда сюда в Тифлис, 6-го августа, занемог жестокою лихорадкою. К 22-му получил облегчение. Нина не отходила от моей постели, и я на ней женился. Но в самый день свадьбы, под венцом уже, опять посетил меня пароксизм, и с тех пор нет отдыха: я так исхудал, пожелтел и ослабел, что, думаю, капли крови здоровой во мне не осталось».

---

Наконец он отправился с супругою в Тегеран. Мрачные предчувствия стесняли сердце его более, нежели когда-нибудь, и он с каждым днем становился грустнее, как будто знал, что приближается к гробу. Выписки из письма его к почтенной даме, которую он любил как мать, к В. С. М[иклашевиче]вой, дадут полное понятие о том, что происходило в душе его.

---

* Эти строфы и точки поставлены Грибоедовым в шутку, в подражание модным поэмам.

«Эчмядзин, 17 сент. 1828.

«Друг мой, В. С., не пеняйте на долгое мое молчание, милый друг, видите ли, в какую для меня необыкновенную эпоху я его прерываю. Женат, путешествую с огромным караваном, 110 лошадей и мулов; ночуем под шатрами, на высоте гор, где холод зимний. Нина моя не жалуется, всем довольна и весела; для перемены бывают нам блестящие встречи, конница во весь опор несется, пылит, спешивается и поздравляет нас с счастливым прибытием туда, где бы вовсе быть не хотелось. Ныне нас принял весь клир монастырский в Эчмядзине, с крестами, иконами и хоругвями, пением и проч., и здесь, под сводами этой древней обители, первое мое помышление об вас и Андрее. Помиритесь с моей ленью.

«Как все это случилось! Где я, что, и с кем... Простительно ли мне, после стольких опытов, стольких размышлений, вновь бросаться в новую жизнь, предаваться на произвол случайностей и все далее от успокоения души и рассудка. А независимость, которой я также был страшный любитель, исчезла, может быть, навсегда, и как ни мило и утешительно делить все с прекрасным, воздушным созданием, но это теперь так светло и отрадно, а впереди так темно, неопределенно. Всегда ли так будет... Бросьте вашего Трапера [33] и Куперову «Prairie»! Мой роман живой у вас перед глазами и во сто крат занимательнее; главное в нем лицо — друг ваш, неизменный в своих чувствах, но в быту, в роде жизни, в различных похождениях, не похожий на себя прежнего, на прошлогоднего, на вчерашнего даже; с каждою луною со мною сбывается что-нибудь, о чем ни думал, ни гадал».

«Таврис, 3 декабря. Как я себя виню, что не послал вам написанных этих строчек три месяца назад. Вы бы не сердились на меня, а теперь верно разлюбили, и правы. Не хочу оправдываться. Андрей! ты помоги мне умилостивить нашего общего друга. Хорошо, что вы меня на-

сквозь знаете, и не много надобно слов, чтобы согреть в вас те же чувства, ту же любовь, которые от вас, моих милых, нежных друзей, я испытал в течение стольких лет — и как нежно и как бескорыстно! Верно сами догадаетесь, неоцененная В. С., что я пишу к вам не в обыкновенном положении души. Слезы градом льются... Неужели я для того рожден, чтобы всегда заслуживать справедливые упреки за холодность (и мнимую притом), за невнимание, за эгоизм от тех, за которых бы охотно жизнь отдал? Александр наш [34], что должен обо мне думать. И это кроткое, тихое создание, которое теперь отдалось мне на всю мою волю, без ропота разделяет мою участь и страдает самою мучительною беременностию: кто знает, может быть, я и ее оставлю, сперва по необходимости, по так называемым делам, на короткое время, но после время продлится, обстоятельства завлекут, забудусь, не стану писать; что проку, что чувства мои неизменны, когда видимые поступки тому противоречат. Кто поверит».

---

Сбылись предчувствия Грибоедова: он погиб жертвою народного неистовства в Тегеране. Не имея официальных известий о сем ужасном происшествии, я не могу писать об этом. Знаю только, что вражда возникла за армян, русских подданных, которые укрывались в доме посланника [35]. Не только русские, но и добрые персияне, знавшие Грибоедова, сожалеют о нем. Целая Грузия оплакивает Грибоедова.

Известие о смерти Грибоедова привезено в С.-П-бург 14 марта 1829 [г.], того же самого числа, ровно через год, когда он приехал с трактатом Туркманчайским!

Раны сердца моего растворились... я не могу писать более... писал только для друзей, для знавших Грибоедова, в надежде, что все добрые, чувствительные люди извинят несвязность, сбивчивость этой статьи. Я был сам не свой! Мог ли я думать о холодных людях?

---

## КАК ЛЮДИ ДРУЖАТСЯ

Справедливый рассказ

Как люди дружатся? Уж верно, не за шампанским, не за красным сукном, не в беседах и не вследствие долговременного испытания. Сошлись, увиделись и полюбили друг друга навеки... За что? А бог знает... так... ни за что... Ему что-то во мне понравилось; мне нравится в нем все, голос, приемы, движения, мысли, чувства, образ изъяснения. Наконец, чем долее мы узнаем друг друга, тем более привязываемся, и все-таки не зная за что. Если он имеет сатирический дух, то даже замечает мои смешные стороны и хохочет. На другого я бы гневался, а с ним хохочу сам над собою, подшучиваю над ним... т.-е. мы думаем и чувствуем вслух, разделяем все, не думая о разделе, доверяем вполне друг другу, не помышляя о доверенности и недоверчивости, а все это потому, что в нем я вижу себя, и притом в лучшем виде. Я уверен даже, что он лучше меня, т.-е. это я в праздничном наряде.

Я вам расскажу, как я подружился...

Я жил в Варшаве, на Свентоюрской улице, в небольшом каменном доме на улицу, принадлежавшем в то время почтенному старику немцу, г. Каминскому, который каждый праздник присылал мне букет цветов из своего садика и удивлялся, что я предпочитаю прогулки в поле и в лесу на Белянах, на Воле и т. п. спокойному наслаждению видом цветов и зелени из его беседки. В один день, когда тучи угрожали дождем, я, вместо обыкновенной прогулки за город, пошел в ближний публичный сад, называемый

садом Красинского. Это было в 8 часов утра. Прогуливающихся не было вовсе. Обошед несколько раз весь сад, я сел отдохнуть на скамье. На другом конце сидел молодой человек, в гусарском долмане, с унтер-офицерскими галунами. Он был бледен, как труп. На лице его изображались яркими чертами недуг телесный и скорбь душевная. Взор его был полупомеркший. Но лицо его сохранило остатки красоты необыкновенной. Черты лица его имели правильную азиятскую форму; черные волосы вились в кудри, и в физиономии отражались ум и добродушие. Ему было около двадцати лет. Пушок едва твердел на усах. Взглянув не него несколько раз, я не мог отвести от него взоров своих. Сердце мое сжималось, смотря на его страдание. И я так же, почти в детских летах, ходил в уланской куртке, по свету, за тридевять земель, в тридесятое царство. Я знал, что такое чужая сторона, чужие люди. Кому призреть больного юношу на чужбине? У него, быть может, есть мать, есть сестра, которые бы пеклись о нем, еслиб недуг посетил его под родительским кровом... А здесь, госпиталь... Бедный юноша. Мне стало жалко, и я заговорил с ним.

Я узнал, что он родом из самой Москвы, где имеет родителей, и что он определился в И[ркутский] гусарский полк юнкером в 1812 году, но не попал в действующую армию и теперь находится в резервном кавалерийском корпусе под начальством генерала Кологривова. Этот гусарский полк стоял, не помню, возле Ковно или Бреста (теперь этому минуло 20 лет). Юнкер отпросился для излечения болезни в Варшаву, надеясь найти здесь одного маиора, знакомого с его родителями, и занять у него денег, пока пришлют ему из дому. По несчастью, маиор выехал из Варшавы, а между тем болезнь усиливалась, и так бедный юнкер решился идти в госпиталь. Я предложил ему мою квартиру и, водясь дружески с медиками от самой молодости (потому что между ними всегда более образованных людей), обещал ему доставить хорошего доктора.

— Но у меня вовсе нет денег, — сказал юнкер.

— А на что вам они? — отвечал я. — Доктор мне приятель, да, притом, он и без того не взял бы ни копейки, ни миллиона с бедного воина. Лекарство даст вам каждый аптекарь, а на прочее... бог даст. Пойдемте со мною. Я живу близехонько.

Он пожал мою руку со слезами на глазах, и мы отправились.

Я велел моему слуге принести с постоялого двора чемодан моего больного приятеля, сладил ему походную постель, поместил в моей спальне, а сам перенесся в так называемую гостиную, призвал доктора, и дело пошло на лад. Кухарка моего хозяина стряпала для больного суп и бульон; я с моим слугою, честным и израненным отставным уланом, ухаживали за больным. С первого дня переселения ко мне юноша лег в постель и три месяца не вставал. Усилия медицины были бесполезны. Открылась жестокая чахотка, и он умер...

В течение трех месяцев я часто беседовал с ним. Он был чрезвычайно образован, начитан, имел удивительную память и был пристрастен к словесности, к поэзии, любил все высокое, благородное. Рассказывая мне о Москве, о своей жизни, он с восторгом говорил об одном молодом офицере своего полка, которого он знал в Москве, еще будучи в пансионе. Из дружбы к этому офицеру он пошел в военную службу и ему обязан был всем своим образованием, любовью к изящному, к высокому, к поэзии природы. Мой жилец писал несколько раз к этому офицеру и однажды получил от него письмо, в котором он уведомлял его, что приедет к нему в Варшаву. Больной прижимал это письмо к устам, плакал от радости... Я удивлялся этой необыкновенной привязанности и утешался. Моему сердцу было теплее.

Наконец, протекло лет шесть; я уже был в Петербурге и занимался словесностью, издавал «Северный Архив». Однажды прихожу к другу и товарищу моему, Н. И. Г[реч], —

и нахожу у него незнакомого человека. Добродушный хозяин познакомил нас по-своему, т.-е. таким образом, что мы знали с первой минуты, как обойтись друг с другом. Мой новый знакомец был тогда не тот человек, каким он сделался после. Но бессмертие уже было в его портфеле. Услышав в первый раз его фамилию, мне показалось, будто где-то и когда-то я слышал об ней, но не мог вспомнить. Мы стали разговаривать и в первую четверть часа стали называть друг друга «ты» *, не зная сами и не постигая, каким образом мы дошли до этой фамильярности. Ничего не помню, а помню только, что мы несколько раз пожимали друг другу руки и обнимались. Я просто влюбился в моего нового знакомца... Это был—Грибоедов.

Жесточайшие мои противники литературные были старые приятели, родственники или даже питомцы Грибоедова. Он даже хотел помирить меня с одним из них, воображая, что у этого человека душа Грибоедова... он ошибся. Все, что окружало Грибоедова, говорило ему против меня, потому что я тогда занимался литературной критикой и говорил резкие истины. За дружбу со мной Грибоедов приобрел даже литературных врагов; он хохотал и говорил только: хороши ребята. Грибоедова просили, чтоб он развязался со мною... Он улыбался и сидел у меня по восьми часов сряду. Признаюсь, что зато и я никогда не любил никого в мире больше Грибоедова, потому что не в состоянии любить более, почитая это невозможностью. Право, не знаю, люблю ли я более детей моих... Я люблю их как Грибоедова, а Грибоедова любил, как детей моих, как все, что есть святого и драгоценного в мире. Душа его была рай, ум — солнце.

Когда он отправлялся в последний раз в Персию, я сказал ему накануне:

---

* Свидетель Н. И. Г[реч]. С ним мы сошлись почти так же. В первую четверть часа подружились, и вот этому уже прошло семнадцать лет.

— Ты пойдешь высоко; я навсегда останусь тем, что теперь, т.-е. ничем, в полном смысле Пироновой эпитафии [37]. Мои противники мучат тебя...

Он быстро взглянул на меня, схватил за руки и сказал:

— Ничто в мире не разлучит нас. Помнишь ли Гениес..., которого ты призрел в Варшаве? Он писал ко мне о тебе... Я давно искал тебя... Наша дружба не провалится: она имеет основание.

Это собственные слова незабвенного. Ах, как малы перед ним его соперники! Он весь жил для добра и добром.

Итак офицер, о котором говорил с восторгом мой больной жилец, к которому он писал, был Грибоедов.

Как люди дружатся? Очень скоро, но прочно, когда есть основание.

## ОТВЕТ РЕЦЕНЗЕНТУ [38]

С душевным удовольствием прочел я статью вашу о незабвенном для меня Грибоедове. Вы вполне поняли и оценили его светлый ум, его благородную душу, страстную любовь к отечеству и огромное дарование. Но вы замечаете справедливо, что в изданных его биографиях многого недостает, а потому вызываете друзей его пополнить эти пробелы.

Конечно, из всех, которые называют теперь себя его друзьями, никто более меня не имеет на это права. Я знал его с юношеских лет, долго жил с ним, следил за каждым его шагом и пользовался неизменной его дружбой до конца жизни. В этом последнем отношении может состязаться со мной только А. А. Жандр: Грибоедов всегда видел в нем истинного друга, любил и душевно уважал его, но Жандр узнал его позднее меня.

Намереваясь написать краткий очерк биографии Грибоедова, против воли моей я вынуждаюсь необходимостью говорить о себе. Без личных, самых откровенных и самых дружеских отношений Грибоедова ко мне я мог бы только сказать о нем, что он написал превосходную комедию и убит в Персии, но это известно всем.

Грибоедов родился в Москве, 1795-го года; мать его, имевши только сына и дочь, ничего не пощадила для их воспитания*, и Грибоедов своей понятливостью и любо-

---

* За ней было тогда две тысячи душ, но впоследствии времени дела ее расстроились. *С. Б.*

знанием в полной мере удовлетворял ее. Тогда еще не были назначены лета для вступления в университет, и он вступил студентом тринадцати лет, зная уже совершенно французский, немецкий и английский языки и понимавши свободно в оригинале всех латинских поэтов; в дополнение к этому имел необыкновенную способность к музыке, играл отлично на фортепиано, и если б посвятил себя только этому искусству, то, конечно, сделался бы первоклассным артистом. Но на пятнадцатом году его жизни обозначилось уже, что решительное его призвание — поэзия. Он написал в стихах пародию трагедии «Дмитрия Донского», под названием «Дмитрий Дрянской», по случаю ссоры русских профессоров с немецкими за залу аудитории, в которой и русские и немецкие профессора хотели иметь кафедру *. Начинается так же, как и в трагедии, советом русских, которые хотят изгнать из университета немцев, потом так же кстати, как в трагедии явилась в стан княжна Ксения, пришла в университет Аксиния и т. п. Все приготовились к бою, но русские одержали победу. Профессор Дмитрий Дрянской **, издававший журнал, вышел вперед, начал читать первый номер своего журнала, и немцы все заснули. Тетрадка эта, написанная его рукой, сохраняется у меня ***. Конечно,

* Из русских профессоров Грибоедов слушал как студент этико-политического факультета (1810—1812 гг.) Сохацкого и Снешнева, из немцев — Гейма, Буле, Рейтарда и Шлецера.

** Вероятно, намек на профессора М. Т. Каченовского, издававшего «Вестник Европы» с 1807 года, затем после небольшого перерыва — с ноября 1809 г., и очень нападавшего на подражание всему иностранному.

*** Потом она была передана Д. А. Смирнову («Русск. Слово», 1859 года, № 4, стр. 2) и, вероятно, сгорела вместе с прочими бумагами Д. А. Смирнова. Единственное указание на ее содержание находим в этом месте *записки*, а между тем, она очень любопытна. В период общего увлечения ложноклассической трагедией Озерова «Дмитрий Донской» (1807 г.), писать пародию на нее является делом весьма оригинальным, обличающим уже и в то время сатирические наклонности молодого студента.

это произведение юношеское, но в нем однако ж много юмора и счастливых стихов *.

[Штейн вышел... и поступил простым солдатом]... Он пользовался серде[чным ува]жением Иона [39]. Вскоре [около] 1811 года... Штейн [оставил] свое место в отечестве... Нашел в Москве убежище от гонения Наполеона, [который] объявил его в газетах вне закона, hors la loi **.

Буле познакомил с Штейном Грибоедова, Штейн приласкал юношу, и Грибоедов несколько раз рассказывал мне с удовольствием о беседах их с Штейном и Булем...

[Затем А. С. Грибоедов, когда неприятель приблизился к границе России, поступил под команду князя Салтыкова, получившего дозволение сформировать гусарский полк].

Но едва приступили к формированию, как неприятель взошел в Москву. Полк этот получил повеление идти в Казань, а по изгнании неприятелей, в конце того же года, предписано ему было следовать в Брест-Литовск, присоединиться к разбитому Иркутскому драгунскому полку и принять название Иркутского гусарского. Здесь началось наше знакомство, а вместе с этим истинная и неизменная дружба на всю жизнь. По заключении мира он приехал в отпуск в Петербург и осенью того же года вышел в отставку из гусар и кажется 1815 года причислен иностранной коллегии ***. Я служил тогда в гвардии, и мы жили с ним вместе. 19-ти лет написал он в одном действии, в стихах, комедию «Молодые супруги». Содержание взято из французской пьесы («Secret du ménage»). Кажется, г. рецензент, это вам неизвестно, но ее тогда часто давали на петербургской сцене и всегда она была принята публикой очень хорошо. В Петербурге, по молодости лет, Грибоедов вел веселую и разгульную жизнь. С его

* Дальше в рукописи оторвана часть листа. Восстанавливаем по догадке, что возможно.

** Так говорили тогда в Москве, но за достоверность этого я не ручаюсь. *С. Б.*

*** Это было 9 июля 1817 года.

неистощимою веселостью и остротой, везде, когда он попадал в круг молодых людей, был он их душой. Всегдашнее же наше и почти неразлучное общество составляли Грибоедов, Жандр, Катенин [40], Чипягов [41] и я. Все они, кроме меня, были в душе поэты *, много читали, знали хорошо европейскую литературу и отдавали преимущество романтикам. В дружеских беседах часто сообщали они друг другу планы будущих своих сочинений, но мало писали да и не имели времени для этого от своих служебных занятий. Все мы любили очень театр, часто его посещали и оканчивали наш вечер, т.-е. до 2 и 3 часов утра, у князя Шаховского, бывшего тогда директором театра. Хозяин был очень любезен, всегда весел, и разговор его о всех предметах был занимателен и разнообразен, но более он любил говорить о литературе. В доме его встречались разнообразные и разнохарактерные лица. Тут можно было увидеть и литератора, и артиста, и даровитого актера, и хорошенькую актрису, и шалуна офицера, а иногда и ученого академика **. Веселая и беззаботная была тогда жизнь наша. Я, при старости моей, до сих пор с удовольствием вспоминаю об этом времени.

С Хмельницким Грибоедов был знаком только по дому князя Шаховского и ни в одной из его комедий не участвовал. Но по просьбе кн. Шаховского написал он одну сцену в комедии его «Своя семья» и для бенефиса, не помню какого актера, перевели они с Жандром с французского, в несколько дней, маленькую комедию «Притворная неверность». А судя только по этому, вы г. рецензент, удивляетесь резкому переходу Грибоедова в ко-

* Булгарин, в изданной им биографии Грибоедова, написал, что он в обществе литераторов был только с 1824 [?] года. *С. Б.*

** Князь Шаховской был членом академии и лучшим того времени писателем для сцены. Многие его комедии исполнены комической веселостью, и публика всегда видела их с удовольствием. По страсти своей к театру, он сформировал многих хороших актеров. *С. Б.*

медии «Горе от ума» и спрашиваете, «каким образом из школы поверхностно-остроумной и однообразно-забавной на французский лад — мог выйти писатель такой, как Грибоедов?» Но при первом знакомстве нашем вкус и мнение Грибоедова о литературе были уже сформированы: это известно мне на мой собственный счет. Из иностранной литературы я знал только французскую и в творениях Корнеля, Расина и Мольера я видел верх совершенства. Но Грибоедов, отдавая полную справедливость их талантам, повторял мне: «Да зачем они вклепли свои дарования в узенькую рамочку трех единств? И не дали воли своему воображению расходиться по широкому полю?» Он первый познакомил меня с «Фаустом» Гете и тогда уже знал почти наизусть Шиллера, Гете и Шекспира.

Все творения этих гениальных поэтов я прочел после в французском переводе. Никогда не говорил мне Грибоедов о виденном им в Персии сне *, вследствие которого он написал «Горе от ума», но известно мне, что план этой комедии был у него сделан еще в Петербурге 1816 года, и даже написаны были несколько сцен; но не знаю, в Персии или Грузии, Грибоедов во многом изменил его и уничтожил некоторые действующие лица, а, между прочим, жену Фамусова, сантиментальную модницу и аристократку московскую (тогда еще поддельная чувствительность была несколько в ходу у московских дам), и вместе с этим выкинуты и написанные уже сцены.

Настал наконец 1818 год, с которого жизнь Грибоедова совершенно изменилась и взяла переворот, благотворный для его дарований.

К нам ездил часто сослуживец мой по полку, молодой, очень любезный, шалун и ветренник, поручик Шереметев[42]. В одно утро вбегает он к Грибоедову совершенно расстроенный, жалуется, что танцовщица[43], в которую он

* Булгарин в своей биографии Грибоедова говорит об этом. *С. Б.*

был влюблен, изменила ему для графа Завадовского [44], говорил, что он застрелит его, послал уже к нему вызов и просил Грибоедова быть у него секундантом. Со всем своим красноречием Грибоедов не мог уговорить его, и на другой день Шереметев был смертельно ранен *. Я был в отсутствии, и Грибоедов писал ко мне в Москву, что на него нашла ужасная тоска, он видит беспрестанно перед глазами умирающего Шереметева, и пребывание в Петербурге сделалось для него невыносимо. А в продолжение этого времени познакомился с ним очень замечательный по уму своему Мазарович; он был назначен поверенным по делам в Персию и предложил Грибоедову ехать с ним секретарем посольства [45]. Я возвратился из Москвы за несколько дней до их отправления, и горестно было расставание наше!

Трехлетнее (если не ошибаюсь) пребывание его в Персии и уединенная жизнь в Тебризе ** сделали Грибоедову большую пользу. Сильная воля его укрепилась, всегдашнее любознание его не имело уже преграды и рассеяния. Он много читал по всем предметам наук и много учился. Способность его к изучению языков была необыкновенная: он узнал совершенно персидский язык, прочел всех персидских поэтов и сам мог писать стихи на этом языке. Начал также учиться санскритскому языку, но ученье это не кончил. Потом был он чиновником при известном генерале и тогдашнем начальнике Грузии и Кавказа, Алексее Петровиче Ермолове, пользовался его благорасположением, бывал с ним в военных экспедициях и до конца жизни отлично уважал его. Из Грузии писал он мне:

---

* Якубович, один из секундантов, оказавшийся по следствию главной причиной этой дуэли, был выписан из гвардии тем же чином в армейский полк и отправлен в Грузию. А Грибоедов по высочайшей воле оставлен без наказания. *С. Б.*

** Посланник наш по временам только ездил в Тегеран ко двору шаха, но жил всегда в Тебризе, при тогдашнем наследнике Аббас-Мирзе, любимом сыне шаха и правителе Персии. *С. Б.*

«Наш кавказский проконсул [46] гигантского ума!» и после лично несколько раз повторял мне то же. После пятилетней разлуки, с душевной радостью увиделись мы опять с ним в Москве. Он приехал в отпуск в марте 1823 года.

Из комедии его «Горе от ума» написаны были только два действия. Он прочел мне их, на первый акт я сделал ему некоторые замечания, он спорил и даже показалось мне, что принял это нехорошо. На другой день приехал я к нему рано и застал его только-что вставшим с постели: он неодетый сидел против растопленной печи и бросал в нее свой первый акт лист по листу. Я закричал:

— Послушай, что ты делаешь?!!

— Я обдумал, — отвечал он, — ты вчера говорил мне правду, но не беспокойся: все уже готово в голове моей.

И через неделю первый акт уже был вновь написан.

В апреле я женился [47]; событие это интересно только для меня одного, и я бы, конечно, об нем умолчал без маленького происшествия, которое характеризует поэтическую натуру Грибоедова. Он был у меня шафером и в церкви стоял возле меня. Перед началом службы священнику вздумалось сказать нам речь; Грибоедов, с обыкновенной своей тогдашней веселостью, перетолковывал мне на ухо эту проповедь, и я насилу мог удерживаться от смеха. Потом он замолчал, но, когда держал венец надо мной, я заметил, что руки его трясутся и, оглянувшись, увидел его бледным и со слезами на глазах. По окончании службы, на вопрос мой: «Что с тобой сделалось?» — «Глупость», отвечал, «мне вообразилось, что тебя отпевают и хоронят».

Я выехал из Москвы в конце мая, но перед отъездом моим, недели за три, я очень редко видел его. Он пустился в большой московский свет, бывал на всех балах, на всех праздниках, пикниках и собраниях, по дачам и проч. и проч.

На замечание мое о перемене его образа жизни, Грибоедов всегда отвечал: «Не бойся! время мое не пропадет». Мать его [48], живши безвыездно всегда в Москве и имевши дочь невесту [49], вывозила ее в свет и имела

огромное знакомство. Но он прежде никуда почти не ездил! Вслед за мной приехал ко мне в деревню брат мой [50] с семейством и Грибоедовым. Последние акты «Горе от ума» написаны в моем саду, в беседке. Вставал он в это время почти с солнцем; являлся к нам к обеду и редко оставался с нами долго после обеда, но почти всегда скоро уходил и приходил к чаю, проводил с нами вечер и читал написанные им сцены. Мы всегда с нетерпением ожидали этого времени. Он хотел оставить мне на память свою пьесу, написанную его рукой, но имел терпение написать только два акта, а остальное заставил писаря; тетрадь эта у меня сохраняется. В сентябре Грибоедов возвратился со мной в Москву и жил у меня в доме до июня 1824 года, располагая опять провести лето со мной в деревне, но мне случилась надобность ехать совершенно в другую сторону, а он отправился в Петербург, где и прожил около года.

Не имею довольно слов объяснить, до чего приятны были для меня частые (а особливо по вечерам) беседы наши вдвоем. Сколько сведений он имел по всем предметам! Как увлекателен и одушевлен он был, когда открывал мне, так сказать, нараспашку свои мечты и тайны будущих своих творений, или когда разбирал творения гениальных поэтов! Много он рассказывал мне о дворе персидском, нравах и обычаях персиян, их религиозных сценических представлениях на площадях и пр., а также об Алексее Петровиче Ермолове и об экспедициях, в которых он с ним бывал. И как он был любезен и остер, когда бывал в веселом расположении!

Из планов будущих своих сочинений, которые он мне передавал, припоминаю я только один. Для открытия нового театра в Москве, осенью 1823 года, располагал он написать в стихах пролог в двух актах, под названием «Юность вещего». При поднятии занавесы, юноша-рыбак, Ломоносов, спит на берегу Ледовитого океана и видит обаятельный сон: сначала разные волшебные явления,

потом музы, которые призывают его, и, наконец, весь Олимп во всем его величии. Он просыпается в каком-то очаровании; сон этот не выходит из его памяти, преследует его и в море, и на необитаемом острове, куда с прочими рыбаками отправился он за рыбным промыслом. Душа его получила жажду познания чего-то высшего, им неведомого, и он убегает из отеческого дома. При открытии занавесы во 2-м а те, Ломоносов в Москве, стоит на Красной площади. Далее я не помню. Но слух об его комедии распространился по Москве, он волею и неволею читал ее во многих домах. Сначала это льстило самолюбию молодого автора, а потом ужасно ему наскучило и отняло у него много времени. Пролога он написать не успел, а театр открылся.

На возвратном пути из Петербурга, 1825 года, Грибоедов уже ко мне не заехал и проехал в Грузию через Крым, который желал видеть. А в начале 1826 года отправлен он был генералом Ермоловым по делам службы [51] в Петербург, возвратился оттуда в Москву в конце июля и в начале августа был у меня в деревне на один день: он спешил съехаться с генералом Паскевичем в Воронеже. Известный теперь уже всей Европе князь Варшавский, граф Паскевич-Эриванский всегда принимал Грибоедова родственно * и почт дружески. Грибоедов служил при нем в персидскую кампанию, был во всех сражениях возле главнокомандующего, исполнял многие его препоручения и преимущественно участвовал в переговорах о мире, потому что он знал хорошо Персию и персидский язык. Все это засвидетельствовал граф Эриванский перед государем императором и послал его с донесением о мире. В проезд его через Москву, он заезжал ко мне часа на два и между прочим сказывал мне, что граф Эриванский спрашивал его, какого награждения он желает.

---

* Супруга князя Варшавского — двоюродная сестра покойного Грибоедова. *С. Б*

— Я просил графа, — говорил он, — представить меня только к денежному вознаграждению. Дела матери моей расстроены, деньги мне нужны, я приеду на житье к тебе. Все, чем я до сих пор занимался, для меня дела посторонние, призвание мое — кабинетная жизнь, голова моя полна, и я чувствую необходимую потребность писать.

Но по прибытии Грибоедова в Петербург государь император принял его очень милостиво и осыпал награждениями. Он получил и деньги, и чин, и орден св. Анны 2-й степени с бриллиантами, а потом министр предложил ему ехать полномочным послом в Персию. На пути к месту своего назначения Грибоедов пробыл у меня три дня. В разговорах наших между прочим спросил я его, не написал ли он еще комедии, или нет ли еще нового плана.

— Я уже говорил тебе при последнем свидании, — отвечал он, — что комедии больше не напишу, веселость моя исчезла [52], а без веселости нет хорошей комедии. Но есть у меня написанная трагедия.

И тут же рассказал он содержание и прочел наизусть читанные им сцены в Петербурге.

Не стану говорить мнения моего об этих сценах, вы его высказали в ваших рецензиях *. Но на убеждения мои прочесть мне всю трагедию он никак не согласился.

— Я теперь еще к ней страстен, — говорил он, — и дал себе слово не читать ее пять лет, а тогда, сделавшись равнодушнее, прочту, как чужое сочинение, и если буду доволен, то отдам в печать!

Во все время пребывания его у меня он был чрезвычайно мрачен, я ему заметил это, и он, взявши меня за руку, с глубокой горестью сказал:

— Прощай, брат Степан, вряд ли мы с тобой более увидимся!

---

* Дело идет о трагедии «Грузинская ночь». Вот слова Дудышкина: «Замысел этой трагедии очень трагичен, и в нем видна уж та глубина мысли, без которой трудно было бы вообразить себе Грибоедова после «Горе от ума».

— К чему эти мысли и эта ипохондрия? — возразил я: — ты бывал и в сражениях, но бог тебя миловал...

— Я знаю персиян, — отвечал он: — Алаяр-Хан * мой личный враг, он меня уходит! Не подарит он мне заключенного с персиянами мира. Старался я отделаться от этого посольства. Министр сначала предложил мне ехать поверенным в делах, я отвечал ему, что там нужно России иметь полномочного посла, чтобы не уступать шагу английскому послу. Министр улыбнулся и замолчал, полагая, что я по честолюбию желаю иметь титул посла. А я подумал, что туча прошла мимо и назначат кого-нибудь чиновнее меня, но чрез несколько дней министр присылает за мной и объявляет, что я назначен полномочным послом. Делать было нечего! Да и самое назначение меня полномочным послом в моем чине ** я должен считать за милость, но предчувствую, что живой из Персии не возвращусь.

То же рассказывал мне при свидании А. А. Жандр. Грибоедов прямо от министра приехал к нему поздно вечером, разбудил его и сказал:

— Прощай, друг Андрей! Я назначен полномочным послом в Персию, и мы более не увидимся.

И, к несчастью, предчувствие это сбылось! Он погиб в цвете лет своих, и всем известна его трагическая кончина. Более 25-ти лет прошло после этого события, но и до сих пор я не могу без грусти вспомнить об этом! Он был хорошим сыном, хорошим братом, верным другом и всегда по сердцу готовым на помощь ближнему.

---

* Алаяр-Хан был зять тогдашнего шаха персидского и в большой силе при дворе. Он возбудил шаха к объявлению войны. *С. Б.*

** Он только перед этим произведен был в статские советники. *С. Б.*

## ЗНАКОМСТВО МОЕ С ГРИБОЕДОВЫМ

Я был предубежден против Александра Сергеевича. Рассказы об известной дуэли, в которой он был секундантом, мне переданы были его противниками в черном виде. Он уже несколько месяцев был в Петербурге, а я не думал с ним сойтись, хотя имел к тому не мало предлогов и много случаев. Уважая Грибоедова как автора, я еще не уважал его как человека. «Это необыкновенное существо, это гений!» говорили мне некоторые из моих приятелей. Я не верил. Всякий энтузиазм в других порождал во мне холодность, по весьма естественному рассуждению: чем более человек находится вне себя, тем менее он способен ценить, измерять вещи глазами рассудка; следственно те, которые внемлют ему, должны дополнять своим разумом пустоту и, не увлекаясь чувствами, более не доверять, чем верить. Впрочем, это правило применил я только к заглазным похвалам. Электрическая искра восторга потрясала нередко меня, но не иначе, как от прикосновения. Притом частые восторги юных друзей моих нередко вспыхивали от таких предметов, которые вовсе того не стоили. Как Макбет привидениями, я был пресыщен их чудесами и феноменами. Знаки восклицания в преувеличенных письмах о нем не более убеждали меня, как двоеточия и многоточия, — словом, я хотел иметь свое мнение и без достаточной причины не менять старого на новое. Между тем, однако ж, как я упирался с ним встретиться, случай свел нас невзначай. Я сидел у больного приятеля моего, гвардейского офицера Н. А. М — ва [54], страшного любителя

всего изящного. Это было утром, в августе 1824 года. Вдруг дверь распахнулась; вошел человек благородной наружности, среднего роста, в черном фраке с очками на глазах.

— Я зашел навестить вас, — сказал незнакомец, — обращаясь к моему приятелю: — поправляетесь ли вы?

И в лице его видно было столько же искреннего участия, как в его приемах уменья жить в хорошем обществе: но без всякого жеманства, без всякой формальности; можно сказать даже, что движения его были как-то странны и отрывисты и со всем тем приличны, как нельзя более. Оригинальность кладет свою печать даже и на привычки подражания. Это был Грибоедов.

Обрадованный хозяин поспешил познакомить нас. Оба имени прозвучали весьма внятно, но мы приветствовали друг друга очень холодно, даже не подали друг другу руки. Разговор завязался по-французски о чем-то весьма обыкновенном; наконец, он склонился на словесность. Передо мною лежал том Байрона, и я сказал, что утешительно жить в нашем веке, по крайней мере потому, что он умеет ценить гениальные произведения (Байрона).

— Даже оценять многое свыше достоинства, — сказал Грибоедов.

— Я думаю, это обвинение не может касаться авторов, каковы Гете или Байрон, — возразил я.

— Почему же нет! Может быть, и обоих. Разве поклонники первого не превозносят до небес его каждую поэтическую шалость? Разве не придают каждому его слову, наудачу брошенному, тысячу противоположных значений? С Байроном поступают еще забавнее, потому что его читает весь модный свет. Гете толкуют, как будто он был непонятен; а Байроном восхищаются, не понимая его. В самом деле, никто не смеет сказать, что он проник великого мыслителя и никто не хочет признаться, что он не понял благородного лорда.

— Этому виной, я думаю, различные способы их выражения. Гете облек мысли чувствами, между тем, как

Байрон расцветил чувства мыслью. Не всякий дерзнет хвалиться своим умом; но всякий рад сказать, что у него есть сердце, и, замечая, что Гете терзает более его ум, а Байрон чувство, полагает, что легче разгадать последнее, чем первое, хотя то и другое равно трудно. Для того, чтобы заглянуть в лицо этим гигантам, равно, — заметил я, — для доступа к высотам их, не помогут ни ползки, ни прыжки: тут надобны крылья...

— И крылья орла, — прибавил Грибоедов. — Солнечные лучи играют и в блестке, и в капле; но только масса воды может отразить целое солнце, только высокая душа может обнять полную мысль гения. Что касается, однако ж, характеристики выражений в Гете и Байроне, она, мне кажется, слишком произвольна. Вы назвали их обоих великими и, в отношении к ним, это справедливо; но между ними все превосходство в величии должно отдать Гете: он объясняет своею идеею все человечество; Байрон со всем разнообразием мыслей — только человека.

— Надеюсь, вы не сделаете этого укора Шекспиру. Каждая пьеса его сохраняет единство какой-нибудь великой мысли, важной для истории страстей человеческих, несмотря на грязную пену многих подробностей, свойственных более веку, нежели человеку. Я не знаю ни одного писателя в мире, который бы обладал сильнейшим языком и большим разнообразием мыслей. Вспомните, что он проложил дорогу самому Гете. Вспомните, когда писал он...

— Все обстоятельства времени и просвещения, — отвечал Грибоедов, — благоприятствовали, конечно, развитию крыльев Гете. Но я сужу не творца, а творение, и едва ли творения Шекспира выдержат сравнение с гетевскими. Признаюсь вам, я не могу понять суда, где красоты ставятся в рекрутскую меру. Две вещи могут быть обе прекрасны, хотя вовсе не подобны.

Это правда, это осязаемая правда; мы спорили на ветер...

— Я готов пройти тридцать миль пешком, — промолвил он улыбаясь, по-английски цитируя Стерна, — чтоб поглядеть

на человека, который вполне наслаждается тем, что ему нравится, не распрашивая, как и почему. Вы англоман и поймете меня.

Мы скоро расстались, с меньшею холодностью, правда, но без всяких приветов и приглашений.

— Каков? — спросил меня с торжествующим видом приятель мой.

— Умный человек; только я не вижу в нем ничего чрезвычайного. Конечно, он держался более в оборонительном положении, и ему смешно было бы расстегнуться на первый случай и выставить напоказ все свои достоинства; по крайней мере, я не нахожу причины переменять своего мнения. Ум и сердце, человек и автор — не все равно.

Я думал так и ошибался. Дальнейшие опыты и думы, более глубокие, убедили меня, что истинно умный человек — наверно человек добрый и что произведения автора есть отпечаток его души. Маска, приемлемая на себя сочинителем, обманывает только сначала; век нельзя притворяться. Одна мысль, одно слово изменяет самому хитрому лицемеру, умей только схватить его.

Вскоре после ужасного наводнения в Петербурге, Ф. В. Булгарин, у которого сидел я, дал мне прочесть несколько отрывков из грибоедовской комедии «Горе от ума». Я уже не раз слышал о ней; но изувеченные изустными преданиями стихи не подали мне о ней никакого ясного понятия.

Я поглотил эти отрывки; я трижды перечитал их. Вольность русского разговорного языка, пронзительное остроумие, оригинальность характеров и это благородное негодование ко всему низкому, эта гордая смелость в лице Чацкого проникла в меня до глубины души. «Нет», сказал я сам себе, «тот, кто написал эти строки, не может и не мог быть иначе, как благородное существо». Взял шляпу и поскакал к Грибоедову.

— Дома ли?

— У себя-с.

Вхожу в кабинет его. Он был одет не по-домашнему; кажется, куда-то собирался.

— Александр Сергеич, я приехал просить вашего знакомства. Я бы давно это сделал, еслиб не был предубежден против вас... Все наветы, однако ж, упали перед немногими стихами вашей комедии. Сердце, которое диктовало их, не могло быть тускло и холодно.

Я подал руку, и он, дружески сжимая ее, сказал:

— Очень рад вам, очень рад. Так должны знакомиться люди, которые поняли друг друга.

— В ответ на искренность вашу заплачу тоже признанием: не все мои друзья были вашими; притом и холодность ваша при первой встрече, какая-то осторожность в речах отбили у меня охоту быть с вами покороче. После, меня разуверили в этом, и теперь объяснилось остальное. Очень рад, что я ошибся.

После нескольких слов о потопе, который проник и в его квартиру [55], я встал.

— Вы собираетесь куда-то ехать, Александр Сергеич. Не задерживаю вас.

— Признаться, хотел было ехать на обед; но, пожалуйста, останьтесь и будьте уверены, что для меня приятнее потолковать о словесности, чем скучать за столом. Вы, наверное, уже обедали (было около пяти часов), а мне нередко случается позабывать за книгою обед и ужин.

— По-несчастью, я не книга, Александр Сергеич, — сказал я шутя.

— И слава богу! Человек-книга никуда не годится.

Не желая, однако ж, воспользоваться его снисходительностью, я, раскланиваясь, *или прощаясь*, просил его «Горе от ума» для прочтения.

— Она у меня ходит по рукам; но лучше всего приезжайте завтра ко мне на новоселье обедать к М. К. Ч Он на вас сердит за критику одного из друзей своих а друзья у него безошибочны, как папа; но он благород-

нейший человек, и я помирю вас. Вы хотите читать мою комедию—вы ее услышите. Будет кое-кто из литераторов; все в угоду слушателей-знатоков: добрый обед, мягкие кресла и уютные места в тени, чтоб вздремнуть при случае.

Я дал слово и мы расстались.

Разумеется, я не замедлил на другой день явиться по приглашению. Обед был без чинов и весьма весел.

С полдюжины любителей, человека четыре литераторов составляли общество. Часов в шесть началось чтение. Грибоедов был отличный чтец; без фарсов, без подделок он умел дать разнообразие каждому лицу и оттенять каждое счастливое выражение.

Я был в восхищении. Некоторые из любителей кричали: «прелесть, неподражаемо!» и между тем не раз выходили в другую комнату, чтоб «затянуться». Один поэт повторял: «великолепно!» при всяком явлении, но потом в антракте, встретив меня одного, сказал:

— Великолепно, но многое, многое надо переделать, et puis — quel jargon! Что за комедия в четыре действия

— Неужели вы находите, что мало четырех колес для дрожек, на которых ездите? — отвечал я и оставил его проповедывать, как надобно писать театральные пьесы.

Чтение кончилось. Все обступили автора с поздравлениями и комплиментами, которые принимал он очень сухо. Видно было, что он взялся читать не для жатвы похвал, а только, чтоб отделаться от неотступных просьб любопытных. Я только сжал ему руку и он отвечал мне тем же. С этих пор мы были уже не чужды друг другу... *

Обладая всеми светскими выгодами, Грибоедов не любил света, не любил пустых визитов или чинных обедов, ни блестящих праздников так называемого лучшего общества. Узы ничтожных приличий были ему несносны потому даже, что они узы. Он не мог и не хотел скрывать насмешки над позлащенною и самодовольною глупостью,

* Пропуск в подлиннике.

ни презрения к низкой искательности, ни негодования при виде счастливого порока. Кровь сердца всегда играла у него в лице. Никто не похвалится его лестью; никто не дерзнет сказать, будто слышал от него неправду. Он мог сам обманываться, но обманывать — никогда. Твердость, с которою он обличал порочные привычки, несмотря на знатность особы, показалась бы иным катоновскою суровостью, даже дерзостью: но так как видно было при этом, что он хотел только извинить, а не уколоть, то нравоучение его, если не производило исправления, по крайней мере не возбуждало и гнева.

Он не любил женщин, так, по крайней мере, уверял он, хотя я имел причины в этом сомневаться. «Женщина есть мужчина-ребенок», было его мнение. Слова Байрона: «дайте им пряник да зеркало — и они будут совершенно довольны», ему казались весьма справедливыми... «Чему от них можно научиться?» говаривал он. «Они не могут быть ни просвещены без педантизма, ни чувствительны без жеманства. Рассудительность их сходит в недостойную расчетливость и самая чистота нравов — в нетерпимость и ханжество. Они чувствуют живо, но не глубоко. Судят остроумно, только без основания, и, быстро схватывая подробности, едва ли могут постичь, обнять целое. Есть исключения, зато они редки; и какой дорогой ценой, какой потерею времени должно покупать приближение к этим феноменам. Словом, женщины сносны и занимательны только для влюбленных».

Вся жизнь его деятельности, проведенная или на бивуаках кавказских, или в азиатских городах Грузии и Персии, имела много прелестей, или, по крайней мере, занимательности и без общества женщин, и это самое породило в нем убеждение, что в политическом быту мы должны осудить женщин на азиатское или, по крайней мере, на афонское заключение. «Они предназначены самой природой для мелочей домашней жизни», говаривал он, «равно по силам телесным, как и умственным. Надобно, чтоб они

жили больше для мужей и детей своих, чем невестились и ребячились для света. Если б мельница дел общественных меньше вертелась от вееров, дела шли прямее и однообразнее; места не доставались бы по прихотям и связям — родственным или меценатов в чепчиках, всегда готовых увлекаться наружностью лиц и вещей; покой браков был бы прочнее, а дети умнее и здоровее. Сохрани меня бог, чтоб я желал лишить девиц воспитания; напротив, заключив их в кругу теснейшем, я бы желал дать им познания о вещах, гораздо основательнее нынешних».

Кавказ.
1829 г.

## ИЗ МОИХ ЗАПИСОК

В театральном училище, где я воспитывался, в начале 1820-х гг., хотя и был уже устроен постоянный театр, но на нем играли мы только в Великий пост, во время экзаменов, и иногда — в Успенский пост. Учителем драматического искусства был у нас тогда князь Александр Александрович Шаховской, считавшийся в то время, и по справедливости, знатоком театрального дела. Когда же, в 1822 г., любимые ученицы князя были выпущены из училища, он перестал ездить в школу, а продолжал свои уроки у себя на дому. Таким образом, училище оставалось без драматического учителя, а домашний наш театр без употребления. Мы тогда задумали устраивать, в свободное время, домашние спектакли собственными средствами. Инспектором театрального училища был в ту пору Иван Самойлович Бок, он же занимал и докторскую должность при театре. Это был человек очень добрый, простой, но, вместе с тем, слабый и трусливый до-нельзя. Он ни за что не позволял воспитанницам участвовать в наших спектаклях: «Играйте», говорит, «одни, а я об этом директора не смею просить». Нечего делать, надо было выбирать пьесы без женского персонала, но это было довольно затруднительно, потому что таковых в тогдашнем репертуаре не имелось. Мои товарищи-однокашники избрали меня своим режиссером и мы принуждены были играть тогда по большей части пародии, недозволенные цензурой, как, например: «Митюху Валдайского» (пародия на «Дмитрия Донского»), «Трумфа» соч. Ивана Андреевича Крылова и некоторые

другие... Чтобы помочь нашему бедному репертуару, я в то время написал тоже пародию, в стихах, под названием «Нерон» и потом «Сентябрьскую ночь», сюжет которой заимствовал из рассказа Александра Бестужева, помещенного в *Литературных Прибавлениях* к журналу «Сын Отечества». Две эти пьески были без женских ролей и имели на нашей миньятюрной сцене большой успех. Само собою разумеется, что наша домашняя публика была не взыскательна и снисходительно относилась к доморощенному автору. Главные в них роли играли мои совоспитанники — Григорьев и Воротников. Петр Иванович Григорьев, впоследствии известный актер и сочинитель, готовился тогда быть музыкантом и уже начинал играть на виолончеле в театральном оркестре. Я уговорил его принять участие в наших спектаклях; он согласился попробовать свои средства и, сыграв удачно несколько ролей, так пристрастился к сценическим занятиям, что вскоре выполз из оркестра на сцену, оставил свой инструмент и решился сделаться актером. Через год после того он начал учиться у кн. Шаховского и дебютировал на публичной сцене.

По выходе моем из училища (в 1823 году), я продолжал занимать принятую на себя должность режиссера у прежних своих однокашников. Наши ребяческие спектакли посещал несколько раз Александр Сергеевич Грибоедов, и они ему очень нравились. Я помню, как он от души хохотал, смотря моего «Нерона». Водевиль же мой «Сентябрьская ночь» он даже уговаривал меня тогда поставить на публичном театре, но я в то время не смел и мечтать об этой чести *.

Вместе с Грибоедовым посещал наши спектакли Александр Бестужев. Однажды мне случилось играть на нашем театре роль офицера Хрустилина в водевиле «Пурсоньяк» (кн. Шаховского). В нашем театральном гардеробе мун-

* В 1830 г. этот водевиль был игран в Большом театре, в бенефис актера Рязанцева.

диры были больно безобразные, и я выпросил у Бестужева его адъютантский мундир со всеми к нему принадлежностями. И как же я был тогда доволен, что мог на сцене пощеголять в настоящей гвардейской форме!— что, разумеется, не дозволено было на публичном театре.

Думал ли я тогда, что, может быть, играю в том самом мундире, в котором, через несколько времени, Бестужев будет разыгрывать злополучную роль на Сенатской площади и за которую его вызовут в Петропавловскую крепость!

В 1824 г. появилась в рукописи бессмертная комедия Грибоедова. В печати были тогда только две или три сцены из нее, помещенные в альманахе под названием «Русская Талия», изданном Булгариным; но вся комедия была в то время запрещенным плодом. Мы с Григорьевым предложили Александру Сергеевичу разыграть «Горе от ума» на нашем школьном театре и он был в восхищении от нашего предложения. Большого труда нам стоило упросить доброго инспектора Бока дозволить и воспитанницам принять участие в этом спектакле... Наконец, он согласился, и мы живо принялись за дело; в несколько дней расписали роли, в неделю их выучили и дело пошло на лад *. Сам Грибоедов приезжал к нам на репетиции и очень усердно учил нас. Надо было видеть, с каким простодушным удовольствием он потирал себе руки, видя свое «Горе от ума» на нашем ребяческом театре. Хотя, конечно, мы откалывали его бессмертную комедию с горем пополам, но он был очень доволен нами, а мы были

* Вот фамилии воспитанников и воспитанниц, которые должны были участвовать в комедии: Григорьев — Чацкого, Чайчиков — Фамусова, я — Репетилова, Экунин — Скалозуба, Софью — Прилуцкая, Лизу — Лебедева (впоследствии она вышла замуж за танцора Шелихова), Хлестову — Ковалева (теперь она классная дама в театральном училище), остальных не помню... Но чуть ли не мы вдвоем с Ковалевой изо всего этого персонала и уцелели на нашей жизненной сцене.

в восторге, что могли угодить ему. На одну из репетиций он привел с собою А. Бестужева и Вильгельма Кюхельбекера [57], и те также нас похваливали... Наконец, комедия была уже совсем приготовлена, на следующий день назначен был спектакль... но, увы, все наши хлопоты и надежды лопнули, как мыльный пузырь. Накануне самого представления, во время последней репетиции, является к нам инспектор Бок и объявляет нам грозный фирман графа Милорадовича [58] (который имел тогда главное начальство над императорскими театрами и которому кто-то донес о наших затеях), чтобы мы не смели так либеральничать и что пьесу, неодобренную цензурой, нельзя позволять играть в театральном училище. Все мы повесили носы от этого неожиданного известия и пришлось нам горемычным повторить два стиха из запрещенной комедии.

Ни беспокойства, ни сомненья,
А горе ждет из-за угла!

Да, действительно, мы все были в страшном горе, а наш простодушный Бок перетрусился не на шутку; он, кажется, боялся, чтоб за свою слабость к нам не попасть ему в крепость. Но дело ограничилось одним только выговором.

Мы с Григорьевым отправились тотчас же к Грибоедову с этим роковым известием, что, конечно, его сильно огорчило.

Итак, поэту не суждено было видеть на сцене (даже и в таком горемычном исполнении, как наше) своей бессмертной комедии.

В этот период времени Грибоедов часто бывал у нас в доме, а мы с братом, Васильем Андреевичем [59], еще чаще посещали его. Кроме его остроумной беседы, любил я слушать его великолепную игру на фортепиано. Сядет он, бывало, к ним и начнет фантазировать... Сколько было тут вкусу, силы, дивной мелодии! Он был отличный пианист и большой знаток музыки: Моцарт, Бетховен, Гайдн

и Вебер были его любимые композиторы. Однажды я сказал ему:

— Ах, Александр Сергеевич, сколько бог дал вам талантов: вы поэт, музыкант, были лихой кавалерист, и, наконец, отличный лингвист.

(Он, кроме пяти европейских языков, основательно знал персидский и арабский языки).

Он улыбнулся, взглянул на меня умными своими глазами из-под очков и отвечал мне:

— Поверь мне, Петруша, у кого много талантов, у того нет ни одного настоящего.

Он был скромен и снисходителен в кругу друзей, но сильно вспыльчив, заносчив и раздражителен, когда встречал людей не по душе. Тут он готов был придраться к ним из пустяков и горе тому, кто попадался к нему на зубок... тогда соперник бывал разбит в пух и прах, потому что сарказмы его были неотразимы. Вот один из таких эпизодов.

Когда Грибоедов привез в Петербург свою комедию, Николай Иванович Хмельницкий просил его прочесть ее у него на дому. Грибоедов согласился. По этому случаю, Хмельницкий сделал обед, на который, кроме Грибоедова, пригласил несколько литераторов и артистов; в числе последних были: Сосницкий [60], мой брат и я. Хмельницкий жил тогда барином, в собственном доме на Фонтанке у Семионовского моста. В назначенный час собралось у него небольшое общество. Обед был роскошен, весел и шумен. После обеда все вышли в гостиную, подали кофе и закурили сигары. Грибоедов положил рукопись своей комедии на стол; гости, в нетерпеливом ожидании, начали придвигать стулья; каждый старался поместиться поближе, чтоб не проронить ни одного слова... В числе гостей был тут некто Василий Михайлович Федоров, сочинитель драмы «Лиза, или торжество благодарности» и других давно уже забытых пьес. Он был человек очень добрый, простой, но имел претензию на остроумие. Физиономия ли

его не понравилась Грибоедову, или может быть старый шутник пересолил за обедом, рассказывая неостроумные анекдоты, только хозяину и его гостям пришлось быть свидетелями довольно неприятной сцены. Покуда Грибоедов закуривал свою сигару, Федоров, подойдя к столу, взял комедию (которая была переписана довольно разгонисто), покачал ее на руке и, с простодушной улыбкой, сказал:

— Ого, какая полновесная!.. Это стоит моей *Лизы*.

Грибоедов посмотрел на него из-под очков и отвечал ему сквозь зубы:

— Я пошлостей не пишу.

Такой неожиданный ответ, разумеется, огорошил Федорова, и он, стараясь показать, что принимает этот резкий ответ за шутку, улыбнулся и тут же поторопился прибавить:

— Никто в этом не сомневается, Александр Сергеевич; я не только не хотел обидеть вас сравнением со мной, но, право, готов первый смеяться над своими произведениями.

— Да, над собой-то вы можете смеяться сколько вам угодно, а я над собой — никому не позволю!..

— Помилуйте, я говорил не о достоинстве наших пьес, а только о числе листов.

— Достоинств моей комедии вы еще не можете знать, а достоинства ваших пьес всем давно известны.

— Право, вы напрасно это говорите; я повторяю, что вовсе не думал вас обидеть.

— О, я уверен, что вы сказали не подумавши, а обидеть меня вы никогда не можете.

Хозяин от этих шпилек был как на иголках и, желая шуткой как-нибудь замять размолвку, которая принимала нешуточный характер, взял за плечи Федорова и, смеясь, сказал ему:

— Мы за наказание посадим вас в задний ряд кресел...

Грибоедов, между тем, ходя по гостиной с сигарой, отвечал Хмельницкому:

— Вы можете его посадить, куда вам угодно, только при нем своей комедии читать не стану...

Федоров покраснел до ушей и походил в эту минуту на школьника, который силится схватить ежа — и где его ни тронет, везде уколется... Очевидно, что хозяин был поставлен в самое щекотливое положение между своими гостями, не знал, чью сторону принять, и всеми силами старался как-нибудь потушить эту вздорную ссору, но Грибоедов был непреклонен и ни за что не соглашался при Федорове начать чтение. Нечего было делать... бедный автор добродетельной *Лизы* взял шляпу и, подойдя к Грибоедову, сказал:

— Очень жаль, Александр Сергеевич, что невинная моя шутка была причиной такой неприятной сцены... и я, чтоб не лишать хозяина и его почтенных гостей удовольствия слышать вашу комедию, ухожу отсюда...

Грибоедов с жестоким хладнокровием отвечал ему на это:

— Счастливого пути...

Федоров скрылся...

Итак, драматургу, из-за своей несчастной драмы, пришлось сыграть комическую роль, а комик чуть не разыграл драмы из-за своей комедии.

По уходе Федорова чтение началось — и нужно ли говорить, какой эффект произвела эта комедия на слушателей!

Здесь, для контраста, приведу другой случай из домашней жизни покойного Александра Сергеевича. Был у него камердинер, крепостной его человек, который с малолетства находился при нем для прислуги; он вместе с ним вырос и был при нем безотлучно во всех его путешествиях. Грибоедов его очень любил и даже баловал, вследствие чего слуга зачастую фамильярничал со своим господином. По какому-то странному случаю, этот слуга назывался Александром Грибовым и Грибоедов часто называл его тезкой. Грибов, по уходе его, запер квартиру на ключ и сам тоже куда-то отправился... Часу во втором ночи

Грибоедов воротился домой; звонит, стучит, — дверей не отворяют... Он еще сильнее — нет ответа. Помучившись напрасно с четверть часа, он отправился ночевать к своему приятелю Андрею Андреевичу Жандру, который жил тогда недалеко от него.

На другой день Грибоедов приходит домой; Грибов встречает его, как ни в чем не бывало.

— Сашка, куда ты вчера уходил? — спрашивает Грибоедов.

— В гости ходил... — отвечает Сашка.

— Но я во втором часу воротился, и тебя здесь не было.

— А почем же я знал, что вы так рано вернетесь? — возражает он таким тоном, как будто вся вина была на стороне барина, а не слуги.

— А ты в котором часу пришел домой?

— Ровно в три часа.

— Да, — сказал Грибоедов, — ты прав; ты точно, в таком случае, не мог мне отворить дверей...

Несколько дней спустя, Грибоедов сидел вечером в своем кабинете и что-то писал. Александр пришел к нему и спросил его:

— А что, Александр Сергеевич, вы не уйдете сегодня со двора?

— А тебе зачем?

— Да мне бы нужно было сходить часа на два, на три в гости.

— Ну, ступай, я останусь дома.

Грибов расфрантился, надел новый фрак и отправился... Только что он за ворота, Грибоедов снимает халат, оделся, запер квартиру, взял ключ с собою и ушел опять ночевать к Жандру. Время было летнее; Грибов воротился часу в первом... звонит, стучит, двери не отворяются... Грибов видит, что дело плохо, — стало быть, барин надул его... Уйти ночевать куда-нибудь нельзя, неравно барин вернется ночью. Нечего было делать; ложится он на полу, около самых дверей и засыпает богатырским сном.

Рано поутру Грибоедов воротился домой и видит, что его тезка, как верный пес, растянулся у дверей своего господина. Он разбудил его и, потирая руки, самодовольно говорит ему:

— А? Что?.. франт-собака, каково я тебя пришколил... славно отомстил тебе. Вот, еслиб у меня не было поблизости знакомого — и мне бы пришлось на прошлой неделе так же почевать, по твоей милости...

Грибов вскочил, как встрепанный, и, потягиваясь, сказал ему:

— Куда как остроумно придумали... есть чем хвастать...

Другой раз, при мне, Грибоедов садится за фортепьяно, у которого одна ножка была без колеса и для подпорки под нее обыкновенно подставляли какой-то брусок. На этот раз бруска не оказалось и фортепьяно шаталось во все стороны... Грибоедов зовет своего Грибова и говорит ему:

— Ты верно опять сегодня играл без меня на фортепьяно?

— Играл немножко... — отвечает он фамильярно.

— Ну, так и есть. А куда девался брусок?

— Не знаю.

— А что ты играл?

— «Барыню».

— Ну-ка, сыграй...

Слуга, без церемонии, садится за фортепьяно и одним пальцем наигрывает известную песню: «Барыня-сударыня, протяните ножку». Грибоедов прослушал его с пол-минуты, покачал головой и сказал ему:

— Ах ты, дрянь этакая, и понятия не имеешь, как надо играть, а портишь мне фортепьяно... По-ш-ш-шел играй лучше в свайку или в бабки.

Эти два анекдота ясно обрисовывают простодушный характер Грибоедова. Впоследствии, этот самый Грибов был вместе со своим господином в Тегеране и в 1829 году, во время кровавой катастрофы, как мне рассказывали, был изрублен вместе с ним.

Известно, что Грибоедов, в 1826 году, был вытребован из Тифлиса следственной комиссией по делу 14 декабря; его подозревали также прикосновенным к заговору; он был с фельдъегерем привезен в Петербург и содержался несколько дней под арестом в Главном штабе. Вскоре, однако, он был освобожден, потому что никаких улик против него не оказалось. Я помню его экспромт, сказанный им по поводу этого ареста... вот он:

По духу времени и вкусу,
Он ненавидел слово: — раб...
За то посажен в Главный штаб
И там притянут к Иисусу![61]

В начале весны, в 1828 году, незадолго до своего отъезда в Тегеран, Александр Сергеевич зашел ко мне. Тогда я уже был женат; он желал поздравить меня и жену мою с законным браком. (Его не было в Петербурге, когда мы сыграли нашу свадьбу.)* Мы с женою поздравляли его и с царскою милостью и с блестящей карьерой (он тогда только что был назначен посланником и полномочным министром при персидском дворе). На наше радушное приветствие он отвечал как-то грустно, точно предчувствие щемило его вещее сердце:

— Бог с ними, с этими почестями! — говорил он: — мне бы только устроить и обеспечить мою старушку-матушку, а там я опять бы вернулся сюда... Дайте мне мое свободное время, мое перо и чернильницу, больше мне ничего не надо!

Когда же я заговорил об его высоком назначении, он отвечал мне:

— Не люблю я персиян; это самое коварное и предательское племя.

---

* Первая моя жена была Любовь Осиповна Дюрова (ученица кн. Шаховского), родная сестра известного артиста Николая Осиповича Дюра. Она так же, как и брат ее, была в свое время любимицей публики. Она скончалась в том же 1828 году.

Потом, когда он собирался уходить, жена моя сказала ему:

— Неужели, Александр Сергеевич, бог не приведет вам увидеть свою чудную комедию на нашей сцене?

Он грустно улыбнулся, взглянул на нее из-под очков и сказал ей:

— А какая бы вы была славная Софья!

Грустно было на этот раз наше прощание с ним... Не прошло и году после нашей разлуки, как его не стало: он погиб в Тегеране 30 января 1829 года.

## II

По духу времени и вкусу
Я ненавидел слово: раб, —
Меня позвали в Главный штаб
И потянули к Иисусу.

А. Грибоедов.

## АРЕСТ ГРИБОЕДОВА

В 1825 году, в ноябре, мы возвратились из похода в горы. Отряд был расквартирован по казачьим станицам как для отдыха, так и для того, чтобы исправить амуницию, слишком пострадавшую от довольно продолжительного движения в горах. Главная квартира учреждена была Гребенского полка в станице Червленной.

Вскоре отправились мы в станицу Екатериноградскую. Ермолов, Алексей Петрович, назначил тут свидание с начальником своего штаба генерал-маиором Алексеем Александровичем Вельяминовым, начальником в Имеретии князем Петром Дмитриевичем Горчаковым и нашим посланником в Персии статским советником Семеном Ивановичем Мазаровичем, жившим тогда уже в Тифлисе, по натянутым отношениям с персиянами. Тут нашли мы Грибоедова, возвращавшегося из продолжительного отпуска и по пути из Петербурга обратно на Кавказ побывавшего в Крыму.

Через несколько дней прибыл из Таганрога фельдъегерь Якунин с горестным известием о кончине императора Александра, и за сим получен указ о присяге императору Константину Павловичу. В тот же день, в станичной церкви, мы принесли присягу; на площади были приведены к присяге казаки станицы и рота Кабардинского полка, расположенная в станице. В тот же день отправлены были два курьера: один в Тифлис, другой в станицу Червленную, для приведения войск к присяге.

Мы собирались всякий день к обеду у Алексея Александровича Вельяминова (прекраснейшего из смертных).

После гастрономического обеда Грибоедов читал нам по нескольку явлений из только что конченного «Горя от ума», которое и послужило ему впоследствии к оправданию по делу декабристов [63]. Конец вечера проводили мы за вистом.

Накануне отъезда нашего из Екатериноградской станицы, когда были кончены все дела с начальствующими лицами, вызванными туда Алексеем Петровичем, Грибоедов должен был ехать в Тифлис, но убедительно просил Алексея Петровича взять его в назначенный тогда поход. Алексей Петрович отговаривал его, но, наконец, как-то неохотно согласился.

На другой день мы уехали в Червленную, где Грибоедов, за неимением квартиры, поместился у меня. При нем был молодой мальчик за камердинера, Алексаша. Этому Алексаше пришлось через несколько дней играть важную роль вместе с моим человеком Матвеем Алексеевым, в крепости Грозной.

Утром 25 декабря, все чиновники и офицеры, находившиеся при главной квартире, собрались, чтобы поздравить Алексея Петровича с праздником. Домик офицерский, занимаемый Алексеем Петровичем, был на площади, на углу улицы, ведущей к станице Наур, т.-е. к дороге из России. Утро было прекрасное, довольно теплое. Кто сидел на завалинке домика, кто прохаживался поблизости. Толкуя о предстоящем походе в Чечню, мы увидали, что шибко скачет кто-то на тройке прямо к квартире генерала. Это был фельдъегерь Дамиш [64]. Тотчас позвали его к генералу; он подал ему довольно толстый конверт, в котором были манифест о восшествии на престол императора Николая и все приложения, которые хранились в Москве, в Успенском соборе. Алексей Петрович поздравил нас с новым государем и тут же приказал дежурному по отряду сделать нужные распоряжения относительно присяги. Не медля нимало, был отправлен курьер в Тифлис к начальнику штаба, и как мы расположены были по раскольничьим станицам, то при-

шлось посылать за священником в г. Кизляр (слишком 200 верст от станицы Червленной), которого и привезли только на третий день; тогда мы все и 1-й баталион Ширванского полка, и казаки станицы, присягнули. Эта медленность была поставлена потом в вину Алексею Петровичу, между тем как вины тут никакой не было.

Когда Алексей Петрович окончил распоряжения, фельдъегерь Дамиш стал рассказывать о событии 14 декабря. В это время Грибоедов, то сжимал кулаки, то разводя руками, сказал с улыбкою:

— Вот теперь в Петербурге идет кутерьма! Чем-то кончится!

Еще было поставлено в вину Алексею Петровичу, отчего он донес о присяге с тем же фельдъегерем, а не послал кого-нибудь из адъютантов или из офицеров. Это, конечно, было бы приличнее. Не знаю, почему это случилось. Говорили, что будет послан поручик гвардейского генерального штаба Сергей Ермолов, двоюродный брат генерала; но вышло не так.

На 28 декабря велено было отряду собираться в станицу Червленную. Алексей Петрович назначил свой отъезд этого же числа и приказал за собой следовать генерального штаба подполковнику Жихареву. Тут Грибоедов стал просить убедительно, чтобы и ему следовать с генералом. Алексей Петрович согласился, и на другое утро [65] Грибоедов выступил с первым баталионом Ширванского полка, с 2 сотнями казаков, при 2 конных казачьих орудиях. Тогда время было опасное: хотя до крепости Грозной только 40 верст, но иначе идти было нельзя, так как вся Чечня находилась в волнении. Бей-Булат, первый имам [66], проповедывал казават, т.-е. войну против неверных.

Штаб отряда и тяжести должны были выступить на другой день. Так и исполнили, согласно приказанию. Хотя перевозочные средства могли быть усилены, но Алексей Петрович жалел наших нагайцев, поставлявших провиант, отчего и вышло, что нам дали с Грибоедовым одну арбу,

на которую сложили наши вещи. Люди наши следовали на вьючных лошадях.

Станица Червленная расположена близ Терека, но переправа устроена выше станицы, в четырех или пяти верстах, где мы и переправились на правый берег. В десяти верстах от переправы, за небольшим перевалом, находился Чеченский аул, при горячем серном источнике, а против аула построено укрепление, названное Горячеводском. В укреплении этом расположена была рота 43 Егерьского полка под командой капитана графа Бельфорта *, который, хотя родом француз, но, кроме русского языка, не знал никакого, получив воспитание во втором кадетском корпусе.

Все, что мне удалось читать печатного об аресте Грибоедова, все совершенно не так. Видно, что это пересказанные речи. Я буду говорить, как очевидный свидетель, и ручаюсь за сказанное.

Рано утром мы выступили из Червленной и часу в одиннадцатом подошли к Горячеводскому укреплению, где назначен был привал с тем, чтобы стянуть обоз с тяжестями, который по случаю переправы очень растянулся.

Гостеприимный хозяин граф Бельфорт, ожидая нас, приготовил целого барана, жарившегося на шашлыке. Мы выпили водки или по-кавказски спирту (когда его разводить!) и принялись за гомерический завтрак на открытом воздухе. День был солнечный и довольно теплый. Исправлявший должность дежурного штаб-офицера, гвардии капитан Талызин, первый увидал, на перевале от Терека, тройку в санях, окруженную 20 или 30 казаками, и первый сказал: «Господа, ведь это должен быть фельдъегерь!» Так и вышло. Через полчаса подскакали сани, из которых выскочил фельдъегерь, с одной сумкой на груди. Он назвал себя Уклонским **. Мы познакомились и предложили

* Был комендантом в Моздоке и умер в чине полковника.

** Был впоследствии почтмейстером в Гатчине.

ему водки. Он выпил нашего спирту и принялся с нами за шашлык. Талызин, как ловкий человек, предложил другую чарочку. Тот отказался. Успели принести от маркитанта шампанского; фельдъегерь тоже отказался, сказав, что не пьет виноградных вин. Хотели угостить чем бы нибудь еще, но он ото всего отказывался. Лошадь верховая ему была готова.

Ударили подъем, и мы пошли в крепость Грозную. Погода сделалась сумрачная, да и на душе было невесело: давило какое-то предчувствие.

Подойдя к Шульцову кургану (а теперь называется Ермоловским; это, кажется, в 4 или 3 верстах от крепости), мы согласились поехать вперед отряда. Талызин, Сергей Ермолов и я, пригласивши с собой фельдъегеря, пустились на рысях и прямо к дому коменданта крепости Грозной. Алексей Петрович сидел за большим столом и, как теперь помню, раскладывал пасьянс. С боку возле него сидел с трубкой Грибоедов. Когда мы доложили, что прибыли и привезли фельдъегеря, генерал немедленно приказал позвать его к себе. Уклонский вынул из сумки один тонкий конверт от начальника главного штаба Дибича. Генерал разорвал конверт; бумага заключала в себе несколько строк, но, когда он читал, Талызин прошел сзади кресел и поймал на глаз фамилию Грибоедова [67]. Алексей Петрович, пробежавши быстро бумагу, положил в боковой карман сюртука и застегнулся. Потом он начал расспрашивать Уклонского о событиях в Петербурге. Очень толково и последовательно рассказывал Уклонский. Я не обратил внимания на Грибоедова; но Талызин мне после сказывал, что он сделался бледен, как полотно. Так как это было зимой, то мы были в черкесках и полушубках. Я вышел, чтобы узнать, где наша квартира, которая была отведена на нас четверых почти что рядом, в офицерском флигеле: мне, подполковнику Жихареву, Сергею Ермолову и Грибоедову. Это была квартира капитана Козловского (почти дослужившегося до чина полного генерала, Викентия

Михайловича, бывшего председателем Кавказских вечеров в Петербурге).

В сенях встретил я Талызина, который отдавал приказание одному из ординарцев генерала, урядннку Кавказского казачьего полка Рассветаеву, чтобы он скакал в обоз, отыскал арбу Грибоедова и Шимановского и чтобы гнал в крепость. Я спросил его по-французски: на что это? Талызин отвечал: «После скажу!»

Когда я возвратился к А. П. Ермолову, снявши свой полушубок, то Грибоедова не было в комнате. Он выходил куда-то, но скоро возвратился, был, повидимому, покоен и слушал рассказы Уклонского, который назвал много арестованных. Приказано было подавать ужин, к которому генерал велел пригласить прибывшего перед тем дежурного по отряду артиллерии полковника Мищенка, приехавшего с донесением, что голова колонны прибыла и расположена бивуаком около крепости, а равно и фельдъегеря Уклонского. Походный ужин незатейлив: два блюда; стало быть, он недолго продолжался, но росказни Уклонского заставили просидеть за столом лишнее время, а может быть и нужно было продлить ужин для других целей. Генерал после ужина сиживал за столом всегда подолгу; тут бывали разные шутки, росказни и анекдоты; но на сей раз ничего подобного не было, и когда мы встали и люди убрали посуду, то генерал, обратившись ко всем, сказал: «Господа, вы с походу, вероятно, спать хотите, то покойной ночи!» Все стали расходиться.

Под квартиру нам отведена была одна большая комната, но без всякой мебели; нам постлано было на полу, и, чтобы удержать подушки, наши переметные чемоданы были приставлены к головам. Так было и у постели Грибоедова.

Мы с Жихаревым разделись и легли. Сергей Ермолов раздевался, но по обыкновению спорил с Грибоедовым и защищал Москву, которую Грибоедов, как и всегда, клеймил своими сарказмами. Грибоедов не раздевался. Вдруг отворяются двери, и является дежурный по отряду пол-

ковник Мищенко, но уже в сюртуке и шарфе, точно так и дежурный штаб-офицер Талызин; а за ними фельдъегерь Уклонский. Мищенко подошел к Грибоедову и сказал ему:

— Александр Сергеевич, воля государя императора, чтобы вас арестовать. Где ваши вещи и бумаги?

Грибоедов весьма покойно показал ему на переметные чемоданы, стоявшие в голове нашей постели. Потащили чемоданы на средину комнаты. Начали перебирать белье и платье и, наконец, в одном чемодане на дне нашли довольно толстую тетрадь. Это было «Горе от ума». Мищенко спросил, нет ли еще каких бумаг. Грибоедов отвечал, что больше у него бумаг нет и что все его имущество заключается в этих чемоданах. Переметные чемоданы перевязали веревками и наложили печати Мищенко, Талызин и Уклонский, у которого оказалась при часах сердоликовая печать. Потом полковник Мищенко сказал Грибоедову, чтобы он пожаловал за ним. Его перевели в другой офицерский домик, где уже были поставлены часовые у каждого окна и у двери.

Как мы ни устали, но провели эту ночь почти что без сна.

На утро мы проводили Грибоедова до кургана. Прощаясь, он повторял нам:

— Пожалуйста не сокрушайтесь, я скоро с вами увижусь.

Так и было: он приехал назад в Тифлис из Петербурга в начале сентября этого же года.

Тут нужно возвратиться к арбе с нашими вещами. Урядник Рассветаев ловко исполнил возложенное на него поручение. Он отыскал арбу, вывел ее из колонны и заставил быков скакать, так что очень скоро прибыли наши люди к назначенному нам флигелю. Тут встретило наших людей приказание елико возможно скорее сжечь все бумаги Грибоедова, оставив лишь толстую тетрадь — «Горе от ума» [68]. Камердинер его Алексаша хорошо знал бумаги своего господина; он этим и руководствовал и не более

как в полчаса времени все сожгли на кухне Козловского, а чемоданы поставили на прежнее место в арбу.

Так совершилось это важное для Грибоедова событие, и потому-то он нам на прощаньи с такой уверенностью говорил: «Я к вам возвращусь». Сего конечно не случилось бы, если бы бумаги его уцелели. Да это дело прошлое; но нужно бы Грибоедову это помнить и быть благодарным. Но не так вышло, а совершенно противное [69].

В сентябре 1826 года я был командирован по службе на кавказскую линию. Въезжая на казачий пост в Коби, я встретил Грибоедова, на его обратном пути. Из Москвы он ехал вместе с Денисом Васильевичем Давыдовым. Долго я просидел с ними; но этот случай подробно рассказан Денисом Васильевичем в его записках, изданных в Лейпциге [70]. Говорено было немало, да ума-разума не стало! Старинная поговорка...

Последнее слово о Грибоедове. Его товарищи не любили [71], у него был характер непостоянный, и самолюбие неограниченное. Вот для образца один случай. Когда, по приезде в станицу Червленную, он еще жил у меня в хате, раз приходит к нам Сергей Ермолов и, разумеется, разговор перешел на Москву. Ермолов хорошо знал по Москве Степана Никитича Б[егиче]ва и спросил Грибоедова, как он мог с этим увальнем и тюфяком так подружиться? Грибоедов с живостью отвечал:

— Это потому, что Б[егиче]в первый стал меня у в а ж а т ь.

А потом он же вывел этого своего друга на сцену в «Горе от ума» в лице Платона Михайловича [72].

Изо всех действовавших лиц в настоящем событии я один остался в живых, и что́ написал, то написал верно.

## ВОСПОМИНАНИЕ О ГРИБОЕДОВЕ

Я никогда не воображал, что мне придется говорить в настоящее время о Грибоедове, хотя и мог сообщить многое о нем. Я полагал, что обнародование того, что мне известно, совершится только в таком случае, когда явятся в свет мои записки, что предполагалось не в близком еще будущем, — вероятно, не скоро даже и после моей смерти. Но вот, когда по поводу совершившегося пятидесятилетия со времени преждевременной кончины Грибоедова все стали говорить и писать о нем и я увидел, что и в рассказах, и в напечатанных даже статьях многое совершенно несогласно с тем, что мне достоверно известно, я пожелал прочесть и сверить с моими воспоминаниями все, по возможности, что до сих пор было известно об этом писателе, не желая наполнять свои записки излишними повторениями того, что было уже известным и без меня. Но не имея возможности все отыскивать самому, я, естественно, пожелал прочитать такое из последне-вышедших жизнеописаний Грибоедова, которое составляло как бы свод всего, что сохранилось о нем не только в печати, но и в преданиях, и мне указано было для этого на собрание сочинений Грибоедова, с предисловием, написанным профессором Веселовским.

Прочитавши предисловие, я увидел, что по недостаточности и ненадежности источников, по сбивчивости и противоречиям в преданиях, многое представлено в ошибочном

виде. Это, конечно, вина не профессора. Он мог извлекать сведения только из того материала, который был известен; но с моей стороны, коль скоро я увидел, что вещи вполне мне известные представлены не так, как происходили они в действительности, я счел уже своею обязанностью безотлагательно сделать замечания на все найденное мною ошибочным и указать на явные противоречия и несообразности в некоторых преданиях, затемненных и искаженных временем, присоединив такие дополнения, которые оказались необходимыми для связи и большей ясности.

Я был знаком с Грибоедовым в продолжение, правда, только очень короткого времени, но зато это время было самое критическое для него, самое важное и самое опасное; время, в которое он подвергался наиболее и искушениям, и испытаниям. Это было, именно, в исходе 1824 и в начале 1825 года; и затем я сидел вместе с ним в здании Главного штаба. Таким образом я был и свидетелем его сношений с членами тайного общества (мне не раз случалось и обедать и проводить вечер с ним и с главными членами у Одоевского), и, конечно, единственным лицом, с которым Грибоедов мог в здании Главного штаба говорить вполне откровенно и о последних событиях, и о своих отношениях к лицам, принимавшим в них участие, зная, что эти отношения мне и без того коротко известны.

Могу сверх того сказать, что Грибоедов сам искал знакомства со мною, так как и приезд мой из Калифорнии в Петербург, и таинственность, которая его окружала, наделали тогда немало шуму в Петербурге и возбуждали общее любопытство. В особенности же он желал познакомиться со мною еще и потому, что слышал будто я не похож на тех либералов, которых он преследовал своими сарказмами, которые, повторяя только заученные либеральные фразы, порицали других, а сами относились вполне небрежно и к служебным и к общественным своим обязан-

ностям. О мне же Грибоедов слышал, как и сам сказал это мне, рекомендуясь, что по свидетельству, и начальников, и сослуживцев, и товарищей, я всегда был строго исполнителен во всех моих обязанностях, делая даже более того, что имели право и могли от меня требовать, несмотря на то, что почти всегда я занимал не одну должность. Исполняя желание Грибоедова, его познакомил со мною один из его почитателей, Орест Михайлович Сомов [74], у которого он часто бывал между прочим и потому, что у Сомова жил тогда Александр Бестужев, писавший в то время литературные обозрения, с которым поэтому Грибоедов был в частых литературных сношениях. Сомов же чрезвычайно уважал также и меня и выразил это при одном случае даже письменно и притом в таких выражениях, что это подало впоследствии повод к запросу ему из следственного комитета, так как в захваченных у меня книгах и картинах найден был перевод Сомова «Записок Вутье» (о борьбе греков против турок), с надписью переводчика на адресованном мне экземпляре: «Другу людей и истинно человеку», а между висевшими на стене картинами взят был и подаренный Сомовым же большой гравированный портрет Лафайета. Знакомство же мое с Сомовым произошло вследствие того, что я, принимая тогда большое участие в преобразовании, по моему проекту, управления колониями Российско-Американской Компании, почти ежедневно заседал в собрании директоров Компании и часто заходил по делам к жившему в доме Компании Сомову, который хотя и считался только помощником секретаря, но на деле был главным делопроизводителем, так как Рылеев [75], исправлявший должность секретаря, мало занимался делами, на что, как и сообщает это Греч, частенько жаловались директоры; но сменить Рылеева не могли, потому что он пользовался покровительством Мордвинова, состоявшего в числе официальных покровителей Компании, и потому имевшего влияние на выбор и самих директоров.

Еще чаще виделся я с Грибоедовым у Александра Ивановича Одоевского, у которого Грибоедов даже жил (оба они, и Грибоедов и Одоевский, были в родстве с супругой И. Ф. Паскевича, урожденною Грибоедовой, и потому отчасти в родстве и между собою), или по крайней мере часто проживал подолгу, потому что мне нередко случалось, заходя по делам к Одоевскому, рано утром, и иногда притом и по два дня сряду, заставать за утренним чаем и Грибоедова вовсе не одетого, а в утреннем костюме.

На указанные в жизнеописании Грибоедова отношения его к Одоевскому, я и начну именно свои замечания. Мнение, что Одоевский мог «охранить страстного и порывистого Грибоедова от всяких уклонений в сторону», положительно ошибочно.

Такого влияния Одоевский никак не мог иметь по двум весьма важным и очевидным причинам. Во-первых, немного можно найти людей, способных так увлекаться, как увлекался постоянно Одоевский. Редко встречаются люди, так легко переходящие от восторженного удивления к самому язвительному порицанию, от дружбы к вражде и обратно, как это случалось с Одоевским, и очень часто без достаточного для того основания. Я полагаю, что не ошибусь, если скажу, что в целом казематском обществе едва можно насчитать три, четыре человека (могу говорить беспристрастно, потому что был именно в числе их), которых Одоевский не задел бы своими эпиграммами, нередко весьма язвительными, как например, известная эпиграмма на А. З. М[уравьева]. Даже и те из наших дам, казематского общества, которых он же превозносил в восторженных стихотворениях, не избегли его эпиграмм при малейшем на них неудовольствии. Впрочем слишком известная неустойчивость Одоевского в идеях и в отношениях к людям засвидетельствована им самим в резком противоречии ответа на послание Пушкина и дифирамба на наводнение 1824 года в Петербурге, с одной стороны, с известным стихотворением «К отцу», с другой.

Понятно, думаю, поэтому, что человек до такой степени способный сам к увлечению, не мог охранять от увлечений других. Сверх того существовала и другая, самая естественная причина, почему Одоевский никак не мог быть ментором Грибоедова в Петербурге: Одоевский был еще дитя; в последний же приезд Грибоедова в северную столицу, в 1824 году, Грибоедов был уже вполне возмужалый человек, лет тридцати, достаточно уже опытный в жизни, тогда как Одоевский был все еще почти юноша, и притом едва только произведенный в корнеты из юнкеров, — следовательно, ни в каком отношении не мог иметь опытности, необходимой для руководства других.

Но Одоевский действительно сослужил добрую службу Грибоедову, хотя и по совету других, охранив его в одном, весьма важном для последствий отношении. Дело в том, что в продолжение долгого, восьмилетнего отсутствия Грибоедова из Петербурга, именно, сильнее нежели когда-либо до того, развилось в этой столице тайное общество, и в нем получили значение люди малоизвестные, и даже вовсе неизвестные Грибоедову. Вследствие этого понятно, что Грибоедов, человек увлекающийся и крайне неосторожный в выражениях, легко мог вдаваться в излишнюю откровенность даже с такими людьми, которые, при случае, могли выдать и Грибоедова, как выдали других. Вот от слишком интимных сношений и политических разговоров с такими людьми, указанными Одоевскому, он и предостерегал Грибоедова, верившего ему, зная его к себе привязанность, и не оскорблявшегося поэтому его советами, как легко мог по самолюбию оскорбиться, если бы советы подавал кто другой. Особенно важно было предостеречь Грибоедова от слишком откровенных политических рассуждений с теми из членов тайного общества, которые не славились ни скромностию, ни твердостию характера, но с которыми Грибоедову приходилось часто видеться по литературным отношениям, как например,

с Александром Бестужевым *. Это, действительно, и спасло впоследствии Грибоедова, потому что его близкие сношения были с такими только членами, которые ни одним словом не компрометировали ни его [77], ни других, даже таких, на кого иные члены делали уж показания хотя и бездоказательные.

Странно мне также показалось в приложенном к собранию сочинений Грибоедова мнении Белинского, что рукопись «Горе от ума» начала будто бы ходить по рукам только с 1832 года (если это не опечатка: вместо 1823) [78]. Отправляясь в отпуск в приволжские губернии, с поручением от общества, в начале ноября 1825 года, я сам привез в Москву полный экземпляр, списанный мною еще весною того года, в числе других, на квартире Одоевского, под общую диктовку, с подлинной рукописи Грибоедова, даже с теми изменениями, которые он делал лично сам, когда ему сообщали, по его же собственной просьбе, некоторые замечания, особенно на те выражения, которые все еще отзывались как бы книжным языком. Я имею основание думать, что если и другой кто привез в Москву рукописи «Горе от ума», то мой экземпляр был, из всех привезенных туда, и самый полный и самый исправный.

В Москве остановился я в доме Ивана Николаевича Тютчева, супруга которого была родная сестра моей мачехи. Привезенным мною экземпляром «Горе от ума» немедленно овладели сыновья Ивана Николаевича, Федор Иванович (известный поэт, с которым мы жили вместе в Петербурге у графа Остермана-Толстого) и Николай

* А[лександр] Б[естужев], при первом же спросе ген. Левашовым, написал целый список имен, включив в число членов тайного общества даже и таких лиц, которых считал членами только по догадке, хотя они и не были ими. По такому валовому списку и были именно арестованы и я, как сказал мне сам ген. Левашов (при первом арестовании меня), и Грибоедов: но относительно его А. Б[естужев] не мог ничего представить кроме догадок [76].

Иванович * (офицер гвардейского генерального штаба), а также и племянник Ивана Николаевича, Алексей Васильевич Шереметьев, живший у него же в доме (в Армянском переулке, где ныне заведение Горихвостова). Как скоро убедились, что списанный мною экземпляр есть самый лучший из известных тогда в Москве, из которых многие были наполнены самими грубыми ошибками и представляли сверх того значительные пропуски, то его стали читать публично в разных местах и прочли, между прочим, у кн. Зинаиды Волконской, за что и чтецам и мне порядочно таки намылила голову та самая особа, которая в пьесе означена под именем Марьи Алексеевны [79]. Упомянувши же о ней скажу здесь, кстати, что тогда под именем князя Григория все разумели кн. П. А. В[яземского], слывшего за англомана. Это знал и он сам и смеялся над этим, когда мы, бывало, собирались у Оржицкого, у которого он обедал иногда, и где в его присутствии был также прочитан привезенный мною экземпляр «Горя от ума». Что же касается до Татьяны Юрьевны, то тут автор, действительно, разумел Прасковью Юрьевну К[ологривову], прославившуюся особенно тем, что муж ее, однажды спрошенный на бале одним высоким лицом, кто он такой, до того растерялся, что сказал, что он муж Прасковьи Юрьевны, полагая, вероятно, что это звание важнее всех его титулов.

---

* С Николаем Ивановичем мы жили также вместе в доме кн. Александры Николаевны Волконской, пока гр. Остерман не заставил меня перейти к нему. Николай Иванович был очень дружен с Чевкиным, также офицером гвардейского штаба, почему Чевкин не только бывал у него ежедневно, но нередко и дежурил за него. Николай Иванович был довольно ленив по службе, и часто просыпал поутру, когда ему следовало в дежурство. В таком случае камердинер его обыкновенно посылался бегом к Чевкину — просить его отдежурить за Тютчева. Ответ был всегда один: «Согласен с тем, чтоб прислать за мной дрожки и был бы готов кофе».

Перехожу теперь к описанию нахождения Грибоедова в здании Главного штаба и к следствию над ним по поводу предполагаемого соучастия его в действиях тайного общества. Во всем этом описании почти все неверно, и одно предание явно несогласимо с другим. Полагаю, что всякому должно броситься в глаза резкое противоречие того, что будто бы он «прямо написал в ответе, что знал о том, что делается, знаком был с тем или другим лицом»,— с далее сообщаемым рассказом, что он же, по совету, в комитете [80], какого-то важного лица, во всем заперся и написал: «Знать ничего не знаю, и ведать не ведаю!» Правда, в двух этих рассказах, очевидно почерпнутых из двух разных преданий, лежит в основании кое-что и действительно происходившее, и только все отнесено не к тому месту, где происходило, и не к тому лицу, которое старалось подействовать на Грибоедова, чтобы заставить его изменить предполагавшееся-было первоначальное показание.

В действительности же вот как происходило все дело: все арестованные позже, как Грибоедов и я (при втором арестовании меня), когда крепость была уже битком набита, помещались предварительно в здании Главного штаба, в котором, во время нашего там пребывания с Грибоедовым, перебывали таким образом: генерал Кальм, граф Мошинский, Сенявин (гвардейский полковник, сын адмирала), братья Раевские, князь Баратаев (симбирский губернский предводитель дворянства), полковник Любимов (командир Тарутинского полка), князь Шаховской (сосланный потом на поселение в Сибирь и там помешавшийся) и др. Затем, смотря по тому, что окажется по исследованию, подтверждались или нет показания, по которым были арестованы привозимые в Главный штаб, их или переводили в крепость, или выпускали на свободу, а в случае наложения дисциплинарного наказания (перевода из гвардии в армию, посылки на Кавказ, временного заключения в какой-либо крепости и т. п.) отправляли туда, куда было назначено.

Для содержавшихся в Главном штабе отведено было помещение в комнатах, предназначенных для тогдашнего начальника штаба первой действующей армии Толя, на случай приезда его в Петербург, что бывало часто. Сначала наше помещение состояло из одной только длинной комнаты, в роде залы, служившей, конечно, Толю приемной, и небольшой прихожей, в которой стоял часовой; но когда число арестованных умножилось, то к зале прибавили еще очень небольшую комнату, служившую, судя по мебели, и кабинетом и спальней Толю, и в ней-то поместили и меня и Грибоедова, а иным (как напр., Кальму, Мошинскому и др.) дали потом совсем отдельное помещение.

Надзор за ним был, действительно, поручен тому лицу, как показано в разбираемом жизнеописании Грибоедова, т.-е. армейскому офицеру Ж[уковском]у, но совершенно ошибочно мнение, будто бы источником деланных им послаблений Грибоедову (прибавим, и всем другим в той же мере) было уважение к произведению Грибоедова. Напротив, вначале наш надзиратель очень стеснял всех без различия, и Грибоедова в том числе, и, вероятно, к этому-то времени и относится показание, что Грибоедов ссорился с надсмотрщиком. Переменой же в отношениях надзирателя к нам мы обязаны исключительно полковнику Любимову. Произошло это таким образом, по рассказу мне самого Любимова: почти одновременно привезены были и Любимов и кн. Баратаев; но между тем как Баратаев, рассчитывая, вероятно, на то, что уж о каждом его действии непременно будут доносить, требовал себе постной пищи (это было Великим постом) и твердил надзирателю, что привык соблюдать все посты, полагая, что это будет иметь влияние и на Ж[уковско]го и на следователей, Любимов как опытный служака взялся за дело более «практическим» способом *. Сообразив, что Ж[уковский]

* Подобный способ употреблял с успехом и другие. Так одна дама, сын которой находился уже в крепости, убедила таким

должен быть не богат и не имеет ходатаев, если живя в Петербурге, служит не в гвардии, и порасспросив кое о чем, Любимов вдруг озадачил его следующим предложением: «Ты, брат (надо сказать, что Любимов, как и многие другие старые полковые командиры, например Авраамов, Тизенгаузен и др., находившиеся даже в крепости, чрезвычайно импонировали тем, что ко всем обер-офицерам обращались так, как привыкли обращаться к ним в своем полку; и такова сила общей привычки и влияние названия «полковой командир», что и Ж[уковский] в штабе и плац-адъютанты в крепости находили это вполне естественным и не думали обижаться), ты, брат, как я вижу, не богат ни средствами, ни протекцией, а можешь иметь и то и другое, если сумеешь воспользоваться случаем, оказывая услугу тем значительным лицам, которых привела судьба под надзор к тебе. Для начала сделай вот что я тебе скажу: вот тебе записка к графине А[нне] И[вановне] К[оновницыной] (зять ее [Нарышкин] служил у Любимова в полку, в который переведен был из старого Семеновского полка, при раскассировании сего последнего); по этой записке ты получишь десять тысяч рублей. Сколько из этого ты дашь другим, сколько останется у тебя, — мне до этого нет дела! Ты конечно знаешь, у кого в следственной комиссии хранятся заарестованные у нас вещи и бумаги, и должен из моего портфеля вынуть такой-то запечатанный пакет и привезти его мне. Рассмотреть мои бумаги в комитете никоим образом не могли еще успеть: это я вижу из вопросных пунктов; а потому вы мне и не говорите, что будто бы вы не нашли пакета или что вы истребили его там; он должен быть передан мне на-руки».

---

способом одного плац-адъютанта, чтобы он уговорил всех сделавших на ее сына немаловажные показания отказаться от них на очных ставках. Так и было сделано; и вследствие этого сын ее, вместо того, чтобы попасть в один из высших разрядов, в который попали его товарищи, одинаково с ним замешанные по делу, отделался одним дисциплинарным штрафом.

Как было сказано, так было и сделано. Любимов истребил компрометировавшие его бумаги и отделался, кажется, шестимесячным арестом.

Понятно, что после этого наши отношения к Ж[уковском]у должны были перемениться, так как не Любимов уже был от него в зависимости, а наоборот. Но послабление относительно одного лица неизбежно влекло послабления и для других, а отступление от инструкции в одном вело к отступлению и в другом, так что Ж[уковски]й попал, наконец, в полную зависимость от нас во всем. Впрочем, он благодушно подчинился этому новому своему положению и тем охотнее, что ему дали честное слово, что заключенные не позволят себе ничего, что в политическом отношении могло бы его компрометировать (как например, побег, опасные сношения, или переписка, и т. п.). Мало-по-малу Ж[уковски]й сам так втянулся в новое направление, что скорее мы уже должны были напоминать ему о необходимой осторожности, чем он нам. Благо никто его не ревизовал, да никто из комитета к нам и не входил, потому что все бумаги к нам из комитета и от нас туда шли через Ж[уковского], а если кого требовали в комитет, то и об этом извещали его же накануне, — то и дошло до того, что даже часовые превратились в нашу прислугу. Мы, обыкновенно, запирались изнутри на ключ, а часовой ставил ружье в угол, снимал кивер, суму и мундир, надевал шинель и фуражку и отправлялся за покупками, за обедом, за книгами и пр. Наконец, Ж[уковски]й этим не ограничился. Смелость его росла не по дням, а по часам. Не видя никаких дурных для себя последствий от установившегося порядка, он пошел далее, но не для нашего уже облегчения, а чисто для своего удовольствия. Узнавши, что Грибоедов хорошо играет на фортепиано, Ж[уковский] как любитель музыки стал водить его и меня в кондитерскую Лоредо, находившуюся на углу Адмиралтейской площади и Невского проспекта. Водил он впрочем не в самую кондитерскую, а в небольшую комнатку,

примыкавшую к ней и вероятно принадлежавшую к помещению хозяина, с которым Ж[уковский] был, повидимому, коротким приятелем, потому что, заказывая угощения (разумеется на наш счет), он не пускал к нам никого из прислуги кондитерской, а что было заказано, приносил или сам, или хозяин. В этой комнатке стояло фортепиано; мы приходили обыкновенно часов в 7 вечера и проводили там часа полтора; Грибоедов играл, Ж[уковский] слушал его, а я читал газеты.

Об этих наших путешествиях не знал, однако же, никто даже из наших товарищей по заключению, потому что Ж[уковский] боялся, чтоб не стали проситься в кондитерскую и другие; все думали, что он уводит нас играть в шахматы в свою комнату, которая была смежною с нашей и дверь которой он всегда запирал на ключ, даже когда входил к нам. Раз, однако ж, случилось, что такое путешествие могло кончиться очень неблагополучно, если бы нечаянный свидетель его был менее доброжелателен и скромен. Мы, обыкновенно, ходили к Лореду не по Адмиралтейской площади, что было бы ближе, а проходили под арку Главного штаба, затем шли по Невскому проспекту и входили в упомянутую выше комнатку через внутренний двор, а не с парадного входа в кондитерскую. И вот, однажды, проходя именно под аркой, по одной стороне, мы встретились с идущим по другой одним самым близким моим знакомым гвардейским офицером [Павлом Николаевичем Игнатьевым]. Увидев меня, он остолбенел, но я сделал вид, что не замечаю его, и, только выходя уже из-под арки, я оглянулся и увидел, что он поворотил назад и, сделавши несколько шагов за нами, остановился, развел руками и затем, постояв немного, снова поворотил и пошел прежней своей дорогой. Впоследствии я узнал, что этот знакомый, занявший потом одно из самых высших мест в государстве [81], рассказал было близким мне людям, что должно быть меня освободили, потому что он меня встретил, но так как мое

освобождение не подтвердилось, то говорил, что он, вероятно, обознался, и что, действительно, встретил человека как две капли воды похожего на меня [82].

Относительно ответов комитету, совершенно несправедливо, что Грибоедов изменил свое признание на запирательство, по совету какого-то важного лица в комитете. Этого не могло быть уже и потому, что бумаги никогда не писались в комитете, что иначе отняло бы у него, разумеется, слишком много времени. Порядок относительно допросов был в комитете таков: запросные пункты посылались в запечатанном пакете туда, где содержался обвиняемый, будь это в здании Главного штаба, в крепости, или даже в Алексеевском равелине; ответы шли также в запечатанном пакете, который вскрывали в полном заседании комитета; и тогда, если не находили их удовлетворительными, то призывали обвиняемого в комитет для очных ставок, для указания противоречий в показаниях или недостаточных пояснений, и в таком случае все, что говорилось в комитете, тут же и записывалось в протокол, и, разумеется, не самим уже обвиняемым. Таким образом никто в комитете не мог ни видеть, ни знать, что пишет обвиняемый до вскрытия его пакета и прочтения его ответов в полном присутствии комитета и, следовательно, никто не мог ни предупредить, ни остановить Грибоедова.

Дело было гораздо проще и естественнее. Грибоедову помог в этом случае тот же полковник Любимов, который и многим давал полезные советы, охотно выслушиваемые, как идущие от весьма опытного и доброжелательного человека. Поводом же к вмешательству Любимова было следующее обстоятельство: братья Р[аевские] сбили с толку многих своими рассказами, что для того, чтоб скорее и лучше отделаться, чтоб избежать неприятности проволочки следствия и риска предания суду, надобно, главное, доказать свою откровенность, и основывали это на собственном будто бы примере и на примере других очень известных лиц (кн. С[уворов], кн. Л[опухин] и др.),

которые, как говорили тогда, за полное признание получили полное прощение. Но братья Р[аевские] не сообразили, что во всех приводимых ими примерах решительное влияние на прощение имели совсем иные причины. Как бы то ни было, но только, вследствие этих рассказов братьев Р[аевских], некоторые лица (как например, Ф... Т... Г...) наговорили сами на себя всякой небылицы в доказательство откровенности, что, конечно, не послужило им в пользу. Между тем Любимов заметил, что и на Грибоедова вышеупомянутые рассказы братьев Р[аевских] произвели большое впечатление, а потому, когда Грибоедову принесли вопросные пункты, и он стал писать черновой на них ответ, то Любимов, подойдя к нему, сказал:

— Вы знаете, что все, что вы ни напишите, до меня нисколько не касается, потому, что у нас с вами не было по обществу никаких сношений. Поэтому я и могу давать вам советы совершенно беспристрастные. Я только желаю предостеречь вас, потому что заметил, из ваших же рассуждений, что рассказы братьев Р[аевских] не остались без влияния и на вас и что, кроме того, вы готовы на все, лишь бы как-нибудь избавиться томительной скуки, которая предстоит вам в нашем положении. Я знаю из всех наших здешних разговоров, что действия относительно комитета предполагаются различные, смотря по разным у всякого соображениям — и личным, и политическим. Не знаю, какой системы намерены держаться вы, но ум хорошо, а два лучше. Не по любопытству, а для вашей же пользы я желал бы знать, на какой системе вы остановились. Помните, что первые показания особенно важны...

В ответ на это, Грибоедов прочитал ему то, что успел уже написать. Прослушав написанное, Любимов с живостью сказал ему:

— Что вы это! Вы так запутаете и себя и других. По-нашему, по-военному, не следует сдаваться при первой же атаке, которая, пожалуй, окажется еще и фальшивою; да если поведут и настоящую атаку, то все-таки надо усту-

пать только то, чего удержать уж никак нельзя. Поэтому и тут гораздо вернее обычный русский ответ: знать не знаю и ведать не ведаю! Он выработан вековой практикой. Ну что же? Положим, что вам докажут противное; да разве и для судей не натурально, что человек ищет спастись каким бы то ни было образом? Хуже от этого не будет, поверьте! А не найдут доказательств, — вот вам и всем хлопотам конец. Вот вам и мой собственный пример: хорош бы я был, если бы сначала так-таки и бухнул признание, а у меня еще были захвачены и опасные бумаги. И на кой чорт берег я письма П[естеля?]!.. Но я из вопросных пунктов увидел, что до моих бумаг еще не добрались; доберутся — знаю, что будет плохо, но все же от отсрочки хуже не будет; и потому на первый случай лучше сказать: знать не знаю! А там, на счастье попытаться выручить опасные бумаги. Ну, и вышло отлично; а теперь пусть и обвиняют в том только, что был знаком с П[естелем?]. Ну что ж? Да, был знаком! да как и не стараться быть знакомым со всеми полковыми командирами!.. Сношения по службе беспрестанные, часто щекотливые, а при знакомстве все идет гораздо легче, как спишешься частным путем.

Не знаю, насколько подействовали подобные убеждения на Грибоедова, и вследствие ли их, как думал Любимов, или по каким-либо другим соображениям, но только, по словам Любимова, Грибоедов, после разговора с ним, изорвал написанную-было черновую [83].

Говорят также, что Грибоедова «выгораживал» будто бы Ивановский. Никак не могу понять, каким образом это могло быть. Ивановский и Бруевич были чиновниками канцелярии следственной комиссии, но и за ними самими строго наблюдал обер-аудитор (по фамилии, кажется, Попов). По крайней мере, я знаю случай, что, когда Ивановский, оставшись с одним обвиняемым, приведенным на очную ставку и дожидавшимся в канцелярии, пока члены комитета пошли закусывать (закуска была от двора),

выдумал было вступить в разговор с этим обвиняемым, то обер-аудитор немедленно и резко сказал ему, что он не имеет права разговаривать с находящимися под следствием, и пошел ту же минуту доложить о том членам комиссии. Тот же час пришел Чернышев [84], произошла весьма бурная сцена, и Ивановскому пришлось оправдываться.

Показаний других против Грибоедова, если они были, Ивановский также не имел возможности скрыть, так как пакеты распечатывались в заседании комитета, и, следовательно, все показания становились известными членам комитета или комиссии, прежде чем отдавали их в канцелярию.

Другое дело сами члены комитета; они действительно могли оказывать содействие кому хотели, выгораживать кого нужно или приказано было. Я знаю от своих товарищей, что, когда в показаниях, необходимых даже по ходу дела, касались некоторых лиц, близких членам комитета, или таких, которых нужно или приказано было по какому-либо расчету щадить, то делавшему показание обыкновенно говорили: «вас об этом не спрашивают», и этих показаний не записывали в протокол, как бы важны они ни были даже для разъяснения всего дела. Кроме того, когда я находился уже в крепости и до перевода в Алексеевский равелин был помещен в одном отделении с М[ихаилом] Ф[едоровичем] О[рловым], то брат его, бывший в дружбе с членами комитета и занявший впоследствии один из важнейших постов в государстве, всякий раз, когда арестованному следовало получать вопросные пункты или быть призываемому в комитет, приезжал к нему и говорил, о чем будут спрашивать, и что следует отвечать. И нет сомнения, что на окончательное решение и о Грибоедове имело сильное влияние и у членов комитета, и даже выше, заступление, хотя и тайное, Паскевича, получившего уже в то время большое значение.

Что же касается до роли, какую играла в следственном деле комедия Грибоедова, то, действительно, возвратясь

однажды от допроса в комитете, Грибоедов сказал нам, что его «мучили», доказывая ему, на основании комедии, что он был также членом тайного общества и что он, на том же основании, доказывал противное; но как он у допроса провел в тот раз очень короткое время, и притом допрашивали его, сверх того, и о более важных вещах, то, очевидно, Грибоедов, выражение «мучили» употребил только в шутку, и что о комедии речь шла только мимоходом, как бы вводным только эпизодом. К тому же осмеяние Репетилова не могло иметь тогда в глазах следователей такого значения, какое ему приписывают, по той причине, что комитету очень хорошо было уже известно, что именно-то самые серьезные члены общества и восставали сильнее всех против Репетиловых.

В заключение должно заметить, что совершенно ошибочно также и то мнение, будто и товарищи и высшие лица искали спасти Грибоедова как гениального писателя, как «будущую надежду России». Ничего подобного в ту эпоху не было. Для современников молодости Грибоедова и Пушкина они были совсем иные люди, чем для следующих поколений, которые смотрят на них сквозь призму последующих разъяснений их произведений и действий и еще чаще судят на основании позднейшей уже их деятельности. Как смотрели на Грибоедова в то время высшие люди, выразил и сам Грибоедов впоследствии в письмах с Кавказа [85], хотя значение его как писателя и как полезного служащего (если еще и не государственного деятеля) выразилось уже в то время гораздо более, нежели в 1824 и 1825 годах. Что же касается до людей обычного его круга, равного с ним общественного положения, то в этих годах Грибоедов был для них все еще человек, принесший из военной жизни репутацию отчаянного повесы, дурачества которого были темою множества анекдотов, а из петербургской жизни — славу отъявленного и счастливого волокиты, наполнявшего столицу рассказами о своих любовных похождениях, гонявшегося даже

и за чужими женами, за что его с такой горечью и настойчивостью упрекал в глаза покойный Каховский *. Известно, что даже «Горе от ума» было тогда принято не в том значении, какое придают этому произведению в настоящее время. Оно сделалось популярно, как было популярно тогда всякое осмеяние чего бы то ни было в тогдашнем порядке вещей (свидетельством служит множество пародий на известные произведения, сделавшиеся даже более любимыми и известными, чем самые произведения), что было очень на руку всеобщему либеральному направлению, и как богатое собрание сатир и эпиграмм, дававшее всем возможность задевать разных лиц безответственно, высказывая чужими словами то, чего не решился бы никто высказать как собственное суждение, не рискуя поплатиться за то ответственностью; и надо признаться, что число людей, и притом вовсе не либеральных, радовавшихся появлению комедии для употребления ее в смысле возможности приложения сатиры к известным лицам, было несравненно больше, чем видевших в ней какой либо гражданский подвиг, да едва ли такие и были.

В старании товарищей не компрометировать Грибоедова не было также ничего особенного, исключительного. Это было лишь следствием наперед условленного, общепринятого правила стараться не запутывать никого, кто не был еще запутан, а если сам Грибоедов не говорил о сношениях с членами, имевшими особенное значение, то говорить об этих сношениях значило бы добровольно

---

* Каховский [86], погибший преждевременно так несчастно и притом, по убеждению товарищей, может быть только вследствие грустного недоразумения (ему приписали то, что легко могло быть делом и другого), был один из самых искреннейших и самых неуклончивых людей, который в числе очень немногих других не задумывался упрекать в глаза и Рылеева за его властолюбие, по которому он старался окружать себя бездарностями и стремился устранять влияние людей истинно даровитых, в которых боялся найти соперников.

и без нужды выдать самого себя. Кроме того, как объяснено выше, он, к счастию его, был во время огражден от сношений с нескромными членами. В силу подобных же условий, спасены были и многие другие члены, даже такие, которые были замешаны и посильнее, чем Грибоедов. Наконец, кроме несомненного заступничества Паскевича, Грибоедову благоприятствовали еще и следующие два обстоятельства: он не был в Петербурге в конце 1825 г.; а в тех близких отношениях, в каких он находился к Одоевскому и другим членам общества, никто с уверенностью не мог сказать о себе, на что бы он решился, если бы присутствовал в Петербурге [87], как о том откровенно сознался пред высшим лицом и Пушкин, даром что Пушкин даже не был членом общества, хотя и желал им быть, но его не принимали, зная его неустойчивость (versatilité).

Другое важное обстоятельство заключается в том, что, как это сообщено уже в разбираемом жизнеописании Грибоедова, Ермолов, предупредив его об аресте, дал ему возможность истребить компрометирующие его бумаги, в которых несомненно было не мало опасного для Грибоедова, в том числе кое-что из собственных его произведений, судя по тому, что многие не раз слышали от него. Некоторые из его [не?]напечатанных стихотворений не уступали, напр., в резкости пушкинским стихотворениям известного направления. Здесь кстати сказать, что, впрочем, и не один Ермолов так поступил. Лица, поставленные и выше Ермолова, делали для других то же самое, что, сделал он для Грибоедова. Так, напр., вел. кн. Константин Павлович не только предупредил Лунина, но еще долго его отстаивал, давая тем ему возможность истребить все, что, по собственным словам Лунина, могло сильно компрометировать не мало и значительных лиц, из которых иные отличались даже крайними мнениями.

Мнение, будто бы известный Ф[аддей] Б[улгарин] не считался тогда еще таким, каким его считали впоследствии,

приводимое в жизнеописании Грибоедова для оправдания его относительно сношений его с Б[улгариным], никак нельзя признать справедливым. Не входя здесь в разбирательство, насколько основательно было вообще мнение о Б[улгарине] и когда он был лучше, когда хуже, я могу сказать только одно, — что ни за что так не упрекали Грибоедова, люди даже близкие ему, как за сношения его с Б[улгариным], и это всегда задевало заживо Грибоедова. Относительно других предметов Грибоедов хотя вообще и рассуждал часто горячо, но не доходил никогда до раздражения; только когда осуждали его связь с Б[улгариным], или когда Каховский доказывал ему, что, осуждая у ложных либералов противоречия их действий с провозглашаемыми принципами, Грибоедов и сам не свободен от подобного противоречия, — можно было видеть, что Грибоедов чувствовал, что его кольнули в самое больное место. Трудно также понять, к какому времени можно отнести разрыв его с Б[улгариным] за излишнюю похвалу, о которой говорится в жизнеописании [88]. Помнится, что и после вторичного отъезда своего в Грузию он все еще посылал письма в «Северную Пчелу» и что даже писал комплименты Б[улгарину] относительно его «Выжигина» [89]. Одоевскому посылали все, что печатал Грибоедов впоследствии, и мне помнится, что об этом был у нас и разговор с Одоевским.

Остается пояснить еще два факта: наблюдения в Киеве и в Крыму, относящиеся к русской истории, были деланы Грибоедовым по просьбе Петра Александровича Муханова [90], постоянно и специально занимавшегося (даже и впоследствии, в каземате) исследованиями относительно древней русской истории; это сказывал мне сам Муханов; а что касается до курса математики «Франкера», о присылке которого просил Грибоедов во время заключения его в штабе [91], то это потому, что, сознавшись мне, что он не очень силен в математике, и зная, что я был преподавателем высшей математики и астрономии в морском кор-

пусе, Грибоедов просил меня, чтоб я «от скуки» занялся с ним математикою.

Я мог бы сообщить еще многое о Грибоедове как потому, что не мало сам был свидетелем, так и потому, что не мало слышал от Одоевского, который беседовал о нем со мною чаще чем с другими, зная, что мне многое и без того уже известно; но я положил себе ограничиться здесь замечаниями только на то, что изложено уже в разбираемом мною жизнеописании Грибоедова.

В заключение скажу, что из всех портретов Грибоедова я не видел до сих пор ни одного, который напомнил бы мне остроумную физиономию автора «Горе от ума»; по крайней мере того Грибоедова, каким я знал его в 1824 и 1825 годах.

# III

Поговорим о бурных днях Кавказа...

А. Пушкин.

## ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О 1826 ГОДЕ

... 28 [августа] рано поутру, я, оставив пехоту с 30 казаками, поехал рысью вперед. Хотя я много рисковал, но мне хотелось нагнать почту и большой караван, впереди меня шедший и ночевавший верстах в 9 от меня на Урухском редуте. Приехав сюда, я, к сожалению моему, не застал уже каравана и был принужден продолжать путь до привольного редута, называемого *Мечетьской*. Там настиг я почту, караван и Грибоедова, выехавшего гораздо позже меня из Москвы [93].

... В Владикавказе я оставил свою коляску и 30-го числа выехал с Грибоедовым в двуместных дрожках, коими одолжил нас до первой станции майор Николай Федорович Огарев [94]. По мере того, как мы подвигались вперед, ущелье становилось теснее и теснее. Уже в Ларсе, в 25 верстах от Владикавказа, вершины гор по обеим сторонам дороги казалось, готовы были упасть нам на голову.

В Коби к нам вошел добрый и благородный Ш[пановский], служивший в то время при Ермолове; он накануне выехал из Тифлиса и отправлялся в отпуск на четыре месяца в Москву, а потом во Владимирскую губернию. Счастливый человек! Вряд ли кто был другой в мире, коему в душе моей я более завидовал.

Мы расспрашивали его о приезде в Тифлис П[аскевича] *, которого Ермолов принял ласково. Грибоедов сказал нам при этом случае:

---

* Не принадлежа никогда к числу почитателей этого хитрого баловня судьбы, оказавшего однако своему отечеству немаловажные заслуги [sic], я всегда отдавал полную справедливость его при-

— Каков мой-то!.. как вы хотите, чтобы этот человек, которого я коротко знаю, торжествовал бы над одним из умнейших и благонамереннейших людей в России; верьте, что *наш* его проведет, и этот, приехав впопыхах, уедет отсюда со срамом.

Грибоедов столько же обманулся в своем пророчестве, сколько мы обманулись в нем самом. Этот даровитый писатель должен был бы довольствоваться славой, столь справедливо заслуженной им в литературном мире. Он довольно долго служил при А. П. Ермолове и числился одно время советником при нашем посланнике в Тегеране Мазаровиче, человеке весьма полезном и способном. По представлению Ермолова, оценившего редкие способности Мазаровича, который был медиком, он был назначен первым постоянным посланником при персидском дворе. Грибоедову, незнакомому ни с какими формами, приходилось иногда, за отсутствием Мазаровича, писать бумаги в Тифлис, где они

---

мерному бесстрашию, высокому хладнокровию в минуты опасности, решительности, выказанной во многих случаях, и вполне замечательной заботливости его о нижних чинах; к сожалению, отсутствие обширного и просвещенного ума, недостаток возвышенного и твердого характера, старание окружать себя ничтожными льстецами и лицами, хотя и одаренными некоторыми способностями и со сведениями, но лишенными всякой самостоятельности, коих он преимущественно выдвигал и выдвигает вперед, — все это содействует его, по моему мнению, совершенно неспособным стоять во главе школы, в которой могли бы образоваться полезные военные люди. Ко всему этому надо присовокупить самонадеянность и заносчивость, достигшие невероятных размеров, примерное попечение приписывать себе все, совершенное подчиненными, умалчивая, либо искажая заслуги их и удаляя вскоре по одержании успеха тех из них, коим он, по общему мнению, был тем обязан, страсть, столь сильно ныне распространенная, прибегать в донесениях к вымыслам тысячи одной ночи, и некоторые другие большие пороки, — все это вынудило не одного благомыслящего, более или менее образованного и самостоятельного человека, уважающего свое собственное достоинство, удалиться с поприща, на коем возможны служебные с ним столкновения.

возбуждали в канцелярии Ермолова лишь смех. Ермолов, разумевший Грибоедова человеком, одаренным блестящими способностями, вполне приятным и любезным собеседником, почитал его, однако, совершенно бесполезным для службы. Алексей Петрович, неохотно увольнявший в отпуск людей полезных и усердных, дозволял Грибоедову отлучаться часто и на продолжительное время. Он, однако, очень любил Грибоедова и был в полном смысле слова его благодетелем; не говоря уже о всевозможном его внимании к знаменитому автору «Горе от ума», он оказал ему такую услугу, какую Грибоедов был вправе ожидать лишь от родного отца. Он спас его от последствий одного весьма важного дела, которые могли бы быть для Грибоедова крайне неприятны *. Память обо всем этом должна была бы оставаться неизгладимою в сердце Грибоедова, но, к сожалению, он, как [о]казалось, принадлежал к числу людей, для коих было незнакомо чувство признательности. Увлекшись честолюбивыми побуждениями, Грибоедов, подобно многим лицам, некогда облагодетельствованным Ермоловым, но тем не менее принявшим на себя постыдные обязанности, отплатил ему также за все прошлое неблагодарностью. Вытребованный в С.-Петербург, он был вскоре награжден чином надворного советника, получил довольно значительную сумму денег и вновь прислан на Кавказ, где его поведение не могло не возбудить во всех благомыслящих людях истинного удивления и сожаления; он стал писать приказы по корпусу и сочинять частные письма для своих новых благодетелей. Будучи отправлен во второй раз в Петербург для поднесения государю Туркманчайского договора, он сказал приятелю своему С. Н. Бегичеву:

---

* Все, мною здесь сказанное, сообщено мне лицами, заслуживающими доверия, которые были не только очевидцами этого события, но принимали в нем весьма деятельное участие.

— Я вечный злодей Ермолова *.— Он говорил около того же времени не одному мне следующее:

— П[аскевич] несносен, и я на сей раз не иначе возвращусь в Грузию, как в качестве посланника при тегеранском дворе.

Он был произведен в статские советники и, благодаря покровительству гр. Паскевича, получил желаемое назначение в Тегеран, где сделался жертвою своей ошибки. Действия** этого пылкого, несмотрительного и чересчур само-

---

* Мне это сообщил брат его, добрый и благородный зять мой Д. Н. Бегичев.

** Так как я в то время не находился уже более в Грузии, то я привожу здесь подробности, которые мне были сообщены многими лицами, заслуживающими доверия. Причину этих действий Грибоедова должно, сколько мне известно, искать в следующем: Грибоедов, невзирая на блистательные дарования свои, никогда не принадлежал к числу так называемых деловых людей; он провел довольно долго в Персии, где убедился лишь в том, что слабость и уступчивость с нашей стороны могли внушить персиянам много смелости и дерзости, а потому он хотел озадачить их — так сказать, с первого раза. К сожалению, от уступчивости до настоятельных требований относительно гаремских прислужниц, некогда взятых в плен во время вторжения персиян в Грузию, — что заключало в себе, как оказалось, много оскорбительного для самолюбия этого народа, — было далеко. Настойчивость Грибоедова была необходима во всех тех случаях, где надлежало ему наблюдать за точным исполнением важнейших пунктов Туркманчайского трактата; в прочих случаях надо было обнаружить много ловкости, проницательности и осторожности, дабы не оскорбить понапрасну народной гордости персиян. Грибоедову, назначенному посланником в Персию, после наших счастливых военных действий, было легче приобрести влияние, чем Ермолову, отправленному туда в 1817 году. Невзирая на то, что этот последний прибыл в Тегеран после обещания, данного государем персидским послам, возвратить некоторые присоединенные к нам области, он выказал при этом случае так много искусства и энергии, что шах отказался от своих требований. В случае несогласия шаха, Ермолов, не могший поддержать своих представителей войском, которого в то время не было под рукой, что было небезызвестно персиянам, нашелся бы вынужденным уступить. Невзирая на то, что всемогущий в то

любивого посланника возбудили негодование шаха и персиян. Он в лице шахского зятя Аллаяр-Хана нанес глубокое оскорбление особе самого шаха. Грибоедов, вопреки советам и предостережениям одного умного и весьма способного армянина, служившего при нем в качестве переводчика, потребовал выдачи нескольких русских подданных-женщин, находившихся в гареме Аллаяр-Хана в должности прислужниц. Это требование было, вероятно,

---

время Аббас-Мирза нисколько не скрывал своих к нам неприязненных чувств, Ермолов успел склонить шаха к уступкам. Ермолов, всегда выказывавший большое уважение к обычаям народов, с коими ему приходилось действовать, внушил персиянам высокое к русским уважение, каким они даже не пользовались впоследствии, после наших успехов над ними. Мне говорил один значительный персидский сановник, что своевременная присылка войск в Грузию предупредила бы войну с персиянами, коих самонадеянность постоянно возрастала вследствие убеждения, что мы к ней не готовы и что мы можем противопоставить их полчищам лишь ничтожные силы. Наконец, самые действия умного и энергического Мазаровича, никогда не раздражавшего народной гордости персиян, были весьма поучительны для Грибоедова, который пренебрег, к сожалению, уроками своих предместников. Известно, что к Мазаровичу явился однажды армянин, некогда захваченный персиянами в плен; хотя этот евнух был помощником Манучар-Хана, хранителя сокровищ и любимца шаха, но он обратился к Мазаровичу с просьбой исходатайствовать ему позволение возвратиться к нам в Грузию. Так как это могло дать повод к различным обвинениям, потому что, в случае пропажи чего-либо наше посольство и армянин были бы подозреваемы в похищении шахских сокровищ, Ермолов советовал Мазаровичу убедить армянина отказаться от своего намерения; таким образом удалось предупредить большие неприятности. Подобным образом должен был действовать и Грибоедов. Я полагаю, что, вероятно, существовала возможность выручить пленниц без предъявления несвоевременных и оскорбительных для персиян требований; во всяком случае, надо было приискать средства к их выдаче, не жертвуя для того столь многими полезными и славными людьми. Если б, по причине существующих обычаев, невозможно было этого сделать тотчас, то не следовало явно нарушать их и тем возбуждать против себя жителей, но предоставить все дело времени.

предъявлено им вследствие ложного понимания вещей, а может быть, и с явным намерением доказать свое влияние и могущество при персидском дворе. Хотя шах видел в этом нарушение персидских обычаев, но, не желая отвечать на требование Грибоедова положительным отказом, он дозволил ему взять этих женщин самому; посланные в гарем конвойные привели их в посольский дом. Персияне, видевшие в этом явное неуважение русских к особе шахского зятя, к самому шаху и к существующим народным обычаям, взволновались. Вскоре вспыхнуло возмущение, — вероятно, не без одобрения шаха; около 40 человек наших было убито, в том числе весьма много полезных лиц; спасся один М[альцов] с двумя слугами, вследствие особенного к нему расположения каких-то персиян, которые спрятали его где-то на чердаке. Персидский караул, не желая сражаться против своих, заперся *. Так окончил жизнь наш знаменитый писатель, который мог бы еще долго и с большею пользой подвизаться на литературном поприще; находясь с ним долго в весьма близких отношениях, я, более чем кто-либо, был глубоко огорчен его действиями в течение 1826 и 1827 годов. Грибоедов, терзаемый под конец своей жизни бесом честолюбия, заглушил в сердце своем чувство признательности к лицам, не могшим быть ему более полезными; но зато он не пренебрег никакими средствами для приобретения полного благоволения особ, кои получили возможность доставить ему средства к удовлетворению его

* Однако, шах, испугавшись последствий этого события, решился послать в С.-Петербург значительное лице для принесения извинений. Так как в Персии все были убеждены, что наше правительство не замедлит предать в свою очередь смерти высланного сановника и его свиту, то решено было избрать для этого предмета Хозрева-Мирзу, который был не что иное, как *чанка* или побочный сын шаха [95]. Хозреву-Мирзе, впоследствии ослепленному, сделан был, напротив, у нас в России блестящий прием, на который он по своему рождению не имел никакого права и который явно доказывал, сколь мало у нас были известны обычаи Востока.

честолюбия; это не мешало ему, посещая наш круг, строго судить о своих новых благодетелях.

Тяжело разочароваться на счет кого бы то ни было, но еще тяжелее относительно личностей, столь щедро одаренных природой. Видя поведение Грибоедова, которого я так любил, я душевно скорбел. Я сожалел, что не мог быть в это время вдали от театра его деятельности, потому что имел бы утешение думать, что многое преувеличено завистью и клеветой; но я, к сожалению, должен был лично удостовериться в том, что душевные свойства Грибоедова далеко не соответствовали его блистательным умственным способностям [96].

## ИЗ ЗАПИСОК

*1818 г.*

*Октябрь.*

7-го. Якубович [98] рассказал мне в подробности поединок Шереметева в Петербурге. Шереметев был убит Завадовским, а Якубовичу тогда должно было стреляться с Грибоедовым за то же дело. У них были пистолеты в руках; но, увидя смерть Шереметева, Завадовский и Грибоедов отказались стреляться. Якубович с досады выстрелил по Завадовскому и прострелил ему шляпу. За сие он был сослан в Грузию. Теперь едет через Грузию в Персию Грибоедов. Якубович хочет с ним стреляться и поверил сие мне и Унгерну. Он не зовет нас в секунданты, зная, чему они подвергаются со стороны правительства, но желает, чтобы мы шагах в двадцати находились и помогли бы раненому. Я советовался на сей счет с Унгерном, и мы не находим в Тифлисе места удобного для сего. Грибоедов едет сюда потому, что он находится при Мазаровиче, который назначен поверенным в делах при персидском дворе. Мазаровичу положено при сем месте 3.000 червонцев жалованья, кроме экстраординарной суммы.

8-го. После обеда ходил в сад, дабы найти место, удобное для поединка Якубовича. Вечер провел у меня Якубович. Его образ мыслей на счет многих предметов мне очень понравился.

21-го. Якубович объявил нам, что Грибоедов, с которым он должен стреляться, приехал, что он с ним переговорил и нашел его согласным кончить начатое дело.

Якубович просил меня быть секундантом. Я не должен был отказаться, и мы условились, каким образом сие сделать. Положили стреляться им у Талызина на квартире.

22-го. Я обедал у француза и видел Грибоедова. Человек весьма умный и начитанный, но он мне показался слишком занят собой. Секундант его маленький человек; не знаю, кто он такой [99]. С ним вместе приехал сюда один капитан Быков, л.-г. Павловского полка, для выбора людей в гвардию. Ввечеру Грибоедов с секундантом и Якубовичем пришли ко мне, дабы устроить поединок, как должно. Грибоедова секундант предлагал им сперва мириться, говоря, что первый долг секундантов состоит в том, чтобы помирить их. Я отвечал ему, что я в сие дело не мешаюсь, что меня призвали тогда, как уже положено было драться, следственно Якубович сам знает, обижена ли его честь. И мы начали условливаться; но тот вывел меня в другую комнату и просил меня опять стараться о примирении их, говоря, что он познакомился в Москве с матерью Грибоедова, которая просила его стараться сколько возможно остановить сей поединок, который она предвидела, и, следственно, что долг заставлял его сие сделать. Между тем Якубович в другой комнате начал с Грибоедовым спорить довольно громко. Я рознял их и, выведя Якубовича, сделал ему предложения о примирении; но он их слышать не хотел. Грибоедов вышел к нам и сказал Якубовичу, что он сам его никогда не обижал. Якубович на то согласился. «А я так обижен вами; почему же вы не хотите оставить сего дела?» — «Я обещался честным словом покойнику Шереметеву при смерти его, что отомщу за него на вас и на Завадовском». — «Вы поносили меня везде». — «Поносил и должен был сие сделать до этих пор; но теперь я вижу, что вы поступили как благородный человек; я уважаю ваш поступок; но не менее того должен кончить начатое дело и сдержать слово свое, покойнику данное». — «Если так, так гг. секунданты пущай решат дело». Я пред-

лагал драться у Якубовича на квартире, с шестью шагами между барьерами и с одним шагом назад для каждого; но секундант Грибоедова на то не согласился, говоря, что Якубович, может, приметался уже стрелять в своей комнате.

Я согласился сделать все дело в поле; но для того надобно было достать бричку, лошадей, уговорить лекаря. Амбургер, секундант Грибоедова, взялся достать бричку у братьев Мазаровичей и нанять лошадей. Он побежал к ним, а я к Миллеру, который сперва подумал, что его в секунданты звали, смешался сперва и не хотел согласиться; но когда он узнал, что его просили только помочь раненому, он тотчас согласился и обещался мне на другое утро дожидаться меня. Амбургер, с своей стороны, достал бричку. Все опять у меня собрались, отужинали, были веселы, дружны, разговаривали, смеялись, так что ничего на поединок похожего не было. Желая облегчить поединок (как то был мой долг), я задержал Унгерна и Якубовича у себя, после того, как все ушли, и предлагал Якубовичу кончить все при двух выстрелах, несмотря на то, будет ли кто ранен, и взять восемь шагов между барьерами. Но он никак не согласился на мое предложение, и я принужден был остаться при прежних правилах.

23-го я встал рано и поехал за селение Куки отыскивать удобного места для поединка. Я нашел Татарскую могилу, мимо которой шла дорога в Кахетию; у сей дороги был овраг, в котором можно было хорошо скрыться. Тут я назначил быть поединку. Я воротился к Грибоедову в трактир, где он остановился, сказал Амбургеру, чтобы они не выезжали прежде моего возвращения к ним, вымерил с ним количество пороху, которое должно было положить в пистолеты, и пошел к Якубовичу, а от него к Миллеру; но Миллера я не застал дома. Я побежал в военный госпиталь, нашел его там и сказал ему, что ему уже отправляться пора. Мы с ним условились, что он прежде всех поедет в Куки в военный госпиталь, что

он там дождется, пока я проеду, и поедет в лагерь к колонистам, откуда он будет смотреть к монументу, и как скоро я покажусь верхом из оврага, он поскачет к нам. Якубовичу я сказал, чтобы он отправлялся пешком к месту, спрятался бы за монумент и не выходил бы оттуда, пока я его не позову. Амбургеру с Грибоедовым я сказал, чтобы они в бричке ехали и взяли бы с собой свои пистолеты. Я сам поехал верхом, увидел Миллера, поставил бричку за горой и повел Грибоедова с секундантом. Я полагал, что Якубович, который видел, куда бричка поехала, пойдет за ней; но он пошел к монументу и спрятался за оный. Я забыл, что ему велел туда итти, и когда Грибоедов спросил меня, где он, я поскакал из оврага и, вспомня, что он за памятником, позвал его; но Миллер принял сие за знак, подумал, что ему выезжать пора и тронулся, но он не приметил оврага, в который я опять въехал, и проскакал в горы.

Мы назначили барьеры, зарядили пистолеты и, поставя ратоборцев, удалилились на несколько шагов. Они были без сюртуков. Якубович тотчас подвинулся к своему барьеру смелым шагом и дожидался выстрела Грибоедова. Грибоедов подвинулся на два шага; они простояли одну минуту в сем положении. Наконец, Якубович, вышедши из терпения, выстрелил. Он метил в ногу, потому что не хотел убить Грибоедова, но пуля попала ему в левую кисть руки *. Грибоедов приподнял окровавленную руку свою, показал ее нам и навел пистолет на Якубовича. Он имел все право подвинуться к барьеру, но, приметя, что Якубович метил ему в ногу, он не захотел воспользоваться предстоящим ему преимуществом: он не подвинулся и выстрелил. Пуля пролетела у Якубовича под самым затылком и ударилась в землю; она так близко пролетела, что

* Говорят, будто Якубович воскликнул: «По крайней мере играть перестанешь!» Грибоедов лишился одного пальца на руке, что не помешало ему попрежнему отлично играть на фортепьянах.
*Прим. ред. «Русск. Арх.»*

Якубович полагал себя раненым: он схватился за затылок, посмотрел свою руку, — однако, крови не было. Грибоедов после сказал нам, что он целился Якубовичу в голову и хотел убить его, но что это не было первое его намерение, когда он на место стал. Когда все кончилось, мы подбежали к раненому, который сказал: «О, sort injuste!» * Он не жаловался и не показывал вида, что он страдает. Я поскакал за Миллером, его в колонии не было; я поехал в город, увидел его вдали и окликнул; он приехал к нам, перевязал слегка рану и уехал. Раненого положили в бричку, и все отправилось ко мне. Тот день Грибоедов провел у меня; рана его не опасна была, и Миллер дал нам надежду, что он в короткое время выздоровеет. Дабы скрыть поединок, мы условились сказать, что мы были на охоте, что Грибоедов с лошади свалился и что лошадь наступила ему ногой на руку. Якубович теперь бывает вместе с Грибоедовым и, по обращению их друг с другом, никто бы не подумал, что они стрелялись. Я думаю, что еще никогда не было подобного поединка: совершенное хладнокровие во всех четырех нас, ни одного неприятного слова между Якубовичем и Грибоедовым; напротив того, до самой той минуты, как стали к барьеру, они разговаривали между собою, и после того, как секунданты их побежали за лекарем, Грибоедов лежал на руках у Якубовича. В самое время поединка я страдал за Якубовича, но любовался его осанкою и смелостью: вид его был мужественен, велик, особливо в ту минуту, как он после своего выстрела ожидал верной смерти, сложа руки.

25-го. Грибоедов перешел поутру на другую квартиру. Слух о поединке разнесся и дошел до Наумова. Никого больше в том нельзя подозревать, кроме капитана Быкова, который стоял вместе с Грибоедовым; но Наумов ничего не знает наверное. Его мучит любопытство: ему бы

* О, несправедливая судьба!

хотелось, чтобы мы все к нему пришли, повинились бы в своем проступке; тогда он принял бы на себя вид покровителя и, пожуривши нас за молодость, взялся бы поправить все дело, которое не требует поправления. Ему весьма обидно показалось, что мы сего не сделали; он напал на бедного Талызина, не смея на другого напасть, наговорил ему неприятностей и обвинял его в обмане. «Ты должен был все знать, потому что ты вместе с Якубовичем жил; для чего ты мне ничего не сказал и не говоришь?» Бедный Талызин клялся ему, что он ничего не знает. Тогда Наумов позвал к себе Якубовича, хотел из него все выведать самым глупым образом, но ошибся. Он стал уверять Якубовича, что он все знает. «Если вы все знаете», отвечал ему Якубович, «так зачем же вы спрашиваете меня? А я вам говорю, что поединка не было и что слухи эти пустые». Весьма приметно, что Наумов еще недавно имеет такую власть; он хочет ее выказать; его любопытство мучает, и он хотел бы быть в состоянии рассказывать всем на ухо обстоятельства сего поединка, но ему не удалось и не удастся. Вечер мы провели у Грибоедова. Наумов посылал меня к себе просить; я пошел к нему, но не застал его дома.

26-го Наумов прислал сказать Якубовичу, что полковник Наумов приказывает ему выехать из города, а что Сергей Александрович позволяет ему до вечера 27-го числа в Тифлисе остаться. Наумов сим подтверждает то, что я об нем выше написал.

27-го ввечеру Якубович уехал на Карагач в полк. Про рану Грибоедова распущено множество слухов. Унгерн слышал вчера, что пуля ударила его в ладонь и вылетела в локоть.

*1819 г.*

*Январь.*

11-го я был у Алексея Петровича [Ермолова], который говорил очень долго о разделении Польши с таким красноречием

и с такими познаниями, что мы все удивлялись и заслушались его. Грибоедов проделывает с ним все те же самые штуки, которые он со мной делал, и надувает Алексея Петровича, который верно полагает (в нем) пространные и глубокие сведения. Грибоедов умен и умеет так осторожно действовать, что все речи его двусмысленны, и он тогда только дает утвердительное мнение свое, когда Алексей Петрович свое скажет, так что никогда ему не противоречит и повторяет слова Алексея Петровича: все думают, что он прежде тот предмет хорошо знал. Я уже был надут им и видел ход его действий.

16-го. Мне кажется, Грибоедов придирается ко мне, и что у нас не обойдется ладно. Вчера обедал я в трактире и Грибоедов тоже. Пришел туда тот самый толстый Степанов, с которым я раз виделся на его квартире и который отказался от своих слов и просил извинения. Грибоедов не знал его. Увидя его, он спросил меня, та ли это особа, про которую прежде говорено было и которой я побоялся. «Как побоялся», сказал я: «кого я буду бояться?» — «Да его наружность страшна». — «Она может быть страшна для вас, но совсем не для меня». Меня очень рассердило сие маленькое происшествие. Я дождался, пока Степанов ушел и потом, подозвав к себе Амбургера, спросил у него громко при всех, слышал ли он суждение Грибоедова, который находит наружность Степанова грозною. Грибоедов несколько потерялся и не умел ничем поправиться, как сказав, что он ее грозною потому находит, что Степанов громаден. Тем и кончилось. Грибоедов почувствовал свою ошибку и все вертелся около меня.

22-го я обедал у Алексея Петровича. Грибоедов отличался глупейшей лестью и враками. Я не понимаю, как Алексей Петрович может так долго ошибаться в нем. Он, кажется, к нему еще очень хорошо расположен, и мне кажется сие за счастье, что Грибоедов не остается в Тифлисе, а уезжает с Мазаровичем.

28-го. Уехал отсюда с Мазаровичем в Персию, к великому удовольствию всех, Грибоедов, который умел заслужить всеобщую нелюбовь. Мне кажется, однако же, что Алексей Петрович не ошибся на его счет. Он препоручил Грибоедову сделать описание случившемуся здесь землетрясению для помещения оного в ведомости. Грибоедов написал ужасную штуку: куринские льды с ревом поколебались, треснули и стремились к пучине; тут был и гром, и треск, и стук, и страх, и разбежавшиеся жители, и опустелый город; землетрясение пять минут продолжалось и пр. и пр. и пр., и все написано так лживо и так нескладно, что было больше похоже на силлогизм человеческого преследования. Я узнал, что Алексей Петрович премного его благодарил за сие и расхваливал его; но отъезде же Грибоедова он приказал Могилевскому пересочинить все сие сызнова.

*1822 г.*

*Февраль.*

2-го. Пришел ко мне обедать Грибоедов; после обеда мы сели заниматься и просидели до половины одиннадцатого часа: я учил его по-турецки, а он меня по-персидски. Успехи, которые он сделал в персидском языке, учась один, без помощи книг, которых у него тогда не было, [велики]. Он в точности знает язык персидский и занимается теперь арабским. Я нашел его очень переменившимся, и он очень понравился вчера. Он мне рассказывал, между прочим, обращение Мазаровича в Персии и каким он образом роняет честь своего звания, а следственно и государя, своим поведением в Персии. Когда получены были бумаги из Петербурга, которыми извещали персидский двор, что турки своим поведением навлекают на себя гнев государя и сами задирают нас к войне, надобно было объяснить Аббас-Мирзе [100], что государь желает дать знать всем народам, что не страсть к завоеваниям его к сему понуждает, но единственно неправильные поступки турок против него. Грибоедов

ходил к Мирзе и объяснил ему сие, говоря, что государь не требует союзников, но даст только ему знать о сем. Аббас-Мирза, обрадованный сим случаем, обещался выставить 50 тысяч воинов и идти на турок, что он и сделал. На другой день Мазарович, увидевшись с ним в саду, стал ему о том же говорить; но, вместо того, чтобы соблюсти благопристойность, он просил Аббас-Мирзу быть союзником нашим, и, в знак благодарности, когда тот объявил свое согласие, схватил у него руку и поцеловал ее. Вот поступок, достойный иностранца, наемщика в нашей службе [101].

3-го. Грибоедов приходил ко мне поутру, и мы занимались с ним до пяти часов вечера.

5-го. Я провел часть дня у Грибоедова, занимаясь восточными языками.

6-го. Был день происшествий... Воейков [102] был у меня и, заставши у меня Грибоедова, сказал мне в другой комнате, что еслиб я одну вещь знал, то бы она меня очень рассердила. Я просил у него объяснения, он не хотел объясниться, наконец он ушел.

... Пришел Бобарыкин [103], а за ним Воейков, я просил их изъяснить мне, в чем состояли слова, сказанные Воейковым поутру, полагая, что тут касается нечто до Грибоедова. После долгих отговоров Бобарыкин сказал мне, что накануне Грибоедов изъяснялся у Алексея Петровича Петру Николаевичу [Ермолову] насмешливо насчет наших занятий в восточных языках, понося мои способности и возвышая свои самыми невыгодными выражениями на мой счет. Меня сие крепко огорчило. Необходимо должно было иметь поединок, чтобы остановить Грибоедова, что было весьма неприятно. Я пошел к Воейкову, где нашел Бобарыкина, объяснил им, сколько происшествие сие было неприятно для меня, послав вслед за сим к Грибоедову книгу его и велев потребовать мои назад; и то было вмиг исполнено. Вскоре за сим явился ко мне Грибоедов, дабы

я ему объяснил причины, понудившие меня к сему поступку. Я ему объяснил их и назвал свидетелей. Мы напали все на него и представляли ему его неосторожность. Он извинился передо мною и просил, чтобы я забыл сие; но Бобарыкин, имея старые причины на него сетовать, продолжал спорить с ним. Сие подало повод к колкостям с обеих сторон. Бобарыкин сознавался, что он не должен был мне передавать этих слов, не объяснившись сперва с Грибоедовым, но сказал, что уважение его и преданность ко мне понудили к сему. В самое это время Грибоедов вскочил и ушел.

Мое дело было поправлено, но Бобарыкин и Воейков оставались на дурном счету в глазах Грибоедова. Я намеревался и теперь намереваюсь пресечь понемногу знакомство с ним; но тут я должен был примириться с ним и принять его извинения, и потому я отправился с Бобарыкиным к нему и примирился с тем условием однако ж, чтобы: 1) Грибоедов не смел после разносить сего и 2) чтобы он вперед был осторожнее в своих речах. Он охотно согласился на сие и дал честное слово, что вперед будет осторожнее и нигде не разгласит сего дела. Я отдал ему книги и обещался заниматься попрежнему с ним. Бобарыкин извинился в том, что он мне сказал сие, а Грибоедов в том, что прежде подал ему повод неудовольствия на себя своими неосторожными шутками. И мы так расстались. Перед отходом Грибоедов дал мне письмо, которое он хотел послать к Петру Николаевичу, которым он просил его помирить его со мною. Я сжег сие письмо и пошел к Воейкову, куда вскоре и Грибоедов пришел и просидел с нами до 11 часов вечера.

10-го. Я был почти целый день дома и занимался. Я писал к Грибоедову записку, в которой я объяснял ему, что занятия мои по службе не позволяют мне больше продолжать занятия наши в восточных языках и что в субботу должен у нас последний урок быть. Ввечеру

поздно он ко мне пришел и просидел до полночи. Образование и ум его необыкновенны.

*Март.*

15-го. Поутру заходил ко мне Грибоедов с англичанином Мартином, который оправился от своей болезни и сбирается на днях отсюда ехать.

19-го. Я провел часть дня у Грибоедова и обедал у него, занимаясь с ним турецким языком.

31-го марта провели у меня вечер Грибоедов и Кюхельбекер; первый был так любезен вчера, что можно бы почти забыть его свойства.

*Апрель.*

16-го я ходил ввечеру в собрание и узнал там от Грибоедова происшествие, недавно случившееся между Кюхельбекером и Похвисневым [104]. На-днях они поссорились у Алексея Петровича, и как Похвиснев не соглашался выйти с ним на поединок, то он ему дал две пощечины. Алексей Петрович, узнавши о сем, очень сердился, сказав что Кюхельбекера непременно отправит отсюда в Россию а между тем велел, чтобы они подрались. У Похвиснева назначен секундантом Павлов, а Кюхельбекер послал в Гомгоры по сему предмету за артиллерийским штабс-капитаном Листом, с которым он очень дружен.

19-го я обедал у губернатора, где слышал от него самые неприличные отзывы об Вельяминове. Ермолов после обеда проехал ко мне и рассказал мне дело Похвиснева с Кюхельбекером. Грибоедов причиною всего, и Кюхельбекер действовал по его советам. Мне сказал Ермолов, что Алексей Петрович имел тайное приказание извести Кюхельбекера; невзирая на то, кажется, что слабость его допустит последнего до того же состояния, в котором он прежде был принят у него в доме.

20-го. Кюхельбекер стрелялся с Похвисневым; один дал промах, у другого пистолет осекся, и тем дело кончилось.

*Май.*

4-го в 9 часов утра Ермолов уехал. Грибоедов, проводив его, приехал ко мне обедать.

*1827 г.*

*Февраль.*

В начале года я опять приехал из Манглиса* в Тифлис, но с твердым намерением не отлагать более избрания себе супруги.

... Я не колебался в выборе себе невесты и не помышлял избрать Александру Перфильевну или дочь князя Арсения Бебутова, но устремил мысль мою на нынешнюю жену свою, хотя и не чувствовал к ней сильной страсти и хотя мне несколько нравилась княжна Нина Чавчавадзе, но ее лета, ум и воспитание далеко отстали от тех же качеств Сонюшки Ахвердовой. Я совещался с Мазаровичем, дабы узнать в подробности те обстоятельства, которые затрудняли меня в решении, а именно состояние дел ее, сношения с мачихою и тот обширный круг всякого народа, который ежедневно наполнял дом их и который бы я весьма желал удалить от себя.

Я узнал от Мазаровича, что хотя и нельзя было ожидать приданого (потому что все имение, оставленное ей и брату ее покойным отцом ее, было запутано, повидимому, беспечностью опекуна князя Чавчавадзе и неумеренностию мачихи ее), но долгов она не имела, и сего мне было достаточно, ибо я не искал богатства, но искал жены. О состоянии мачихи я также узнал, что оно было в самом расстроенном положении, что она была вся в долгах, но что долги сии нисколько не падали на сирот. Насчет шумного круга, посещавшего дом ее, Мазарович уверял меня, что с появлением моим он весь разойдется, и сей последний предмет один только мог меня затруднить.

---

* В Манглисе стоял Карабинерный полк, которым командовал Н. Н. Муравьев.

Впрочем, дабы иметь лучшие сведения, я обратился к Грибоедову, коему состояние дел ее было известно. Он достал мне какую-то таблицу, по коей видно было, что долги старухи простирались сверх 30.000 р., что имение падчерицы ее хотя и полагалось на лице, но что оно было все почти издержано старухою...

Касательно сношений моих со старухою, Грибоедов уверял меня, что он на моем месте всячески старался бы удалить ее в Россию после свадьбы, в чем он был совершенно справедлив. Он сам был весьма рад намерению моему и всячески старался склонить меня в деле, коем не нужно мне было посторонних советов, почему я и не просил его дальнейшего участия. Но тут же, при объяснениях, сознался я ему, что Нина Чавчавадзе мне более нравилась, а он сознался, что был неравнодушен к Ахвердовой, но не помышлял о женитьбе, потому что не имел состояния.

Я не имел с Грибоедовым никогда дружбы; причины сему были разные. Поединок, который он имел с Якубовичем в 1818 г., на коем я был свидетелем со стороны последнего, склонность сего человека к злословию и неуместным шуткам, иногда даже оскорбительным, самонадеянность и известные мне прежние поступки его совершенно отклонили меня от него, и в сем случае, хотя доверенность, мною ему сделанная, сближала меня с ним некоторым образом, но не склонила меня к нему с лучшим душевным расположением, и я до сих пор остался об нем мыслей весьма невыгодных насчет его нравственности и нрава.

Между тем, слух, не знаю на чем основанный (ибо я повода оному не давал), разнесся по городу, что я женюсь на Перфильевой. Так как я не был оному виною, то и не заботился о прекращении оного, и оставил всех в заблуждении сем, более скрывавшем действия мои для достижения предполагаемой мною цели.

Жена моя имела несколько женихов. Давно уже, вскоре после смерти отца ее, ветренная мачиха ее обру-

чила ее почти в ребячестве с офицером, родом греком, по имени Севинис [105], который стал всем известен славным воровством известной в мире жемчужины, сделанным им года четыре тому назад в Москве у купца Зосимы *. Человек сей, пришелец из неизвестного отечества, прибыл в Грузию, распустил великолепные слухи о происхождении своем и богатствах своих, подложными письмами обольстил Прасковью Николаевну Ахвердову и сделался женихом Сонюшки Ахвердовой, но был через несколько времени изобличен в плутовстве своем Грибоедовым, который выгнал его из Тифлиса, прекратил связь его с домом Ахвердовых и тем приобрел неограниченную доверенность Прасковьи Николаевны.

... Не прежде 18 или 19 февраля пришло внезапное известие о скором прибытии начальника главного штаба Дибича, который уже находился на линии.

... Дибич проехал на дрожках весьма шибко, в полной форме, прямо к Алексею Петровичу, коего он был моложе, и явился к нему. Мы долго ожидали его с Паскевичем на площади; наконец, он приехал к нам, вышел к разводу, был очень весел и любезен и успокоил многих.

... Все любопытствовали узнать о свидании его с Ермоловым. Узнали, что они обошлись очень дружески, и многие лица вытянулись внезапно. Пошли разные разговоры по городу, и многие убеждались уже, что Алексей Петрович не будет сменен и что Паскевич уедет назад.

*Апрель.*

... Не помню которого числа апреля месяца Дибич решился объявить Алексею Петровичу о смене его Паскевичем [106]. Немедленно был отдан о сем приказ по корпусу, и новый начальник вступил в отправление своей должности. Казалось, что Дибич имел о том повеление государя, и он медлил объявлением сего, дабы самому

* См. подробности в воспоминаниях Н. П. Шенига в «Русск. Арх.», 1881 г., I, 238.

успеть вникнуть в дела. Может быть, даже не решался он еще и привести в исполнение смену сию, которую, может быть, государь предоставил ему сделать только в случае надобности. Но как бы то ни было, дело было ведено столь тайно, что хотя Алексей Петрович и думал о потере своего места, но никогда не был в сем уверен, трудился до последней минуты и был поражен сею новостью. И в сем случае не умел он себя вести: имея всех за себя видя участие, которое все в нем принимали, он был малодушен, то жаловался, то сердился, то смеялся, то употреблял выражения неприличные ни сану его, ни летам, и не умел сохранить того спокойного величия, коим бы он мог сразить врагов своих. Напротив того, они торжествовали, видя, сколько падение оскорбляло его и выводило из границ благоразумия. Говорят, что Дибич сам прослезился, объявив ему сию волю государя. Они не переставали затем видеть друг друга; но, кажется, что новое правительство крепко наблюдало за влиянием, которое перемена сия произвела во всех умах. Солдаты, узнав о смене любимого ими начальника, роптали. Гвардейские офицеры стали толпами ездить к смененному начальнику и тем показывать ему преданность свою. Грузины в сем случае всех хуже вели себя. Глупое сословие сие, надеясь приобрести несчетные милости, награждения и выиграть по всем бестолковым искам своим (за исключением малого числа благоразумнейших) передались самым унизительным образом к новому начальству, выставив из среды своего круга ябедников, доносчиков, льстецов и лгунов. В числе сих, к стыду, находился, между прочими облагодетельствованными Алексеем Петровичем, генерал князь Эристов. Ему сопутствовал равный ему по глупости предводитель дворянства князь Багратион-Мухранский. Сперва ябеды их принимались с удовольствием; доходило даже до того, что спрашивали во многих случаях и советов их, но люди сии себя скоро открыли и сделались теперь предметом общего и начальников своих пренебрежения.

... Не подвержено почти сомнению и то, что Грибоедов в сем случае принял на себя обязанности несогласные с тем, чего от него ожидали его знакомые. Казалось бы, что и самые связи родства, в коих он находился с Паскевичем, не должны были его склонить к принятию постыдного звания доносчика *.

*Май.*

... Часто повторявшееся состояние исступления, в которое приходил Паскевич без всякой причины, возродило в нем, наконец, желчную болезнь, с коей он через несколько дней своего пребывания в Шулаверах и выехал в Джелал Оглу.

По прибытии в лагерь за Бабьим Мостом болезнь его усилилась до такой степени, что к ночи, казалось, уже было мало надежды к его выздоровлению. Видя, сколько потеря его могла произвести беспорядка и помня обещание, данное мною Дибичу не оставлять его и быть терпеливым, притом же руководимый человеколюбием, я принял личное участие в его болезни и, вместе с Грибоедовым, который ему был родственником, не оставлял его и служил, как ближнему, стараясь сколь возможно его успокоить и помочь ему, о чем он и отозвался однажды благодарностию.

*Июнь.*

... Пока мы ездили на рекогносцировки к Эриванн, войска обеих колонн прибывали к Эчмиадзину со своими транспортами в жалком состоянии: арбы ломались от дурной дороги, быки дохли от бескормицы, и люди, заболевая, наполняли госпиталь, лишенный почти всех средств к содержанию больных. Все были утомлены от зноя; но нельзя еще было вперед тронуться, потому что войска не собрались. Болезни распространились и между офице-

* Далее в подлиннике четыре строки зачеркнуты, и разобрать их невозможно.

рами до такой степени, что во всей главной квартире я оставался почти один здоровый и исправлял в одно время должности начальника штаба, дежурного штаб-офицера и старшего адъютанта. Я сам не понимаю, как я успевал все сие обделывать; но зато я уже не имел покоя и несколько ночей провел без сна. Однажды, потребовав меня к себе, Паскевич вспомнил о давнишнем намерении правительства нашего завоевать Астрабад и приказал в ту же минуту написать о сем предположение, которое он хотел послать к Дибичу. Я отвечал ему, что сие должно было основать на подробных сведениях о морских и провиантских средствах наших в Астрахани и в Баку, что мне было неизвестно, и потому я не мог взять на себя положения сего, особливо в столь короткое время, как он сего требовал. Он отнес ответ сей к недоброй воле моей и приказал непременно сделать, говоря, что я там был и должен все знать. Видя, что нечего делать, я занялся сим делом и чрез несколько часов представил ему записку, в которой были самые неосновательные предположения по сему предмету, что оговорено было и в самом рапорте, изготовленном мною от Паскевича к Дибичу. Записка сия, которая ровно не могла ни к чему служить, сначала ему понравилась, и он принял меня ласково; но, по прочтении рапорта, ему показалось что-то в ней несогласное с его образом мыслей, а потому он начал перемарывать оную и поправлять. Паскевич читал и перечитывал рапорт сей, но сам не постигал его; наконец, по обыкновению своему, рассердился и, сказав, что он неверно списан, приказал к себе принести черновой, нашел его во всем сходным с подлинником, наставил еще точек и запятых, так что смысл оного совершенно уже затмил, и отдавая мне оный для отправления: «Voilà, monsieur», сказал он, «comme il faut strictement observer la ponctuation; tout dépend de là» [107]. Я не мог смеяться; но вышел из комнаты, встретил Грибоедова, которому и объяснил, сколько я затруднялся послать сию бумагу к Дибичу, прося его

совета, как поступить в сем случае. Он мне сказал, что делать было нечего и что рапорт надобно уже было так отправить, что я и сделал; но кажется, на оный и ответа не было, по крайней мере, ответ сей мне в руки не попадался. Я старался достать список впоследствии времени с сего донесения, дабы поместить оный как редкость в сии записки, которые я предполагал всегда продолжать; но не нашел к тому средств и оставил дело сие, которое могло подвергнуть меня большим неудовольствиям.

29-го числа на рассвете я отправился к Аббас-Абаду с Реpенкампфом и сотнею казаков. Я держался влево, дабы открыть движение свое за продолговатыми возвышениями, идущими на расстояние одной или полуторы версты от крепости, и, скрывшись за бугор, спешил казаков, оставил за бугром лошадей и выслал пеших людей за бугор, дабы оставить неприятеля в недоумении о числе людей, оставшихся за бугром. Хитрость сия, как я после узнал от самих персиян, имела полный успех; ибо они, предполагая, что у нас за горою засада и скрываются силы, не смели с большими силами напасть на нас и не истребили мой слабый отряд.

По вершине сего продолговатого бугра я прошел с пешими казаками до окопечности, подходящей под самую крепость, откуда спустил несколько человек влево, а сам поехал с несколькими казаками вправо для обозрения крепости. Мы подъехали с Реpенкампфом к развалинам стенок, оставшихся с северной стороны Аббас-Абада, как увидели персидскую конницу в числе 600 человек, переправлявшуюся через Аракс и подвигавшуюся ко мне. Я хотел отступить на бугор и защищаться на оном до прибытия новых сил из лагеря; но Реpенкампф советовал лучше потребовать к себе казаков, отступать равниною, понемногу отстреливаясь, а между тем послать в лагерь с приказанием 3-й сотне поспешить прибытием к нам на помощь. На сем и решили. Мы дождались на месте казаков, оставленных на бугре, и, построив их в две линии, отсту-

пали с одною шагом, пока другая стояла лицом к неприятелю. Персияне также выстроились фронтом и пустились было на нас рысью; но, увидя порядок, в коем мы отступали, остановились и выслали фланкеров, что и я сделал, чтобы занять их до прибытия подкрепления. Между тем я посадил засаду из 20 казаков в деревне, которая у меня была на правом фланге, дабы отрезать фланкеров их, задающихся слишком вперед; но 3-я сотня казаков уже скакала ко мне на помощь, и неприятель, собрав фланкеров своих, начал отступать под самую крепость. Причиною сего отступления персиян, кажется, более всего было то, что они заметили толпы конницы, подвигавшиеся к нам из лагеря, в коем делалось следующее.

Паскевич, увидя из окон своих перестрелку, засуетился и рассердился. Грибоедов, который в то время был при нем, и другие его окружающие советовали ему послать ко мне подкрепление, говоря, что я могу погибнуть с горстью людей против такого сильного неприятеля. «Пускай он погибает!» отвечал Паскевич. «Если он расторопный офицер, то сам отделается; если же он плох, то мне не нужен, и пускай погибает». Надеясь однако захватить персиян, которые бы слишком далеко заехали в ожидаемом им преследовании меня, он вскоре поднялся со всею кавалериею и выехал на высоты, которые были за моим правым флангом; но, видя, что неприятель стал отступать, остановился и послал за мною Бородина, который застал меня уже совершенно вне опасности и свободного от неприятеля, на лугу за завтраком, и сказал, что Паскевич сердит, бранится и требует меня к себе.

Я приехал к нему. Он напустился на меня с криком, спрашивая, как я смел завязывать дело, тогда как он меня послал единственно для того, чтобы заманить неприятеля и скакать в лагерь, дабы дать ему случай отхватить гнавшихся за мною. Я отвечал ему, что если в том была цель его, то он бы с большим успехом употребил казачьего

офицера с несколькими казаками, но что я такого приказания никогда не получал и, напротив того, имел приказание осмотреть крепость. «Неправда, сударь», сказал он в сердцах. Тогда я ему напомнил, как он приказывал мне осмотреть ров крепостной, и сказал, что я опасался еще ответственности за то, что не исполнил в точности его приказания. После сих слов Паскевич перестал браниться; он постоял несколько времени на возвышении с конницею и возвратился в лагерь.

*Июль.*

... Паскевич, просмотрев со мною принесенные бумаги, обратился ко мне с дружеским видом: «Mon cher général», сказал он, «faites moi l'amitié d'écrire de ma part un mot au général Sipiaguine, pour le prévenir de la victoire, en lui disant, que les détails ultérieurs viendront à la suite» [108]. Возвратясь в свою палатку часу во втором после полночи, я продиктовал Ахвердову, при мне находившемуся в должности адъютанта, письмо от Паскевича к Сипягину, в коем пояснено было вкратце все дело, не упустив ничего того, что могло служить к представлению дела сего в настоящем виде, т.-е. победы, означив число пленных, знамен и пр. Но как я удивился, когда, по прочитании письма сего Паскевичу, я увидел, что он выходил из себя.

— Кто это писал? — закричал он.

— Я писал.

— Кто писал? — возразил он снова.

— Писал Ахвердов по моей диктовке.

— Arrêtez-moi cet homme, — закричал он: — c'est un petit coquin [109].

Я, разумеется, не арестовал его, а спросил Паскевича, чем Ахвердов провинился.

— Вы, сударь, — отвечал он мне в пылу, — не поместили всего в реляции.

— Это не реляция,—сказал я,—а краткое письмо в предупреждение генерала Сипягина, до отправления настоящей реляции, которую вы мне не приказывали писать.

— Вы, сударь, скрыли число пленных ханов: их взято семь, а не три, как вы записали.

— Их взято только три.

— Неправда, сударь, семь взято; сочтите их в палатке.

В палатке точно сидело семь человек пленных с ханами, но в том числе были и прислужники их, что я ему и объяснил; но он не хотел принять сего.

— Вы написали мало пленных,—продолжал он.—Алексею Петровичу Ермолову написали бы вы 30 ханов и 30.000 неприятельского урона, а мне вы не хотите написать семи ханов. Когда Суворов имел дело с войском сильнее 30.000, то у него менее 80.000 неприятеля в реляциях не значилось. Вы знаете, как он всегда увеличивал урон неприятеля, а мне вы сего сделать не хотите; но я знаю, что это все последствия интриг ваших с Ермоловым: вы хотите затмить мои подвиги и не щадите, для достижения цели вашей, славы российского оружия, которую вы также затемнить хотите, дабы мне вредить.

Слова сии были столь обидны, что я не мог выдержать оных.

— Ваше высокопревосходительство обвиняете меня, стало быть, в измене, отвечал я. Обвинение сие касается уже до чести моей, и после оного я не могу в войске более оставаться. Прошу вас отпустить меня теперь в Тифлис.

— Как вы смеете проситься? — сказал он.

— Я доведен до крайности.

— Но вы знаете, что теперь ни отпусков, ни отставок нет.

— Знаю, а потому и уверяю вас, что моя главная цель состоит единственно в том, чтоб не служить под начальством вашим; каким же образом достигну до оной, до того мне дела нет. Вы меня до того довели, что я буду счастлив удалиться отсюда, под каким вам угодно будет

предлогом. Угодно вам, отпустите меня; угодно, командируйте по службе; угодно, ушлите, удалите со взысканием, как человека неспособного, провинившегося, с пятном на всю мою службу. Я уверяю вас, что всем останусь довольным, лишь бы не при вас служить.

— Хорошо, — сказал он с видом гораздо спокойнее, — я ваше дело решу ужо, а теперь прошу вас до того времени продолжать занятия ваши попрежнему.

Я пошел к Грибоедову, рассказал ему все происшествие и объяснил, что более в войске не остаюсь. Сколь ни было прискорбно Грибоедову, по родству его с Паскевичем, видеть ссору сию, но он не мог не оправдать поведения моего в сем случае.

На другой день я пошел обедать к Паскевичу и не показывал более вида неудовольствия, будучи в полном уверении, что меня отпустят. Ввечеру пришел я к нему с бумагами. Рассмотрев оные, он вдруг обратился ко мне:

— Неужели, — сказал он, — вы еще сердитесь на меня за вчерашнее? Оставьте это, я прошу вас о том. Я вас обидел совсем без намерения огорчить вас и от одной вспыльчивости своей. Будьте уверены, что я к вам имею совершенное уважение. Прошу вас продолжать занятия ваши и оставаться в службе со мною.

Меня тронуло его сознание. Мы обнялись, и я изъявил ему готовность продолжать при нем службу. Такие сцены между нами и после того еще несколько раз случались.

Паскевич всякой вечер сбирал всех к себе говорить о делах...

Сухтелен настаивал, чтоб отступить до начала осенней кампании в Карабабу, что было при начале ущелья, по коему пролегали дороги в Карабаг, и там укрепиться, и Паскевич утвердился на сем последнем мнении, хотя и с неудовольствием. Но тогда явилось новое обстоятельство. Внезапно приехал к нему от Аббас-Мирзы посланец Мирза-Сале, который подавал надежды на заключение мира.

Предложения еще не были известны, а для пояснения оных был отправлен в персидский лагерь к Чорсу Грибоедов; но так как обратное движение в Карабабу было уже решено, то и не захотели отменять оного, а потому старались всячески скрыть намерение сие от Мирзы-Сале, который, однако же, кажется, проведал об оном.

Для сего было изобретено непостижимое средство. Бенкендорф должен был проводить с кавалериею Грибоедова на некоторое расстояние за Аракс, и в то же время пехота должна была отступать от Аббас-Абада к Нахичевану, как-будто бы первый отряд мог скрыть движение второго. Ребячье изобретение сие было приведено в исполнение и, разумеется, без малейшего успеха, ибо кроме того, что отступление наше было уже наперед известно персиянам, они имели сведения и от лазутчиков.

В конце июля возвратился Грибоедов от Аббас-Мирзы. Он говорил, что переговоры пошли было очень хорошо, но что вскоре персияне узнали о нашем обратном движении и, сочтя сие за отступление по слабости нашей, они переменили речь и уже не согласились на предлагаемые им условия и, кажется, уступали нам только одну Баш-Абаранъ. Казалось в самом деле, что переговоры о мире и вместе с тем отступление при различных требованиях наших были несовместны. Кажется также, что Грибоедов в сем случае действовал с надлежащею твердостию и говорил с персиянами с приличною ему и в тех обстоятельствах дерзостью, но без успеха.

С ним приезжал также опять к нам Мирза-Сале; но его не допустили до лагеря, а остановили на аванпостах, где дали ему ответ и отпустили назад. И тем кончились все надежды наши видеть мир.

*1828 г.*

25-го [июля] ввечеру я виделся на весьма короткое время с Грибоедовым, который, отъезжая в Персию в звании генерального консула [110], заехал повидаться с Паскевичем

и принять от него приказания. Но сему посещению была еще следующая причина. Грибоедов съездил курьером к государю с донесением о заключении мира с Персиею, получил вдруг чин статского советника, Анну с бриллиантами на шею и 4000 червонцев. Человек сей, за несколько времени перед сим едва только выпутавшийся из неволи, в которую он был взят по делу заговорщиков 14 декабря и в чем он, кажется, имел участие (за что и был отвезен с фельдъегерем в Петербург к допросу), достижением столь блистательных выгод показал редкое умение свое. Сего было мало: он получил еще в Петербурге место генерального консула в Персии с 7000 червонцами жалованья, присвоенными к сему месту. Грибоедов таким образом вмиг сделался и знатен, и богат. Правда, что на сие место государь не мог сделать лучшего назначения; ибо Грибоедов, живши долгое время в Персии, знал и хорошо обучился персидскому языку, был боек, умен, ловок и смел, как должно, в обхождении с азиатцами. Притом же, по редким способностям и уму, он пользовался всеобщим уважением и лучше кого-либо умел поддерживать в настоящей славе звание сие как между персиянами, так и между англичанами, имевшими сильное влияние на политические дела персиян и пребывающими постоянно в Таврисе, под предлогом учителей или образователей регулярного войска.

Я, кажется, выше упоминал, в каких личных сношениях я находился с Грибоедовым. Я был весьма далек от того, чтобы к нему иметь дружбу и (как некоторые имели) уважение к его добродетелям, коих я в общем смысле совсем не признавал в нем, а потому и не буду повторять сего. Но как я сам удалялся от него, то и всякое сближение его с семейством моим было для меня неприятно. Мне всегда было досадно видеть, сколько Прасковья Николаевна имела к нему доверенности, и тем неприятнее было узнать о сильном участии, которое она приняла в помолвке Грибоедова на Нине Чавчавадзевой, ибо он

к нам под Ахалкалак прпехал, к удивлению всех, уже женихом ее.

Грибоедов имел много странностей, а часто и старался прослыть странным, для чего говорил вещи странные и удивлял других неожиданностью своих поступков. Нина прежде его еще несколько занимала, и как он извлекал изо всего пользу для своей забавы, то пользовался пущенным о том слухом, дабы выводить из себя ее страстного обожателя Сережу Ермолова. За это однажды у них дошло было почти до поединка, что и прекратило насмешки Грибоедова. Приехавши из Петербурга со всею пышностью посланника при азиатском дворе, с почестями, деньгами и доверенностью главнокомандующего, коего он был родственник, Грибоедов расчел, что ему не доставало жены для полного наслаждения своим счастьем. Но, помышляя о жене, он, кажется, не имел в виду приобретение друга, в коем мог бы уважать и ум, и достоинства, и привязанность [111]. Казалось мне, что он только желал иметь красивое и невинное создание подле себя для умножения своих наслаждений. Нина была отменно хороших правил, добра сердцем, прекрасна собой, веселого нрава, кроткая, послушная, но не имела того образования, которое могло бы занять Грибоедова, хотя и в обществе она умела себя вести. Не имея никого другого в виду, Грибоедов думал о Нине и с сими думами отправился в Гумры, дабы оттуда приехать в Карс к Паскевичу, но дорогою вздумал жениться и внезапно возвратился в Тифлис, приехал ко мне в дом и открыл свое намерение Прасковье Николаевне, которая от сего была в восхищении. Кроме того, что она надеялась видеть их счастливыми, потому что заблуждалась насчет Грибоедова, ей льстил выбор Грибоедова, ибо Нина была ею воспитана. Она, может быть, вспомнила вскоре после первой радости своей, что сие супружество подает ей средства поправить свои дела по доверенности, которую Грибоедов имел у Паскевича. Она вмиг побежала к Чавчавадзевым и без затруднения нашла ско-

рое согласие на сие матери и бабки Нины, двух грузинок, из коих последняя хотя и умная женщина, но прельщалась связью и сближением с великою, единою ведомою им властью главнокомандующего в Грузии, коего участие было весьма нужно в расстроенном состоянии дел семейства их и тяжбах, [которые они] имели с казною.

Грибоедову сказано было испросить согласие Нины. Он к сему приступил весьма простым образом и получил свое. Нина после говаривала, что она давно уже имела душевную склонность к Грибоедову и желала его иметь супругом. Все сие было улажено у меня в доме. Послали курьера к отцу Нины, который начальствовал войсками и областью в Эривани, и ответ от него получен, без сомнения, утвердительный; он всех более радовался сему союзу.

Итак, Грибоедов из Тифлиса приехал к нам в Ахалкалакский лагерь женихом. Я его видел, так сказать, мельком в палатке у Паскевича, и он хотел уже со мною быть на родственной ноге, ибо Ахвердовы были через князей Челокаевых в родстве с Чавчавадзевыми; но я не отвечал ему тем же образом, и он мог видеть во мне прежнюю мою недоверчивость к нему. Мне весьма не правилось, напротив того, сближение его с моим семейством, и я безошибочно был уверен в сильном участии, которое Прасковья Николаевна принимала в сем браке. И Сережа Ермолов был в досаде, но он старался скрыть сие и говорил, что более не думает о Нине и желает ей всякого счастья.

Грибоедов женился по возвращении в Тифлис со всею пышностью посланника, и с таковой же отправился вместе с женою в Персию, где он был убит в народном возмущении. Происшествие сие будет описано в своем месте. К удивлению многих прочитали в журнале Греча после смерти Грибоедова напечатанное письмо его к Гречу[112], в коем он описывает обстоятельства его женитьбы. На Нину он взирал более как на забаву, чем на жену. Я дал сие заметить Прасковье Николаевне, коей выражения его также

не нравились; но будучи уже слишком ослеплена им, она не могла сознаться в своем ошибочном о сем человеке понятии.

... Княжна Нина Чавчавадзе вышла в сем году замуж за Грибоедова. Дело сие сделалось внезапно, пока мы находились под Ахалкалаками. Кажется, что к сему способствовала Прасковья Николаевна, коей слишком короткое обхождение с Грибоедовым и даже дружба с ним весьма предосудительны и не могли мне нравиться, когда я весьма далек от того, чтоб иметь хорошее мнение о человеке сем. Мне даже не могло посему быть и приятно, что он был принят, в отсутствие мое, в доме, коего я хозяин, как самый ближайший родственник. Нет сомнения, что Сергей Николаевич Ермолов не мог быть супругом Чавчавадзевой; но, зная его добрый нрав и честные правила, я бы всегда предпочел его в сем случае Грибоедову, на правила коего не мог бы я положиться. В сем случае руководствовали родителями разные виды, кроме доверенности, которую имели к жениху. Он был назначен министром к персидскому двору, получил непомерно большое содержание, получал от государя, по представлениям (Паскевича, коему он в добавок был по жене двоюродный брат) большие денежные награждения. Все сие способствовало ему, и он получил весьма скоро согласие родителей. Князь Александр [113] так поторопился в сем случае, что даже не уведомил меня о том предварительно, как мы о том уговорились, при прекращении ходатайства моего о Сергее Николаевиче, коему следовало бы сперва отказать.

... Описывая разные связи и интриги Тифлиса, нельзя умолчать о причинах, которые, как кажется, подали повод к сближению Грибоедова с З[авилейским] [114], каковое всем казалось безобразным по совершенному различию сих двух особ.

Когда Грибоедов ездил в Петербург, увлеченный воображением и замыслами своими, он сделал проект о преобразовании всей Грузии, коей правление и все отрасли промышленности должны были принадлежать компании наподобие Восточной Индии. Сам главнокомандующий и войска должны были быть подчинены велениям комитета от сей компании, в коем Грибоедов сам себя назначал директором, а главнокомандующего членом; вместе с сим предоставил он себе право объявлять соседственным народам войну, строить крепости, двигать войска и все дипломатические сношения с соседними державами. Все сие было изложено красноречивым и пламенным пером и, как говорят, писцом под диктовку Грибоедова был З[авилейский], которого он мог легко завлечь и в коем он имел пылкого разгласителя и ходатая к склонению умов в его пользу. Грибоедов по сему старался и многих завлечь; он много искал сближения со мною, но я всегда удалялся от него. Когда он приезжал в Ахалкалаки на короткое время, обручившись с Ниною Чавчавадзевой (супружество, предпринятое им в тех же пламенных и пылких ожиданиях, по коим он сам хотел переобразоваться в жителя Грузии, супружество, которое никогда не могло быть впоследствии времени счастливым по непостоянству мужа и коему покровительствовала ослепленная Грибоедовым Прасковья Николаевна), он замолвил о своем проекте Паскевичу (что уже было в отсутствие мое к Хыртысу) и, говорят, настаивал, чтобы приступлено было к завоеванию турецкой крепости Батума, что на Черном море, как пункта необходимо нужного для склада в предполагаемом распространении торговой компании. Говорят, что Паскевич несколько склонялся к сему, увлеченный надеждою на легкие сношения с царевною Софьей, правившей тогда Гурией в соседстве с той стороны с Турциею, женщиной довольно молодою еще, собою видною и известною в том краю по бойкости своей и влиянию, которое она в народе имела. Не будучи расположена с усердием к русским,

она впоследствии времени бежала в Требизонт с несовершеннолетним своим сыном, и через то фамилия сия лишилась права на владение Гуриею, для управления коей, кажется, назначен был русский комендант. Не могу утвердительно сказать, но кажется, что даже были тогда сделаны некоторые приготовления к сей экспедиции. После того генерал Гессе, предпринимавший несколько походов из Имеретии в ту сторону, имел постоянные неудачи. Проект сей, уничтожающий почти совершенно власть Паскевича, не мог ему нравиться, и он впоследствии времени не был взят во внимание никем. Когда же Грибоедов женившись, уехал в Персию, то З[авилейский], полагая себя как бы поверенным Грибоедова, сильно вступался за оный и уверял даже, что он находится на рассмотрении у министра финансов в Петербурге. Таким образом он мне однажды прочитал довольно длинное вступление к сему проекту. Оно было начертано Грибоедовым и было чрезвычайно завлекательно как по слогу, так и по многоразличию новых мыслей, в оном изложенных; но по внимательном рассмотрении вся несообразность огромного предположения сего становилась ясною, и никто не остановился бы на сем любопытном, но неудобосостоятельном предположении, от коего З[авилейский] приходил в восторг. Я же готов думать, что Грибоедов, получив назначение министра в Персии, значительные выгоды и почести, сделался равнодушнее к своему проекту и, обратясь к новому предмету, стал бы о прошедшем говорить с улыбкою, как о величественном сне, им виденном, при чем вероятно не пощадил бы и З[авилейского], к коему невозможно было, чтобы он имел дружбу или уважение.

*1829 г.*

... Однажды поутру З[авилейский] приехал ко мне и с большим смущением объявил мне втайне, что из Персии получено известие, что Грибоедов убит в народном возмущении. Он показывал заботу, как довести известие

сие до сведения Прасковьи Николаевны и семейства Чавчавадзевых. Первой не было дома; по возвращении ей объявили о смерти Грибоедова, и так как она к нему в особенности благоволила, то и огорчилась сим известием и несколько времени плакала. От Чавчавадзевых долго скрывали сие известие; но как оно уже сделалось гласным во всем городе, то Прасковья Николаевна рассудила за лучшее объявить о сем матери и бабке Нины, дабы предупредить неосторожное и внезапное объявление сего родственниками-грузинами, которые по нескромности своей могли сие сделать не во-время и не в пору, и через сие испугать женщин и наделать новой тревоги: ибо они Нину любили без памяти и, не имея настоящих сведений о положении ее в Персии, стали бы весьма беспокоиться. Объявление Прасковьи Николаевны произвело много хлопот: слезы, вопли, стоны не умолкали в соседстве нашем, их было слышно из нашего дома; но к сему случаю были припасены лекаря и все нужные средства, и последствий никаких не было. Мать Нины, княгиня Саломе, билась, кричала и с нетерпением переносила скорбь свою; но старуха Чавчавадзе проливала в тишине слезы, и горесть ее изъявлялась молчанием и задумчивостью. Женщина сия была почтенная и всеми уважена.

Засим желали иметь подробнейшие известия о смерти Грибоедова, но никто их не мог дать. Говорили, что приехал курьер, привезший бумагу, в коей было написано, что он убит или умерщвлен злодейски в Тегеране, в народном смятении, со всем посольством своим, и что спасся только один чиновник Мальцов. Между тем Нина оставалась в Таврисе; она была беременная, молодая женщина, едва супругою, взятая из дому родительского и оставшаяся одна среди народа безнравственного, разъяренного. Сие могло точно всех беспокоить, и положение ее было истинно-бедственное. Отец ее был окружным начальником в Эривани; он, кажется, просился ехать в Персию, дабы вывезти дочь свою, но ему было позволено ехать

только до границы. Кажется, при Нине оставался двоюродный ее брат Роман Чавчавадзе; или, по крайней мере, он вскоре приехал к ней и, сколько было у него сил, он старался ей помочь, заступая в то время место покровителя ее, и дело об убиении ее мужа было от нее скрыто до самого возвращения ее в Тифлис.

Теперь должен я изложить, с известными мне подробностями, обстоятельства смерти Грибоедова, о коей столько говорят и имеются различные мнения. Иные утверждают, что он сам был виною своей смерти, что он не умел вести дел своих, что он через сие происшествие, причиненное совершенным отступлением от правил, предписанных министерством, поставил нас снова в неприятные сношения с Персиею. Другие говорят, что он подал повод к возмущению через свое сластолюбие к женщинам. Наконец, иные ставят сему причиною слугу его Александра... Все же соглашаются с мнением, что Грибоедов, с редкими правилами и способностями, был не на своем месте, и сие последнее мнение, кажется, частью основано на мнении самого Паскевича, который не много сожалел о несчастной погибели родственника своего (он был двоюродный графине), невзирая даже на важные услуги ему Грибоедовым оказанные, без коего он, может быть, не управился бы в 1826 и 1827 годах, при всех кознях и ссорах, происходивших в Грузии во время смены главнокомандующих, и без помощи коего он бы не заключил столь выгодного с Персиею мира. Паскевич имел неудовольствия на Грибоедова, и причиною оных было то, что последний, будучи облечен званием министра двора нашего в Персии, должен был сообразоваться с данными ему из Петербурга наставлениями и не мог слепо следовать распоряжениям Паскевича. Прямые же сношения Грибоедова с министерством иностранных дел, минуя Паскевича, были неприятны последнему. Я же был совершенно противного мнения.

Не заблуждаясь насчет выхваленных многими добродетелей и правил Грибоедова, коих я никогда не находил

увлекательными, я отдавал всегда полную справедливость его способностям и остаюсь уверенным, что Грибоедов в Персии был совершенно на своем месте, что он заменял нам там единым своим лицом двадцатитысячную армию, и что не найдется, может быть, в России человека столь способного к занятию сего места. Он был настойчив, знал обхождение, которое нужно было иметь с персиянами, дабы достичь своей цели, должен был вести себя и настойчиво относительно к англичанам, дабы обращать в нашу пользу персиян при доверенности, которую англичане имели в правлении персидском. Он был бескорыстен и умел порабощать умы если не одними дарованиями и преимуществами своего ума, то твердостью. Едиными сими средствами Грибоедов мог поддержать то влияние, которое было произведено последними успехами оружия нашего между персиянами, которые на нас злобствовали и по легковерию своему готовы были сбросить с себя иго нашего влияния, по случаю открытия турецкой войны (а на нее были обращены почти все наши войска). Сими средствами мог он одолеть соревнование и зависть англичан. Он знал и чувствовал сие. Поездка его в Тегеран для свидания с шахом вела его на ратоборство со всем царством персидским. Если б он возвратился благополучно в Таврис, то влияние наше в Персии надолго бы утвердилось; но в сем ратоборстве он погиб, и то перед въездом своим одержав совершенную победу. И никто не признал ни заслуг его, ни преданности своим обязанностям, ни полного и глубокого знания своего дела.

Грибоедов поехал из Тавриса в Тегеран, дабы видеться с шахом, а между тем кончить и некоторые дела по требованиям нашим на основании мирных договоров, которых персияне не хотели было исполнить. Он достиг цели своей, и между сими домогательствами ему удалось даже извлечь из гарема Аллаяр-Хана (зятя шахского и первого министра его, первой особы в Персии, того самого, который был взят нами в плен при занятии Тавриса) двух

армянок, взятых в плен в прошлую войну в наших границах, кои находились у него в наложницах и о возвращении коих, на основании мирных договоров [115], ходатайствовали, кажется, родители пленниц. Сие могло удасться только одному Грибоедову; ибо шах был вынужден отдать приказание зятю своему (нашему первому в Персии врагу) о возвращении их только по неотступной настойчивости и угрозам Грибоедова. Женщины сии были приведены к нему в дом, где и ожидали выезда посланника, дабы с ним следовать в Таврис и оттуда на родину. Но озлобленный и ревнивый Аллаяр-Хан не мог перенести ни оскорбления, ему нанесенного, ни удаления своих наложниц. Он стал волновать народ и даже в мечетях приказал произносить на нас проклятия, дабы более остервенить против нас чернь. В народе было заметно волнение уже несколько дней. О сем предупреждали Грибоедова; но он пренебрегал слишком персиянами и, будучи убежден в преимуществе, которое он имел над ними, был уверен, что одного появления его, одного присутствия его будет достаточно, чтобы остановить толпу; притом же уклонение казалось ему мерою неприличною, и страх не мог им овладеть. Между тем, волнение усиливалось, народ начинал толпиться на улицах и площадях и произносить оскорбительные для посланника нашего выражения и угрозы. Недоставало только искры, от коей бы пламя занялось, и искра сия вскоре показалась.

Слуга Грибоедова, Александр, молодой человек преизбалованный и коего он находил удовольствие возвышать против звания его, человек сей стал приставать к армянкам, содержащимся в доме. Женщины сии, может быть, и до сего уже недовольные тем, что их взяли из пышного гарема для возвращения в семейства, где они бы стали вести жизнь бедную и в нужде, оскорбленные ласками и приемами Александра, выскочили в двери и, показавшись на улицу, стали кричать, что их бесчестят, насильничают. Что между ними было, того никто не знает; ибо свидете-

лей никого не осталось. Иные говорили, что будто сам Грибоедов хотел их прельстить; но сие невероятно, не потому, чтобы он не в состоянии оказать неверность жене своей (я полагаю, что правила его не воспрепятствовали бы сему), но он бы не сделал сего никогда, дабы не навлечь порицания званию своему, особливо в тогдашних обстоятельствах и сношениях своих с Аллаяр-Ханом.

Происшествия сии я рассказываю по тем сведениям, которые я мог изустно собрать; за точную же справедливость оных ручаться не могу.

В сие уже смутное время, армянин Рустам, молодец собою, тот самый, который первый схватил Аллаяр-Хана (когда его в плен взяли при занятии Тавриса, что выше описано [116]), шел по городу и по обыкновению своему расталкивал с дерзостью толпившийся на базаре народ. Кажется, возвращаясь в дом посольства, Рустам был окружен разъяренною толпой. Он стал защищаться, но был вмиг растерзан; его умертвили, волочили по улицам труп его и, рассекши оный на части, разметали.

Народ собрался с шумом перед домом посланника (который тогда из осторожности заперли) и требовал выдачи одного армянина, служившего при посольстве, как и Рустам, в должности курьера. После некоторых переговоров, не знаю, кем веденных, армянина выдали, и он был в то же мгновение повешен перед домом посольства.

Сими жертвами народ не удовольствовался и, поощренный успехом, стал требовать самого посланника. Разбивши караул, стоявший у дома и состоявший из 16 или 20 персидских джанбазов [117] с офицером, из коих 2 или 4 солдата было убито или ранено, народ вломился во двор и напал на людей, чиновников и казаков посольства, которые долгое время защищались, удерживая с упорством всякую дверь. При посольстве сем было около 15 линейных казаков, молодцов, которые отличились в сем случае мужеством своим, побили много персиян, но все погибли, защищая начальника своего.

Мне говорили, что ужасный приступ сей продолжался более двух часов, и я удивляюсь, что Грибоедов сам тут не присутствовал. Но сие невероятно: не в подобном случае упал бы дух в сем человеке, мне довольно известном. Может быть, что сведения по сему предмету недостаточны, ибо почти никого свидетелей не осталось: почти все чиновники, слуги посольства и казаки были растерзаны, и в числе их и слуга Грибоедова Александр. Когда народ осадил уже и самую компату, в коей находился Грибоедов, рассказывают, что он тогда отпер двери и стал у порога, показываясь народу, и с бодрым духом спросил, чего они хотят. Внезапное появление его, смелая осанка, выражение слов его (он знал хорошо по-персидски) остановили разъяренную толпу, и дело пошло на объяснения, как Грибоедов был неожиданно ударен и повержен без чувств на землю большим камнем, упадшим ему на голову. Персияне, встречая сильные затруднения к достижению посланника, еще с самого начала приступа, обратились к плоским крышам, по коим, добежав до покоев Грибоедова, разрыли землю, покрывавшую оный, разобрали старый потолок и во время разговора пустили роковой камень в голову Грибоедова. Надобно, впрочем, полагать, что встреча его с народом несколько украшена. Народ можно было остановить до кровопролития, но после долгого упорного боя вряд ли присутствие лица, на коем возлегало все мщение народа, сколь бы оно ни осанисто было, могло бы остановить чернь. Надобно также думать, что Грибоедов не был до того времени в совершенном спокойствии, ибо вмиг нельзя разгородить и разобрать крышу, дабы пустить сквозь оную камень; все сие происходило, вероятно, в шуме и в драке.

Но с роковым камнем кончилось и все. Вслед за сим ударом последовал удар сабли, нанесенный Грибоедову одним из присутствующих персиян, и после того толпа уже бросилась на него, поразила многими ударами, и обезображенный труп Грибоедова выброшен на улицу.

Дом посольства был разграблен, и лучшие вещи, принадлежавшие чиновникам, очутились вскоре у шаха, который не упустил и сего случая для удовлетворения своему корыстолюбию.

Из хода сего дела заключают, что сам шах и все персидское правительство знало об умысле Аллаяр-Хана и тайно допустило совершение злодеяния: полагали даже, что англичане, видя верх, который Грибоедов над ними начинал брать, из-под руки склоняли главных чиновников Персии к дерзкому поступку. Нельзя полагать, чтобы они хотели довести дело до такой степени; но весьма немудрено, что они желали какого-либо происшествия, последствием коего было унижение нашего посланника и уменьшение его влияния.

Участие, принятое в сем смертоубийстве персидским правлением, ясно доказывается тем, что оно было заблаговременно предуведомлено о намерении народа, тогда еще как Грибоедову советывали укрыться в смежной с квартирою его армянской церкви, из коей ему бы можно было уклониться и бежать из Тегерана, что он отверг с презрением. Люди, доведшие сие до сведения шаха и губернатора Тегерана (одного из сыновей его [118]), будучи преданы нам, просили помощи и присылки войск для разогнания собравшегося народа; но шах и губернатор медлили, вероятно с намерением, дабы допустить злодеяние, и отряды персидской пехоты пришли к квартире посланника, когда все было уже кончено. Иные полагают, что шах, знавши остервенение, в коем чернь находилась, опасался противуборствовать оной, дабы не обратить оную на себя. Впрочем, и войско равно ненавидело русских и вряд ли стало бы действовать против народа. После говорили мне, что и слухи об упорной защите посольского персидского караула были несправедливы, что караул сей, увидя решительность народа, тотчас разошелся и что едва ли один из солдат оного был легко ранен; говорили даже, что и они приняли участие в разграблении посольского дома.

Из всего посольства спасся только один чиновник Мальцов. Иные говорят, что он при начале волнения побежал в шахской дворец, дабы просить от персидского правительства помощи; но кажется, что дело иначе было [119]. Мальцов укрылся в нужное место, как говорят, и средство к уклонению его было дано ему одним армянином, коему он предложил тогда находившиеся при нем 50 червонцев (ибо всякий опасался в такое время показать какое-либо участие к жертвам, дабы не быть открытым и через сие не пострадать). Мальцову удалось пробраться до шахского дворца, где его, как говорят, сперва спрятали в сундук, ибо сам шах боялся возмущения. Когда все затихло, он остался во дворце под покровительством самого шаха, и наконец выехал в Грузию. Кроме его, кажется, не было очевидного вестника сему ужасному происшествию. Мальцова многие обвиняли в том, что он не погиб с Грибоедовым. Не знаю, справедливо ли сие обвинение. Мальцов был гражданский, а не военный чиновник и не вооруженный, секретарь посольства, а не конвойный: целью посольства были не военные действия, где бы его обязанность была умереть при начальнике. На них напали врасплох, резали безоружных, и я не вижу, почему Мальцов не прав в том, что он нашел средство спасти себя, и, может быть, еще с надеждою прислать помощь к осажденному посольскому дому. Впрочем, он, кажется, по домашним связям своим был близок к Грибоедову, и о поведении его подробнее вышеизложенного я не знаю. Может быть, и есть обстоятельства, мне неизвестные, которые в общем мнении обвиняют его поступок. Я его лично не знаю, едва видел его в Тифлисе; в пользу его не было ничего особенно слышно.

Нина Грибоедова была в Таврисе и беременна во время сего происшествия, которое от нее скрыли. Двоюродный брат ее, Роман Чавчавадзе, по совету англичан, пребывавших в Таврисе, из коих поверенный в делах имел весьма умную и приятную жену, перевез ее к ним в дом.

Мера сия была тем нужнее, что в Тавризе оказывалось беспокойство в народе, в коем воспрянула придавленная злоба к русским по получении известия о случившемся в Тегеране. Не менее того, Аббас-Мирза старался показать большое огорчение и даже наложил на несколько дней траур.

Нину уверяли, что ее перевезли к англичанам по воле мужа ее, которого дела задерживают на некоторое время еще в Тегеране; наконец, когда списались с Тифлисом, ей сказали, что ее везут в Тифлис также по воле мужа ее, который ее в дороге нагонит. Верила ли сему несчастная вдова, того не знаю; но не полагаю, ибо она не получала от мужа писем. Ее привезли с большою опасностью до границ наших, где ее, кажется, встретил отец и привез в Тифлис. Ее остановили в карантине, куда к ней ездили для свидания родственники. Она была молчалива, мало упоминала в речах о муже и, казалось, догадывалась об участи своей.

Но Нина претерпела все сии бедствия в состоянии беременности, коей было уже 7 или 8 месяцев, когда Прасковья Николаевна, опасаясь, дабы до нее не дошло известие о погибели мужа стороннею дорогою и с неосторожностью, решилась объявить ей о сем. Нина не металась в отчаянии; она плакала, но тихо, и скрывала грусть свою. Печаль же на нее столько подействовала, что она через несколько дней после того выкинула еще живого ребенка, который через несколько часов умер. Тут стали обвинять в сем Прасковью Николаевну, коей участие и принятое на себя звание возвестительницы столь печального происшествия могли только честь сделать [120]; ибо подобные порученности бывают самые неприятные. В числе обвинителей замешался и Мартиненго, человек, которого она всегда отличала; он находил, что ребенок мог жить и что он умер от нераспорядительности Прасковьи Николаевны. Сие произвело несколько разговора в городе, но тем и кончилось.

Правительство наше требовало выдачи тела Грибоедова, дабы похоронить оное с честью. То ли самое тело, или другое какое-либо, было привезено в Тифлис? Открывавшие гроб в Джелал-Оглинском карантине говорили мне, что оно было очень обезображено, порублено во многих местах и, кажется без одной руки, но сие уже было летом следующего 1829 года. Труп сей похоронили с надлежащей почестью у монастыря святого Давыда, построенного на горе за домом нашим. Вдова и все родственники ее, а также и наши, провожали гроб; многочисленная толпа тифлисских жителей, собравшихся без приглашения, следовала за печальным шествием. Там построили арку, которая видна из всего города. Грибоедов любил картинное место сие и часто говаривал, что ему там бы хотелось быть похоронену.

Нина осталась печальна, скрывала грусть свою и тем более вселила к себе участие. З[авилей]ский искал руки ее; но он заблуждался, когда надеялся, что добродетельная Нина могла выдти за него замуж [121].

Однако, правительство наше не могло оставить нанесенное оному поругание в убиении посланника без внимания. Персидский двор уверял, что несчастное событие сие приключилось без ведома оного, и что виновные будут наказаны; а между тем, по получаемым сведениям, известно было, что персидские войска собирались около Тавриса. Многие говорили, что мера сия была только предостерегательная на случай вторжения наших войск; но не менее того, брожение умов в Персии было чрезвычайное: хотели возобновить войну с Россиею, полагаясь на то, что мы были заняты войною с Турциею. И в самом деле, обстоятельства наши в Грузии в таком разе были бы несколько затруднительны; но с обеих сторон остались в покое. Нас точно занимала турецкая война, а персияне еще не забыли прошедших побед наших. Мы требовали выдачи виновников в смерти нашего посланника; нам обещались их выдать, но не выдавали и, наконец, не

выдали. Требовали, чтобы по крайней мере сын Аббас-Мирзы, Хозрой-Мирза, приехал для испрошения у государя прощения. И в том медлили, боялись его выслать в Россию; наконец его прислали в Тифлис уже в мае месяце 1829 года, без всяких наставлений от персидского двора и даже без позволения далее ехать. Паскевич отправил его почти насильно в Россию, против воли отца, и особливо деда его, с коими все велись переговоры по предмету сему и, наконец, Хозрой-Мирза получил уже в Царском Селе наставления от шаха относительно порученности, на него возлагаемой.

Всем известен прием, оказанный ему в Петербурге [122], речь его, сочиненная, вероятно, в иностранной коллегии нашей и напечатанная в ведомостях, в коей он просил от имени родителей своих прощения за убиение нашего посланника. Ему удалось еще, кроме того, выпросить у государя прощения 2 куруров из 8, наложенных в дань с Персии при заключении мира, что составляло 20.000.000 уступки с 80.000.000 [123], о чем и прежде персидский двор настоятельно просил, но чего Грибоедов не хотел уступить, и это было также причиною злобы на него персиян, которые, как к концу дела оказалось, достигли своей цели убиением посланника нашего. Причиною сего была, без сомнения, турецкая война, коею персияне искусно воспользовались тогда; но можно ли полагать, чтобы злодеяние их, коварство и нарушение всех прав народных остались впоследствии времени без наказания со стороны России?

Хозрой-Мирза возвратился из Петербурга в Тифлис уже в конце 1829 или в начале 1830 года; он не нашел у Паскевича приема, подобного тому, который ему оказывали в России: у нас лучше знали цену ему. Прихоти его не были всегда уважены, и он имел более одного раза случай вспомнить и о молодости своей и постичь ничтожность двора персидского; но вряд ли он мог сие уразуметь. Когда он приехал на границу Персии, его встретили еще с меньшей пышностью; он сожалел о Рос-

сии, где на него потратили миллионы. Но сие принадлежит уже к запискам следующего года, а потому и не буду здесь распространяться о сем предмете.

Место Грибоедова в Персии заступил князь Долгорукий, уже по возвращении Хозроя. Нельзя не приписать к умению его то, что он поладил с двором персидским; но я не полагаю, что он достиг того влияния, до которого Грибоедов отчасти уже добился. Впрочем, и персидский двор старался загладить вину свою; но, не менее, всякая похвала принадлежит первому водворившему опять в Персии звание посланника нашего, после умерщвления Грибоедова, и сие без сомнения было сопряжено с большою опасностью, ибо народ ненавидел нас и хвалился еще торжеством своим.

# IV

..Предстал товарищ мне,
Погибший в роковом огне...

К. Батюшков.

## РЕЛЯЦИЯ ПРОИСШЕСТВИЙ, ПРЕДВАРЯВШИХ И СОПРОВОЖДАВШИХ УБИЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПОСЛЕДНЕГО РОССИЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА В ПЕРСИИ [124]

Еще до сих пор, без сомнения, памятны те ужасные события, жертвой которых стали в феврале месяце 1829 г. русский посланник в Персии и его свита, и наши читатели заинтересуются, вероятно, рассказом, набросанным персиянином и содержащим любопытные подробности о русском посольстве со дня его выезда, 20 декабря 1828 г., из Тавриза в Тегеран и за все время пребывания его в этом городе до 11 февраля 1829 г.

Причисленный в качестве секретаря к мехмандарю [125], выбранному его высочеством Аббасом-Мирзой для сопровождения посольства, я выехал из Тегерана вместе со свитой хана 16-го числа месяца диуммади уль цани (22 декабря), чтобы присоединиться к Грибоедову в селении Тикмадаше, куда он выехал за два дня до нас. Это важное поручение было возложено на хана вследствие отказа, якобы за слабостью здоровья, Мирзы-Мусса-хана, который считал эту миссию для себя слишком низкой, потому ли, что был зятем шаха, или же по какой-либо иной причине.

Все было заботливо предусмотрено для того, чтобы в пути не оказалось недостатка в помещении и продовольствии; путешественники везде должны были встретить радушный прием со стороны местного начальства и сельских старост. На прощальной аудиенции принц преподал хану самые подробные инструкции и назначил в его распоряжение, с целью помочь ему в деле выполнения щекотли-

вого поручения и устранения всяких поводов к неудовольствиям, помощника фераш-баши [126], Магомед-Али-бега, с шестью подчиненными ему ферашами.

Хану уже и раньше приходилось встречаться с посланником, однако, по прибытии в Тикмадаш, он был принят посланником чрезвычайно сухо и снискал милостивое расположение и доверие русского посланника только после более тесного сближения во время путешествия и после многочисленных оказанных ему услуг. Причиной этой холодности был отказ Мирзы-Мусса-хана, высокое положение которого, значительно превосходившее положение моего начальника, более бы льстило русскому самолюбию.

Состояние путей и жестокая стужа делали наше путешествие неприятным и утомительным. Снег покрывал землю толстым слоем, — тем не менее, мы старались, поскольку это было возможно, добыть для посольства все, что могло оказаться ему необходимым и приятным, и смягчить ему неудобства путешествия в такое суровое время года.

Состав посольства был довольно многочислен. Помимо Грибоедова, в него входили: Мальцов и Аделунг [127] — первый и второй секретари посольства; врач; Дадаш-бег и Рустем-бег — заведующие прислугой (Дадаш-бег служил еще в Реште); конвой из 16 кубанских казаков и 30 человек прислуги — магометан, русских, грузин и армян.

Замечу здесь, что прислуга эта не была подчинена достаточно строгому надзору; особенно много жалоб вызывали грузины и армяне, поведение которых часто раздражало моих соотечественников.

Обязанности мехмандаря были тяжелы и неприятны; ежедневно приходилось запасаться всякой провизией, при чем мехмандарь имел право требовать все, что полагалось по годовому обложению. Все нужное он приказывал сдавать Рустем-бегу, который заведывал раздачей. Посольству требовалось в качестве ежедневного продовольствия: 1 бык, 1 теленок, 5 баранов, 30 штук птицы, 200 яиц, 84 фунта рису, 36 фунтов масла, 36 фунтов кислого молока, 12 фун-

тов сыру, 24 фунта леденцов, 3 фунта пряностей, 240 фунтов хлеба, 6 фунтов виноградного сока, 6 фунтов уксусу, 1 бутылка лимонного сока, 6 фунтов винограду, 3 фунта миндалю, 60 фунтов различных плодов, 18 фунтов чесноку, 3600 фунтов дров, 120 фунтов угля, 1800 фунтов ячменю, 3600 фунтов соломы, 18 фунтов сальных свечей, 6 фунтов молока, 300 фунтов вина и спиртных напитков. Стоимость всех этих припасов превышала 60 туманов или 75 голландских дукатов; они значительно превосходили потребность посольства и многих из них нельзя было достать в деревнях. В таких случаях Рустем-бег требовал возмещения деньгами, при чем брал даже сверх положенного, так что он нередко получал от 10 до 15 туманов. Мы не могли оправдывать подобного злоупотребления, но полагая, что Грибоедову об этом известно, закрывали на это глаза. Я подвел итог суммам, выплаченным Рустем-бегу во время нашего пути; он равнялся 160 туманам.

В Миане посольство было встречено Мирзой-Фата, гражданским представителем уезда, сыном Джигангир-хана (старшины племени Шагагни), вышедшим с этой целью из города.

Глубокий снег, покрывавший Кафлан-Кох, крайне затруднял нам переход через эту гору. В Зенджане посольство поместилось в доме Неджев-Кули-бега, сына Нассер-Уллах-Афшара, вице-губернатора, который, во главе большого числа всадников, выехал из города, чтобы приветствовать посланника; Мирза-Раффи, министр принца Абдуллы-Мирзы, посетил Грибоедова, который вернул ему визит. На следующий день Грибоедов был принят принцем, оказавшим ему самый милостивый прием. Сверх обычных подарков, состоявших из сладостей, плодов и различных яств, изготовленных на собственной его кухне, он подарил Грибоедову прекрасную лошадь. Мы получили от Абдуллы-Мирзы 15 лошадей для посольства взамен тех, которыми снабдил нас Аббас-Мирза и которые были утомлены; кроме того, зенджанские власти уплатили за наем 45 лошадей, взятых для доставки наших вещей до Казвина.

До перехода нашего через Кафлан-Кох, к начальнику моему явились, по приказанию Абдуллы-Мирзы, чиновники для содействия посольству; они оставили нас только после того, как мы выехали из владений принца. По прибытии в Сиахдахун — граница Казвина — мы были встречены другими чиновниками, высланными Алли-Нагги-Мирзой, оказывавшими нам те же услуги почти до самого Тегерана. Грибоедов никого из них не наградил; надо полагать, что средства его были весьма ограничены, если он не мог позволить себе даже такого небольшого расхода. Он никогда не дарил более одного или двух червонцев хозяевам, в домах которых останавливался, и это единственный известный мне пример его щедрости.

Мне никогда не забыть тех мучений, какие мы претерпели, и тех опасностей, каким подвергались при переезде по всему протяжению долин Султанэ. Было чрезвычайно холодно, лошади наши с трудом вытаскивали ноги из выпавшего в большом количестве снега, а сильные порывы ветра, сопровождаемые мелким градом и мокрым снегом, делали наше положение иной раз совершенно бедственным. Однажды мы потеряли из виду Грибоедова; он отделился от нас вместе с двумя казаками и присоединился к нам лишь поздно вечером. Иногда он с большей частью конвоя завершал денной переход скачкой; лошади не выдерживали ее и уже не годились для дальнейшего путешествия; нам приходилось заменять их другими, захватывая их у путешественников, имевших несчастие повстречаться с нами в пути. Мало-по-малу отношение к нам посланника сделалось благосклоннее, он стал оказывать некоторое доверие нашему хану и часто беседовал со мной. Это был человек одаренный и обладал многими добрыми качествами, но казался новичком в своей роли, не привыкшим начальствовать и лишенным достоинства в обхождении. Свита у него была подобрана плохо и, как я уже заметил выше, не была подчинена никакому контролю.

В Сиахдахуне мы застали Могаммед-хана Афшара, на которого шах возложил весьма почетное поручение. Предшествовавшей осенью он был отправлен в Адзербайджан для встречи Грибоедова при его переправе через Аракс и сопровождал его до Тавриза; но так как посланник пробыл в этом городе долее, чем предполагал, Могаммед-хан счел обязанностью возвратиться ко двору.

Из Казвина навстречу нам вышла многочисленная депутация; во главе ее находился министр Мирза-Набби-хан, в сопровождении многих начальников племен и при 300 всадниках. Здесь свита посланника пополнилась 5 шатиями (скороходы) и 10 ферашами (ставщики палаток). Принц прислал ему лошадь из собственной конюшни в роскошном чепраке. Квартира Грибоедову была приготовлена в новом доме, смежном с домом, занимаемым Мирзой-Набби; она предназначалась для дочери принца, которая готовилась вступить в брак с братом Мирзы. Празднества и угощение уже начались, и посланник присутствовал на одном обеде на европейский лад в его честь. Во время этих развлечений неожиданное происшествие чуть было не повлекло за собой величайших несчастий. Грибоедов привез с собой список мужчин и женщин, похищенных персами в русских владениях, и многие грузины присоединились к свите посланника, с целью добиться, при его посредничестве, освобождения своих родственников или друзей. Рустем-бег, агент по розыску этих пленных, узнал, что один из слуг Гуссейн-хана, последнего эриванского губернатора, привез в Казвин молоденькую немку; он потребовал ее выдачи. Слуга утверждал, что продал ее одному из купцов города; этот последний, будучи допрошен о судьбе пленницы, показал, что уступил ее одному сенду (потомку пророка), по имени Шейх-Абдул-Айсизу, двоюродному брату начальника духовного училища. Сенда разыскали; Рустем-бег, в сопровождении нескольких казаков и двух находящихся на службе у Мирзы-Набби-хана ферашей, привел его на площадь перед домом министра и стал там требовать от сенда, чтобы

он освободил эту немку, которая стала женой сеида и от которой у него было двое детей. После его отказа и тщетных угроз, Рустем-бег отдал приказание бить его кнутом, чтобы привести его к покорности. Все любопытные, привлеченные брачными празднествами, тотчас же сбежались к сеиду, громко выражая свое неудовольствие. Мирза-Наббн, оповещенный криками, немедленно вышел, чтобы пресечь могущий возникнуть беспорядок, и приказал Рустем-бегу прекратить истязания сеида, так как он не мог бы сдержать народного возмущения. Мой начальник, с своей стороны, поспешил явиться к Грибоедову, чтобы сообщить ему о происходящем; тем временем, Мирза-Наббн убедил сеида привести жену, и она явилась с двумя своими детьми; ее отвели к посланнику. Муж ее оставался на дворе, под окнами, с кинжалом в руке и заявлял, что заколет себя, если у него отнимут жену силой; если же она сама пожелает оставить его, он отпустит ее без сожаления. Аделунг, второй секретарь посольства, немец по происхождению, казалось, опасался, что эта женщина не обнаружит намерения возвратиться в Грузию. У хана было довольно продолжительное совещание с Грибоедовым, после которого он вошел в комнату, где находилась эта женщина, и спросил, желает ли она вернуться на родину или остаться в Персии. Она ответила, что если выбор предоставляют ей, то она предпочитает не расставаться с мужем и детьми. Получив такой ответ, Грибоедов приказал передать сеиду, что он может увести жену обратно.

Это проявление справедливости произвело сильное впечатление на присутствовавших, которые с нетерпением ждали развязки и тотчас же были о ней оповещены. В тот же день Мирза-Наббн пригласил Грибоедова к обеду и несколько раз принимался выражать ему признательность от лица жителей города за его поведение в отношении к сеиду.

На следующий день русским удалось обнаружить девочку лет семи или восьми, о которой посланнику дана была

особая записка, и освободить ее с большим трудом. Он отнесся к ней, как к родной дочери.

После трехдневного отдыха в Казвине мы выехали из этого города в сопровождении Мирзы-Наббн и значительного числа всадников. Принц предоставил в наше распоряжение нескольких своих офицеров с тем, чтобы они помогли нам в деле реквизиции.

В Рассиабаде, селении Казвинского округа, мой начальник имел случай выполнить одно щекотливое поручение, возложенное на него Аббас-Мирзой накануне его отъезда. Рустем-бег, по обыкновению, взыскивал деньги за провиант, которого ему не требовалось, и за предметы, которых нельзя было поставить; его претензии выразились в сумме 11 туманов. Подвергавшиеся подобному обложению обычно старались отделаться меньшим, независимо от того, были ли они в состоянии удовлетворить требование или нет. Таким образом, один старик, вместо одиннадцати туманов, принес семь. Раздраженный этим Рустем бешено ударил его, в порыве гнева, по голове. Подобное самоуправство вызвало что-то в роде возмущения между поселянами, и их неистовые крики были услышаны посланником, который вышел из своего помещения, чтобы узнать о причине шума. Тогда хан сообщил ему, что старик доставил Рустему меньшую сумму, нежели та, какая требовалась в виде возмещения за недостающие припасы, за что и был жестоко избит. Грибоедов оказался весьма удивленным таким поступком своего доверенного, сказал, что он в первый раз слышит об этом, и упрекнул хана, почему он не донес ему ранее об этих проделках. Хан полагал, что это было небезызвестно его превосходительству, тем более, что так было заведено с самого начала путешествия и что его секретарем ведется счет всем суммам, переданным Рустему, доходящий до 160 туманов. Грибоедов изъявил свое неудовольствие и сказал даже, что намерен, на обратном пути из Тегерана, возвращать на каждой остановке неправильно взысканные деньги. Хан счел этот момент удобным для

исполнения приказаний Аббаса-Мирзы, изложенного в таких выражениях:

«Засвидетельствуйте г-ну Грибоедову то чувство удовлетворения, какое я испытываю при сношениях с ним, вследствие его способа ведения дел. Ознакомившись с его дарованиями и опытом, я убеждаюсь, что сам он не сделает ничего, что могло бы нарушить доброе согласие, существующее между обоими правительствами; однако, я не питаю подобного доверия к сопровождающим его лицам. В их религиозных и личных настроениях я усматриваю огорчительное враждебное расположение, которое меня пугает. Убедите его держать их в строгом повиновении; он, вероятно, помнит, как, немного лет тому назад, я был вынужден просить об отозвании Дадаш-бега из Тавриза, где он мучил жителей постоянными притеснениями. Рустем-бег также весьма злой человек, и я крайне опасаюсь, чтобы он и ему подобные не втянули г-на Грибоедова в прискорбные распри и раздор».

Это предостережение было принято его превосходительством весьма благосклонно; он обещал, по возвращении своем из Тавриза, уволить находящихся у него в услужении армян и грузин, прибавив, что до этого времени он принужден сохранить их при себе.

При этом случае я имел честь снискать полное расположение Грибоедова. Едучи верхом, он часто разговаривал со мной. Однажды разговор коснулся того, как трудно держать подчиненных в должном повиновении; я обратил его внимание на то, что прислуга в Персии обязана относиться к своим господам с большой почтительностью и что это обыкновение имеет свои ощутительные выгоды, что оно не позволяет им забывать своего места и внушает им большое уважение и почтение к другим. «Англичане», прибавил я, «с которыми мне случалось в разные времена быть в тесных отношениях, отлично понимают эту отрасль домашней дисциплины». Я привел ему в пример, что прислуга английского посольства, хотя и весьма

многочисленная и разноплеменная, настолько хорошо дисциплинирована, что там редко кто-либо отваживается на предосудительный поступок, столь обыкновенный для челяди знатных сановников.

Мы достигли, наконец, окрестностей столицы, но, вместо того, чтобы направиться из Селлимании прямо в Тегеран, мы остановились в деревне Кенд, в 8 милях от него, с целью надлежаще подготовить въезд посланника. Все оделись в лучшее платье; были выбраны четыре или пять красивейших лошадей, чтобы предоставить их его превосходительству. Церемония должна была произойти в воскресенье 5-го реджеба, когда солнце находилось в созвездии Скорпиона, что считалось неблагоприятным знамением. Я указал хану на это мрачное обстоятельство, тяготевшее над нашим въездом. Он ответил мне на это, что франки[128] не верят астрологии, поэтому уговаривать их отложить въезд, ссылаясь на такую причину, было бы напрасной тратой слов.

Не доезжая двух или трех миль до города мы встретили нескольких придворных конюхов, которые вели богато разубранных лошадей, нескольких скороходов и значительное число другой прислуги. Это прибавление к штату посольства сообщило кортежу еще большую внушительность. Принять посланника было поручено Могаммед-Велли-хану, начальнику Афшарского округа, ехавшему во главе значительного кавалерийского отряда. Его сопровождали двое его родственников: Амманула и Габбидула-хан, выдающиеся офицеры, за которыми следовал другой отряд, под начальством Мирзы-Могаммед-Али-хана, министра губернатора, принца Али-Шаха, а за ними тянулось множество почетнейших жителей.

Посланник остановился в прекрасном доме покойного Могаммед-хана-Замбор-Экчи-баши, великолепно приготовленном для приема, с баней и всевозможными удобствами. В главных комнатах были расставлены подносы с плодами, сластями и вареньями. В доме находилось несколько отдель-

ных больших и малых помещений, и потребовалось не мало времени, чтобы разместить всех членов посольства соответствующим образом. Мирза-Абул-Гуссейн-хан, племянник министра иностранных дел, был назначен исправлять должность мехмандаря. В течение всего дня он находился в беспрерывном движении, следя за точным выполнением приказаний начальства. Посланнику был назначен почетный караул, состоящий из отряда фураган [129], в числе 80 человек, под командой Могаммед-Али-Султана; его брат Гади-Бей, начальник этого отряда, ежедневно поверял караул. Сверх того, для услуг его превосходительства было отряжено 15 шахских ферашей, которых разместили на переднем дворе, для того, чтобы они отгоняли назойливых любопытных. Хан был помещен в посольстве вместе со мной, хотя его обязанности мехмандаря и прекратились с момента нашего въезда в Тегеран.

На следующий после приезда день посланник сделал свои первые официальные визиты; он начал с Мирзы-Абул-Гассан-хана, министра иностранных дел, одного из важнейших сановников государства, потом посетил и других крупных чиновников, по положению почти равных этому министру: Мирзу-Могаммед-Али-хана, брата его Могаммед-Бакер-хана и Махмуд-хана, капитана гвардии и обер-церемониймейстра; все было выполнено достодолжным образом; в тот же день его превосходительству было доставлено значительное количество плодов, варенья и сладостей.

Весь церемониал представления шаху был разработан с общего согласия и имел место в среду, в 8-й день месяца реджеба. Около полудня обер-церемониймейстер Махмуд-хан прибыл за посланником, чтобы сопровождать его во дворец; для большего почета при нем была свита из 8 нессекчиезов, 15 зарший [130] и 11 ферашей; Грибоедов сел на лошадь из придворных конюшен, приведенную конюхом шаха. Пока процессия медленно тянулась по бесконечным базарам столицы, торговцы приветствовали

посланника по-европейски, стоя и обнажив голову, и, когда он проезжал внутренние дворы, приближаясь к зеркальному залу, где шах восседал на троне во всем блеске своего величия, сановники его величества пребывали в почтительном благоговении. Я мог следовать за Грибоедовым только до ворот сада зеркального зала, откуда он и вышел спустя 50 минут. Я узнал, что он вручил шаху свои верительные грамоты и что церемония вызвала общее удовлетворение; однако, некоторые шептались по поводу того, что Грибоедов слишком долго оставался перед его величеством сидя. Шах был в короне, и на нем были самые прекрасные его драгоценности; тяжесть их до того утомила его величество, что по окончании аудиенции он поспешил освободиться от этих блестящих знаков шахского величия.

По выходе из дворца Грибоедов изъявил желание посетить принца-губернатора, но это посещение пришлось отложить, потому что тот не имел еще разрешения принять посланника. Тогда Грибоедов приказал проводить его к Аммин-эд-Даулэ, которого считал, как я узнал впоследствии, первым министром государства и который оказывал ему внимание, достойное его звания. Свидание с министром иностранных дел состоялось только спустя два или три дня после официальных визитов. Все удивлялись тому, что Грибоедов не старался завязать отношений с Мирзой-Абдул-Вагабом (Моатемид-эд-Даулэ), одним из первых министров, всеми уважаемым за свою ученость и превосходные качества; по своему званию и власти он нисколько не уступал своему сопернику Аммину.

Принц-губернатор, желавший уклониться от чести принимать посланника, предложил, чтобы этот визит состоялся в один из тех дней, когда шах выедет из столицы; однако, в конце концов, он уступил упорным настояниям его превосходительства.

До второй аудиенции у шаха, состоявшейся через 12 или 14 дней по нашем приезде, весь двор был занят

только тем, как бы доставить удовольствие посланнику. Аммин-эд-Даулэ, Мирза-Абул-Гассан-хан и Мирза-Могаммед-Али-хан старались превзойти один другого в блестящих празднествах и угощениях посольству; тут было какое-то соревнование, воодушевлявшее и занимавшее этих знатных особ; всюду были пиры, иллюминации, фейерверк. Однако, я стал примечать, что дружеское расположение понемногу слабеет. При второй аудиенции посланник вручил шаху копию с заключенного мирного договора, при чем снова было замечено, что он опять слишком долго сидел в присутствии его величества. Выражение *мерраджат* (отпуск), употребленное шахом, когда ему показалось, что аудиенция продолжается слишком долго, было сочтено Грибоедовым за явную обиду, нанесенную ему как представителю императора всероссийского, да и самому ему лично. В ноте на имя министра иностранных дел он резко намекнул на неуместность этого выражения, и хотя министр, в ответной ноте, разъяснил, что слово *мерраджат*, в общем значении, не имеет ничего оскорбительного и даже невежливого, это объяснение не было сочтено удовлетворительным. С своей стороны, Гассан-хан счел себя вправе сделать некоторые замечания посланнику по поводу того, что он в своей переписке именует повелителя просто шахом (*киднети шах*).

Я не мог дознаться в точности о сущности споров, возникших по поводу договора. Говорили, будто шах возражал против некоторых статей, показавшихся ему слишком стеснительными, и будто Грибоедов заявил, что не может ни изменить, ни смягчить их. Впрочем, обязательства, вытекавшие из этого договора, тяжкие ли, нет ли, были подвергнуты самому тщательному рассмотрению, утверждены той и другой стороной и стали непреложными.

Произошло несколько довольно серьезных столкновений между представителями населения и слугами посланника; прислуга одного важного персиянина избила слугу посольства, по имени Александра, любимца и молочного

брата Грибоедова; она спаслась от ожидавшего ее заслуженного наказания бегством из города. В другой раз на базаре разбили бутылку с водкой, принадлежавшую одному казаку, может быть и случайно, однако, возможно, что и умышленно, так как все жаловались на поведение посольской прислуги. Виновник был схвачен и строго наказан местной полицией.

По приказанию Мирзы-Абул-Гассан-хана выдача продовольствия посольству происходила каждое утро, но с прибытием в столицу порции были уменьшены наполовину против того, что отпускалось во время пути.

В первые дни у русского министра армян не было видно; действительно, фераши не допускали их, но, мало-по-малу, распоряжения, данные на этот счет, стали обходить. Сперва дозволили свидание друзьям Мирзы-Нарримана [131], потом Рустем-бега, и, наконец, разрешение было дано для всех и распространилось даже на грузинских купцов, проживавших в каравансарае.

Дадаш-бег был послан из Тавриза в порт Энзели, для наблюдения за доставкой подарков, предназначенных шаху императором. Им надлежало прибыть ранее посольства, но они, не знаю почему, были задержаны некоторое время в Астрахани. Я узнал позднее, что судно, на котором они находились, появилось в Ленкорани и, по неизвестным мне причинам, зашло в небольшую гавань Сарри-Пучтах. Замедление в прибытии этого драгоценного груза было, конечно, весьма неприятно; он произвел бы самое благоприятное впечатление на шаха и его министров и отвлек бы их внимание от некоторых мелочей, ибо ничто не доставляет моим соотечественникам такого удовольствия, как подарок, независимо от его ценности.

Так как страстным желанием Грибоедова было возвратиться к своей семье в Тавриз, то между ним и министрами шаха было решено, что он покинет столицу в самом скором времени и что он оставит там своего первого секретаря Мальцова и переводчика Мирзу-Нарримана, на

которых и будет возложена передача подарков. Однако, мне как-то не верилось, чтобы Грибоедов не привез с собой на всякий случай каких-нибудь безделиц для подарков; и точно, я вскоре узнал, что он поднес шаху двадцать пять монет из платины, а также пятнадцать Аммину, десять — Мирзе-Могаммед-Али-хану и пять — Мирзе-Абул-Хассан-хану.

Прошло только три недели с момента нашего приезда в Тегеран, а взаимное расположение изменилось уже настолько, что Мирза-Нарриман сказал мне однажды:

— Какая перемена! Какая холодность! Надо ехать... Пора!

Обязанности посланника были в некотором отношении весьма затруднительны; человек 9 или 10 армян, родственники которых были похищены персиянами, последовали за ним из Тавриза, осаждая его просьбами об освобождении пленников, так что он не мог показаться без того, чтобы его не преследовали назойливые просители. И только успевал он выручить одну из похищенных жертв — к нему поступали новые просьбы. Освобождение этих несчастных сильно раздражало тех, у кого их отнимали; в большинстве случаев они были приобретены за деньги, а за них не уплачивалось никакого выкупа. Таким образом, в Казвине, в Зенджане и в самой столице были возвращены многие из похищенных.

Когда день отъезда Грибоедова был окончательно назначен на 27-е число месяца реджеба, Зограб-хан, казначей шаха, привез предназначенные шахом посланнику и его свите подарки.

Посланник получил орден Льва и Солнца 1-й степени, украшенный алмазами, золотое с финифтяной отделкой ожерелье к тому же ордену, богато вышитую большую кашемировую шаль, две другие превосходного качества, жемчужное ожерелье, мешок с тысячью голландских червонцев, прекрасную лошадь с золотой уздечкой, украшенной драгоценными камнями, золотую цепь и седло, сплошь покрытое золотом.

Первый секретарь посольства, Мальцов получил орден Льва и Солнца 2-й степени с алмазами, и две шали.

Второй секретарь — орден Льва и Солнца 2-й степени с алмазами и две шали.

Грузинский князь — орден Льва и Солнца 2-й степени с алмазами и две шали.

Мирза-Нарриман — две шали.

Дадаш-бег — орден и кашемировую шаль.

Наконец, казачьим офицерам были розданы золотые медали, а солдатам серебряные.

Все члены посольства были в восторге, получив эти бесчисленные доказательства щедрости персидского монарха; только одно лицо не разделяло общего удовольствия, именно Рустем-бег, обращенный грузин, три раза менявший веру; он считал себя равным Дадаш-бегу, а ему не дали ни ордена, ни шали, и я слышал, как он, в порыве неистового гнева, восклицал: «Неужели же я менее достоин внимания, чем этот глупец Дадаш, который ничего не смыслит! Уж я дам ему себя знать! Такую заварю кашу, что голова у него слетит с плеч!»

Посланник приказал выдать Зограб-хану, доставившему награды и подарки шаха, 200 червонцев. На следующий день имела место прощальная аудиенция, и все новопожалованные кавалеры были при орденах. Эта аудиенция сошла довольно благополучно, однако, шах опять употребил слово *мерраджат*, которое так не нравилось его превосходительству и которое казалось ему столь же оскорбительным, насколько оскорбительно было для монарха то упорство, с каким посланник продолжал сидеть в кресле, и та непринужденность, с какой он держал себя в его присутствии.

Наконец, все дела были закончены, представитель российского императора был принят с должным отличием, его осыпали почестями, все были, повидимому, довольны, и я также радовался приближению нашего отъезда, ибо частые встречи с моими соотечественниками позволяли мне

заметить, что тайное возмущение зарождалось уже в их сердцах. Одно особое обстоятельство заставило меня заподозрить, что в отношениях между двором и Грибоедовым произошло значительное охлаждение. Я хотел купить для Мальцова лошадь у офицера, состоявшего в свите шаха. Мы сошлись в цене, я отправился к владельцу лошади для вручения ему денег и ружья, которое Мальцов посылал ему в подарок, но офицер сказал мне, прося извинения, что, к крайнему его сожалению, он не может продать мне лошадь, так как это могло бы вызвать неудовольствие шаха; чтобы не показаться неучтивым, он принял ружье, однако, через несколько дней прислал его мне обратно.

Все было готово для отъезда в назначенный день; были наняты волы для перевозки нашего груза. Мирза-Нарриман показал мне роспись на 1.700 туманов, предназначавшихся Грибоедовым для распределения среди мехмандарей, офицеров, слуг и стражи. Он был в восторге от одной мысли увидеть вскоре свою молодую дорогую супругу грузинскую княжну, отличавшуюся чрезвычайной красотой; это было постоянным предметом его разговоров; мы разделяли его радость, будущее представлялось нам блестящим, как прекрасное летнее солнце; но вскоре горизонт наш омрачился.

Вечером того дня, когда Зограб-хан доставил *калаати* (подарки шаха), в дом посланника явился, в сопровождении слуги, евнух Мирза-Якуб [132]. Он обратился к Мирзе-Нарриману, который минуту спустя доложил Грибоедову, что Мирза-Якуб желает возвратиться на свою родину, в Эривань, и что он отдает себя под покровительство русских законов. Грибоедов ответил, что не может принять человека, который воровски, под покровом ночи, входит в его дом, что он должен немедленно удалиться, и что если намерение его неизменно, он может явиться вновь на следующее утро. Мирза-Якуб повиновался, но на следующий день явился опять со слугой и в сопровождении Мирзы-Нарримана, вышедшего из дому на рассвете. Ему

отвели помещение во дворе, прилегающее к дому, который занимал Грибоедов.

Этот человек, появление которого среди нас послужило причиной таких ужасных несчастий, родился в Эривани, от родителей низкого происхождения и теперь еще проживающих в этом городе. Отец его был армянин, садовник Могаммед-хана, наследственного правителя этой провинции. Он был схвачен и увезен в Тегеран в 1226 (1808) г., когда генерал Цицианов [133] осаждал] Эривань, и тогда же определен в сераль Гольден-Исмаил-хана. Спустя несколько лет после того, как этот сановник подвергался опале, Мирза-Якуб поступил на службу шаха и постепенно заслужил доверие монарха, осыпавшего его милостями; в то время, о котором я говорю, Якуб занимал важную должность казначея и главного хранителя всех бриллиантов и драгоценных камней гарема.

Зная, какие чувства питают наши соотечественники к этому роду людей и будучи убеждены, что шах, из одного чувства самолюбия, скорей согласится развестись с одной из своих жен, нежели отпустить от себя Мирзу-Якуба, мы ужаснулись неизбежным последствиям приема, оказанного посланником евнуху. Рассматривая это дело со всех сторон, мы выяснили, что в силу последнего мирного договора Грибоедов имел право принимать под свое покровительство лиц, пожелавших вернуться на русскую территорию; с другой же стороны, мы никак не могли допустить, чтобы гордость царя царей и строгие законы гарема позволили бы шаху оказать в этом случае послабление, столь несходное с его представлениями о собственности и способное унизить его в глазах подданных. Он уже перенес достаточно унижений из-за последней войны и упал в их мнении; он, так сказать, собственноручно отдал значительную часть своих сокровищ, столь долго собираемых, а теперь должен был отказаться от прав над рабом, обязанности которого отличались особенно деликатным характером, которому были известны все его домашние

тайны и который мог сообщить самые подробные сведения о его богатствах, заключавшихся в золоте, серебре и драгоценных камнях.

Русское правительство ничего не выигрывало, в смысле своего могущества, оказывая покровительство такому человеку, как Мирза-Якуб; нам оставалось предполагать, что в действиях посланника скрываются намерения, враждебные интересам Персии. Если же подобные намерения не имели места, то почему было не уговорить этого несчастного сохранить свое положение, во сто крат превышающее его достоинства. Мы терялись в догадках.

Как только министры и Манучир-хан [134], главный начальник евнухов, узнали о бегстве Мирзы-Якуба и о месте его нахождения, они тотчас же обратились к посланнику, указывая ему на все неприличие укрывания подобного беглеца. Последний, оставаясь при своем решении, согласился, однако, благодаря ли совету Грибоедова, или увериям, что ему не будет сделано никакого зла, явиться, в сопровождении Мальцова и переводчика Мирзы-Нарримана, к Манучир-хану, чтобы объясниться с этим последним относительно своего намерения возвратиться на свою родину, в Эривань. Свидание обошлось как нельзя лучше, казалось даже, что Манучир-хану удалось победить упорство подчиненного, ибо он, вместо того, чтобы вернуться в посольский дом, отправился на свою квартиру; однако, вечером того же дня он опять явился в дом посланника с разными домашними вещами — постелью, коврами, посудой и пр. и расположился тут окончательно.

Гроза надвигалась. На следующий день дом Мирзы-Якуба был, по повелению шаха, запечатан, а Грибоедову было официально сообщено, что этот несчастный скрылся, не отдав отчета в сумме от 30 до 40 тысяч туманов. Я не могу теперь припомнить в точности, когда именно, в какой день и час имели место различные обстоятельства, сопровождавшие это печальное событие. Вечером, уже довольно поздно, Рустем-бег сделал попытку перевезти остальные

вещи, украшавшие квартиру Мирзы-Якуба. Он взял с собой несколько слуг с мулами и, сорвав наложенные на двери дома печати, уже сдвинул кой-какую мебель, чтобы увезти ее, как вдруг появилась стража, разбуженная дерзким вторжением, и воспротивилась его намерениям с проклятием и угрозами, каковые скоро перешли бы в действия, если бы Рустем не удалился.

До сих пор Грибоедов обнаруживал некоторую склонность удовлетворить министров, не выходя, однако, из границ своих полномочий. Опасение подвергнуться строгому наказанию и даже смерти препятствовало Мирзе-Якубу вернуться к своим обязанностям; равным образом, он сопротивлялся убеждениям посланника, уговаривавшего его отправиться в Тавриз и поступить на службу к Аббасу-Мирзе. Мой начальник, находившийся у Манучир-хана в то время, когда Мальцов и Мирза-Нарриман отводили к нему Мирзу-Якуба, нашел этого последнего весьма раздраженным оскорблениями, нанесенными ему, когда он переходил через внутренние темные проходы, которые вели к покоям; несколько слуг гарема осыпали его ругательствами и плевали на него, да и одежда Мирзы-Нарримана порядочно потерпела от их наглости. Вот что отвечал Мирза-Якуб на обвинение в краже денег и драгоценностей: «Надо не иметь ни бога, ни совести, чтобы возвести на меня подобную подлость!» Это значило подлить масла в огонь; неуместное его возражение повлекло за собой горькие замечания, и хан, видя, что спор между раздраженными людьми только осложнит затруднение, приказал Рамазан-бегу, ферашу шаха, отвести Мирзу-Якуба обратно в посольский дом и смотреть, чтобы ему не было нанесено оскорблений. Вскоре после того он последовал за ними и сам.

Грибоедов обнаружил крайнее негодование на обиды, нанесенные обоим мирзам.

— Они плевали не на Мирзу-Якуба,—воскликнул он,— они плевали прежде всего на императора, а потом на меня! Такое положение вещей не может быть терпимо!

Хан всячески старался умерить справедливый гнев посланника, говоря ему, что оскорбление нанесено людьми слишком низкого звания и потому достойно презрения, так же, как и оскорбление, нанесенное Мирзой-Якубом религии тех людей, с которыми он имел столкновение и которые по своему положению заслуживают некоторого снисхождения. При этих словах Грибоедов, еще не успокоившийся от волнения, обратился к Мирзе-Якубу и спросил его, как у него хватило дерзости коснуться святых вещей и как священное слово «бог» могло вырваться из его уст. Якуб, снова отвергая возведенное на него обвинение в краже, дерзко заявил, что он только выразил свое мнение, сказав, что у тех, кто возводит на него столь злостное обвинение, нет ни совести, ни бога.

После подобной сцены нельзя было и думать о примирении и дружеском объяснении.

Около 29-го числа месяца реджеба Грибоедову назначена была частная аудиенция у шаха, которая не дала сколько-нибудь удовлетворительных результатов. Однако, было решено передать возбужденное против Мирзы-Якуба обвинение на рассмотрение суда под председательством Мирзы-Месиха [135], верховного муллы Тегерана. Мирза-Якуб представил против этого решения некоторые возражения, справедливо основываясь на том, что по магометанским законам нет пощады тому, кто отрекся от ислама, ибо уже один этот поступок является преступлением, наказуемым смертью. К тому же Мирза-Якуб осмелился отозваться самым неуважительным образом о домашней жизни шаха и его многочисленного семейства и коснуться в своей критике справедливости и святости духовных особ. Я помню, как он рассказывал однажды случаи из жизни гарема, которые должен был бы хранить в тайне; я даже прервал его, заметив ему, что милости, которыми он столько времени пользуется у шаха, по меньшей мере должны были бы заставить его молчать о тех предметах, о которых он говорит столь необдуманно.

Грибоедов поступил не совсем осторожно, уделяя Мирзе-Якубу слишком много внимания, и в этом его можно было бы справедливо упрекнуть. Евнух обедал с ним за одним столом, или же кушанья, приготовленные на кухне министра, подавались ему в его комнату; он уже не хотел обедать с нами, опасаясь, как он говорил, чтобы его не отравили.

Шах, между тем, повидимому, отказывался от мысли вернуть беглеца, а равно и двух или трех слуг, которых тот увлек с собой; с другой стороны, Грибоедов был уведомлен, что шах взял назад свое согласие на то, чтобы Мальцов и Мирза-Нарриман, по отъезде посланника, имели пребывание в столице, опасаясь каких-нибудь неприятных столкновений, могущих возникнуть вследствие их неопытности в делах.

1-го числа шаббана-месяца Мирза-Якуб, в сопровождении Мальцова и Мирзы-Нарримана, отправился, как было условлено, к Мирзе-Мессиху. После того как он прождал там по меньшей мере с час, ему дали знать, что верховный мулла не совсем здоров и не может его выслушать. Итак, эта попытка была бесполезна.

Около дома столпилось множество народу; как я узнал, Мирза-Мессих рассудил не принимать его, боясь не сдержать справедливого негодования и назвать в раздражении Мирзу-Якуба неверным (*каффир*), дав тем самым народу повод забросать его камнями и вызвать неистовство.

Указания Мирзы-Якуба позволили снова деятельно заняться поисками попавших в плен жертв, главным образом, одной христианки, по имени Талаань, славившейся своей красотой. Стали также понуждать Мати-Кули-хана, сына Гуссейн-хана, последнего эриванского губернатора, к освобождению нескольких женщин, относительно которых было известно, что он привез их с собой, или же присланных ему из этого города в подарок его отцом. Двух из них он уступил Али-Яр-хану, бывшему первому министру; он просил, чтобы последний позволил Грибое-

дову убедиться, согласны ли они возвратиться на родину; тогда он, Мати-Кули-хан, освободится от постоянных нареканий русских. Бывший первый министр, желая доказать, что помнит услуги Грибоедова в бытность свою в плену в Тавризе, охотно согласился на это предложение. В результате этого, несколько армян, присоединившихся к свите посланника с целью вырвать родственников из рабства, отправились в сопровождении Рустема и Ага-Могаммед-Али, помощника фераша-баши принца Аббаса-Мирзы к Али-Яр-хану. Им вывели молодую женщину и девочку лет 13-ти или 14-ти, но никто их не признал, и они не изъявили никакого желания оставить своего настоящего покровителя. Али-Яр-хан, во избежание дальнейших посещений, пригласил из предосторожности нескольких уважаемых своих сограждан присутствовать при свидании, дабы, в случае нужды, они могли подтвердить происшедшее.

Вечером того же дня Могаммед-Али посоветовал мне предупредить Грибоедова через посредство хана относительно возможного выступления со стороны Рустем-бега по поводу этих женщин, так как он во всеуслышание заявил, что освободит младшую из них, хотя бы это стоило ему жизни. На следующий день, рано утром — не могу сказать, было ли это известно посланнику—Рустем явился к Али-Яр-хану с письмом от своего начальника, который предлагал ему прислать этих двух пленниц в посольский дом, для того, чтобы министр мог лично убедиться в их истинных желаниях. Их отпустили без особых колебаний, в сопровождении нескольких слуг и Могаммед-Тахикс-бега, который собирался жениться на молодой девушке. Последнему не было разрешено войти в посольский дом, а товарищам его не позволили вступить даже и во двор. Допрошенные Грибоедовым, обе женщины решительно ответили, что не имеют желания оставлять Тегеран. Однако, в злополучную минуту, они согласились на вкрадчивое предложение Рустема остаться день-другой в посольском доме. Не будучи больше на глазах своих повелителей и не испыты-

вал над собой никакого гнета, женщины вспомнили свою прежнюю веру и родину, и привязанность к ним взяла верх над их осторожностью. Они были препоручены попечениям и надзору Мирзы-Якуба и помещены в отделении, смежном с его собственным, к которому были приставлены двое часовых из фераханов (пехотинцы), дабы воспрепятствовать всякому с ними сообщению. Слуги Али-Яр-хана тщетно пытались возражать против такого нарушения обещаний и ушли домой, оплакивая доверчивость своего господина.

Искренняя привязанность, питаемая нами к Грибоедову, заставила нас весьма скорбеть об этих насильственных действиях. Зная отлично общественное мнение, мы не сомневались в том, что существующего уже раздражения было достаточно, чтобы сделать его положение весьма опасным.

Наш народ жесток, свиреп, вспыльчив и нерассудителен, его хорошо можно сравнить с кремнем, который при малейшем ударе рождает искру.

Мой начальник не мог долее скрывать своих опасений, он убедительно просил Грибоедова отпустить пленниц к Али-Яр-хану, выставляя ему на вид пользу подобного примирительного поступка, но все его просьбы и настояния оставались бесполезными; Грибоедов дал ему даже, с некоторой горестью, почувствовать, что его вмешательство ему весьма неприятно. Хан, справедливо обиженный, не виделся два или три дня с посланником, который, наконец, послал просить его к себе, и они вскоре помирились. Мирза-Матти, секретарь шаха, несколько раз пытался объясниться с Грибоедовым по поводу Али-Яр-хана; министр иностранных дел употреблял все усилия, чтобы уладить дело Мирзы-Якуба, но Грибоедов ничего не хотел слышать.

На третий день пребывания в посольском доме женщины изъявили желание отправиться на родину, в местечко Кара-Клиссы, на границе Эриванской провинции. Чистосердечно ли было это желание, мне неизвестно, знаю

только, что, благодаря посредничеству персидских агентов, они находились в постоянных сношениях с слугами Али-Яр-хана, которые все время бродили возле их нового жилища. Могаммед-Тахикс-бег, нареченный молодой девушки, часто заходил в мою комнату вместе с одним доверенным лицом Али-Яр-хана, но Мирза-Якуб сообщил мне, что эти посещения не нравятся посланнику, и я вынужден был положить им конец.

Отъезд наш окончательно был назначен на 7-е или 8-е число шаббана; 5-го числа, в полдень, женщины, по распоряжению Рустема, были отправлены в баню, которая хотя и помещалась в посольстве, однако находилась в отдельной пристройке. Это было верхом безрассудства; на возвратном пути слуги Али-Яр-хана пытались захватить их силой, и если Грибоедову и не было известно о том, что они отправлены в баню, то шум, поднявшийся после того, как они оттуда вышли, должен был оповестить его об этом. Я узнал потом, что он тщетно выговаривал и тщетно грозил лицам своей свиты, все более и более усложнявшим его опасное положение. Позорящие его репутацию слухи быстро разнеслись по разным частям города. Были оповещены все муллы, и в тот же вечер Мирза-Мессих председательствовал на совещании мулл в одной из главных мечетей города.

Муллы объявили, что всякому терпению есть пределы, что религии их нанесено оскорбление, их повелитель унижен и самые священные их права попраны, и было единогласно решено немедленно отправить депутацию к губернатору, принцу Али-шаху, и предупредить его, что если русский министр не согласится выдать Мирзу-Якуба и двух женщин, то народ вырвет их из посольского дома силой. Его высочество убедительно просил воздержаться от каких-либо насильственных мер до окончательного решения посланника.

Узнав о том, что произошло в мечети, я оповестил об этом Мирзу-Нарримана в таких выражениях, которые, как

мне казалось, могли бы убедить его в предстоящей опасности. Он посмеялся над моим беспокойством и сказал:

— Мы — словно амберакские верблюды, которые уже привыкли к запаху пороха!

Припоминаю еще об одном разговоре с ним. Однажды он показал мне официальную ноту, адресованную, по приказанию посланника, министрам шаха. Ничего важного она в себе не заключала, но слово «шах» было проставлено в ней без какого-либо другого титула, что удивило меня. Я заметил ему, что было бы гораздо приличнее написать «его величество шах», или «царь царей», или «покровитель мира»— выражения, требуемые вежливостью и с незапамятных времен принятые нашими государями.

— Другие европейские страны,—прибавил я,—особенно Англия, никогда не упоминают имени шаха иначе, как с отменной почтительностью. Почему бы и русским уполномоченным не прибегнуть к подобной формуле вежливости?

— О, это большая разница! — возразил Мирза: — Россия находится в таком положении, что может приказывать, тогда как Англия ничего не может добиться от вас иначе, как угождением и лестью!

В течение вторника 5-го шеббана Мирза-Абдул-Вагаб изъявил желание встретиться с Грибоедовым у Могаммед-Велли-хана Афшара для решения этого злополучного дела.

— Надо спешить,—говорил он, — и не допустить разрыва между двумя могущественнейшими государствами, а также смерти многих добрых людей из-за двух бедных женщин и такого ничтожного существа, как Мирза-Якуб!

Горестные события, происшедшие в среду 6-го шаббана, никогда не изгладятся из моей памяти; они разрастались с такой быстротой и так осложнились, что рассказ мой невольно будет страдать длиннотами и беспорядочностью при описании ужасного мятежа, которого я был печальным свидетелем.

С восходом солнца мой начальник и Мирза-Нарриман получили от губернатора, принца Али-шаха, приглашение немедленно прибыть к нему по одному весьма важному делу. Грибоедов еще спал, и прошло добрых два часа, раньше чем Мирза-Нарриман выслушал его инструкции. Хан, имея в виду устроить условленное накануне свидание между Мирзой-Абдул-Вагабом и Грибоедовым, вышел из дому первым, предупредив Мирзу-Нарримана, что присоединится к ним у принца.

Рано утром я узнал, что у главной мечети, где снова собрались муллы, образовалось целое скопище народа. Муллы велели закрыть на базаре все лавки и приказали правоверным отправиться в русский квартал и добиться, добром или силой, выдачи двух женщин и Мирзы-Якуба. Двое честных купцов-грузин, видя готовящееся возмущение, бросились к посланнику, чтобы предупредить его о приближении неистовой толпы и о ее злодейских намерениях; с другой стороны, Манучир-хан, по повелению шаха, полученному им ночью, поспешил отправить своего племянника, Мирзу-Селлимана-Маллейкафа[136], к посланнику, чтобы откровенно сообщить ему о настоящем положении дел и просить его немедленно отказаться от покровительства беглецам, выдачи которых требует неистовствующая чернь.

Четыреста или пятьсот человек, предшествуемые толпою мальчишек и несколькими исступленными, потрясавшими палками и обнаженными саблями, направились от мечети к жилищу посланника. Мирза-Селлиман с трудом успел опередить их и сообщил — однако, уже поздно — о предполагавшемся насилии, а Мирза-Нарриман, пытавшийся выехать из дому, чтобы отправиться к принцу-губернатору, вскоре вернулся перепуганный домой, куда я был призван для окончательных распоряжений, относящихся к отъезду. Дождь камней падал уже во дворы, и крики толпы сливались временами в одно общее *ура*. Крики заставляли нас холодеть от ужаса, и мы спрашивали себя, чем все это кончится.

Казалось, над иностранцами тяготела железная рука судьбы. Я не обнаружил в них ни твердой воли храбро защищать свою жизнь, ни достаточного присутствия духа, чтобы попытаться избегнуть опасности, покорившись требованию народа или прибегнув к какому-либо иному средству.

В комнате Грибоедова находились Аделунг — второй секретарь, врач, грузинский князь — двоюродный брат супруги Грибоедова. Мирза-Нарриман, два купца-грузина, Рустем, Ага-Могаммед-Али — фераш-баши Аббаса-Мирзы, довольно многочисленная прислуга и казаки-конвойцы оставались частью во дворе, частью в соседних комнатах, где находился и я.

Дом Могаммед-хана весьма обширен и разделен дворами, вдоль которых высятся строения. Отделение, занимаемое Грибоедовым, состояло из большой гостиной с передними по обеим концам, и двух небольших других комнат. Посредством кровли и дворов оно сообщалось с помещением, отведенным Мирзе-Якубу, которое предшествовало помещению посланника.

Волнение увеличивалось все более и более; раздалось несколько выстрелов, и вскоре народ ворвался во дворы. Я слышал, как кто-то крикнул: «Схватите Мирзу-Якуба и назад»! Впоследствии я узнал, что это кричал Хаджи-бег, мирза, который старался усмирить осаждавших, предоставив им эту жертву. Несчастный Якуб уцепился за платье Хаджи — единственное и недостаточное в этот роковой момент убежище! — но его оторвали от него, и он упал, пораженный бесчисленными ударами кинжала. Слуги Али-Яр-хана схватили женщин и потащили их прочь.

Во время недолгого затишья, предшествавшего взрыву я узнал о печальной судьбе Мирзы-Якуба, о смерти Дадаш-бега, одного казака и двух или трех лакеев, которые, защищаясь, убили двух или трех персиян. Тела последних были отнесены в мечеть, и это кровавое зрелище еще более разъярило народ. В это самое время один из соседей, по имени

Али-Верди, кондитер, находящийся в услужении у Манучир-хана, вбежал в залу, чтобы спасти Мирзу-Селлимана, племянника своего бывшего господина, умоляя его, пока есть время, следовать за ним еще свободным путем; с тем же усердием он предлагал безопасный приют и посланнику. Но просьбы его были напрасны. Мирза-Нарриман воскликнул, что никто не осмелится поднять руку на представителей Европы. «Выстрелы ваши не устрашают нас», сказал Али-Верди: «Разве мы не слыхали их в Гандже, Аббас-Абаде и Эривани?» Грибоедов отвергнул сделанное ему предложение, может быть не желая покидать своих, или же просто не сознавая грозящей ему опасности, и честный кондитер принужден был удалиться, сожалея, конечно, о бесполезности своих настояний.

Казаки и посольские служащие успели выработать некоторый план защиты на случай вторичного нападения, от которого осаждающие, повидимому, отказались, как мы начинали думать. Но прошло полтора часа, и надежды наши рухнули; мы были осаждены толпой, не в пример более многочисленной, которая состояла теперь уже не только из мелочных торговцев и черни: она была снабжена огнестрельным оружием, и к ней присоединились и солдаты разных военных частей. Ужасные крики оповестили о ее приближении, и вскоре град камней до того усилился, что мы принуждены были укрыться в соседней комнате, с правой стороны двора, служившей Грибоедову спальней. Напрасно старался он обращаться к народу,— никакой человеческий голос не мог быть услышан посреди такого ужасного шума. Приказание казакам стрелять холостыми зарядами также не принесло никаких результатов. Смерть была перед нами, жертвы ею были соединены, без всякой надежды, охваченные ужасом, подобно невинным овцам, преследуемым кровожадными волками, напрасно пытающимся избегнуть своей участи.

Казаки, презирая опасность, обнаруживали непоколебимое решение спасти своего начальника, если это было

возможно, и дорого продать свою жизнь. Несколько слуг показали большое присутствие духа и замечательную отвагу, особенно один курьер, по имени Гоашатур. Этот храбрец бросился с саблей в руке на осаждающих, сбил двух из них, заставил отступить прочих, поднялся затем на лестницу, чтобы прогнать влезавших на стены; его закидали кампями, и он уже два раза готов был упасть, но снова бросался вперед, пока сабля его не переломилась, и, когда ему нечем было уже защищаться, он мгновенно был растерзан на части.

В продолжение некоторого времени исход приступа был сомнителен; сделана была попытка очистить двор, но хотя двинувшиеся вперед и были опрокинуты, товарищи их, разместившиеся на степах, продолжали стрельбу и не переставали бросать камни и кирпичи в окно комнаты, где находился посланник. Пехотная стража (фераганы) рассеялась при первом натиске, не сделав ни малейшего усилия, чтобы защитить нас; однако, продолжительность дела позволяла надеяться, что шах вышлет нам на помощь войска. Наконец, мы услышали оглушительные удары в крышу дома, и вскоре она была проломана насквозь. Первые пули смертельно ранили молочного брата посланника; последний с сердечной горестью воскликнул:

— Смотрите, смотрите, они убили Александра!

Еще двое лишились жизни прежде, чем мы успели укрыться в большую гостиную, занимавшую середину помещения; но в ней мы были совершенно на виду из той комнаты, которую мы оставили, так же как и в широкое окно, поэтому не было никакой возможности там долго оставаться. Отсюда, переходя из одной комнаты в другую, я мог бы смешаться с толпой, как это сделал Ага-Могаммед-Али, доверенное лицо принца Абасса-Мирзы, так как иного пути к спасению не было.

Как сейчас вижу я ужас, напечатленный на лицах всех присутствовавших. У иных, казалось, все чувства были парализованы, другие пребывали в ужасном отчаянии,

некоторые, вместе с казаками, пытались мужественно защищаться. Посланник, скрестив на груди руки, медленно прохаживался взад и вперед, от времени до времени пропуская руку в волосы; лоб его был окровавлен от удара камнем, пришедшимся в правую сторону головы. Он подошел ко мне и произнес с выражением, которое я и сейчас еще не забыл:

— Они хотят нас убить, мирза, они хотят нас убить!

Я мог отвечать ему лишь утвердительно. Последние слова, внятно дошедшие до моего слуха были:

— Фет-Али-шах! Фет-Али-шах! jenfoudre, jenfoudre! *— или что-то в этом роде.

Я на всю жизнь сохраню воспоминание, смешанное с восхищением, о бесстрашном поведении и геройской смерти медика[137]. Он с самого начала всячески старался ободрить товарищей, умоляя их сражаться до последнего вздоха. Наконец, он убедился, что не было никаких надежд к спасению; не имея при себе никакого другого оружия, кроме небольшой европейской сабли, он храбро перебежал двор, угрожая ворвавшимся туда, которые на мгновение отступили, кроме одного молодого человека, с которым он обменялся несколькими сабельными ударами. Пока он размахивал оружием, защищая голову, противник отрубил ему левую руку, которая упала на землю. Движимый той же отчаянной отвагой, он, невзирая на это страшное ранение, вернулся в комнату, сорвал с двери драпировку, обернул ею изувеченную руку и потом, не слушая наших уговоров, выпрыгнул в окно и скоро погиб, сраженный многочисленными врагами и сбитый с ног пущенными в него со стен камнями[138].

Еще до выхода нашего из гостиной и раньше, чем мы надумали пробраться в самые отдаленные покои, мы потеряли еще четырех или пятерых. Эта часть дома была от-

* Эти слова так написаны в персидском тексте.

делена крепкой перегородкой, за нею могли найти убежище те, кто был еще в силах итти или ползти. Мирза-Селлиман и Мирза-Нарриман были убиты, не успев добраться до этого последнего приюта, где нас уже осаждали через окна и двери. Почти все казаки были уже перебиты. Двое из передовых осаждавших, вооруженные саблями и кинжалами, пытались было проникнуть в нашу засаду, но обнаружили нерешимость, как будто остановившись перед нашим отчаянием. Я бросился из комнаты и последовал, размахивая саблей, непосредственно за ними, так что когда они стали отступать, я мог замешаться в толпу передовых сражающихся, которые приняли меня за своего. Тщетно старался я пробраться во двор; не было никакой возможности протиснуться сквозь толпу, и меня отбросили назад, в комнату, где я увидел 17 тел моих товарищей, вытянутых на полу. Левая сторона груди посланника была насквозь проткнута саблей, и мне показали борца, состоявшего в услужении у одного из жителей Тегерана, человека атлетического телосложения и огромной силы, который, якобы, нанес ему этот удар. У ног Грибоедова испускал последние вздохи казачий урядник, который с примерным самоотвержением до последней минуты защищал его своим телом.

Изнемогающий от усталости, страха и ужаса перед зрелищем, которого я был свидетелем, избитый каменьями, я должен был сделать сверхъестественное усилие, чтобы не упасть. Казалось, все фурии ада сорвались с цепей, чтобы увлечь за собой всю чернь Тегерана на противоестественную жестокость. Не довольствуясь тем, что они погубили столько беззащитных жертв и обагрили руки в крови невинных, эти изверги предались самому неистовому грабежу. Они раздели мертвых до-нага и повлекли их на середину двора, где, выставив тела на ужасное поругание, громоздили из них отвратительные пирамиды, обагренные потоками крови, лившейся из ран. Перо мое отказывается описывать эти ужасы. Боже мой, да не разразится гнев твой над нами за это чудовищное дело!

Уже было за полдень, когда мне удалось добраться до моего помещения. Слуга мой уверил всех, что оно было занято только магометанами, и потому туда никто не вошел, и оно послужило убежищем Мальцову, первому секретарю посольства. Занимаемые им комнаты находились довольно далеко от помещения Грибоедова, и когда дом был осажден, он не мог уже присоединиться к своим соотечественникам. С помощью денег и обещаний ему удалось уговорить нескольких ферашей и небольшой отряд пехоты, укрывшейся в нашем квартале, взять его под свое покровительство. Когда мятеж несколько утих, мы послали уведомить шаха, что Мальцов один спасся от этой ужасной бойни. Он выслал нам роту пехотинцев, чтобы не допустить новых беспорядков, а с наступлением ночи Мальцов, переодевшись в персидский мундир и смешавшись с солдатами, явился во дворец его величества.

План истребления был выполнен настолько хорошо, что народ ворвался даже в передний двор британского посольства и вырезал семь или восемь человек русских, проживавших при конюшнях, после чего завладел всеми лошадьми, принадлежавшими посланнику.

При начале возмущения, по приказанию шаха, были сделаны попытки остановить беспорядки. Мирза-Могаммед-Али-хан со своими слугами спешно прибыл к месту действия в ту самую минуту, когда осаждавшие овладели Мирзой-Якубом. Несмотря на все его добрые намерения, усилия его ограничились некоторыми мерами предосторожности, к несчастию, неудовлетворительными, а также уговорами и убеждениями, обращенными к людям, глухим к голосу рассудка. Мессахчи-баши[139] и многие другие придворные офицеры тщетно старались содействовать ему: явились даже принцы Али-шах и Имам-Верди-Мирза, сопровождаемые всеми, кого они только могли собрать, но бесчисленное множество осаждающих не дозволило им приблизиться к атакуемому дому. Вместо того, чтобы при-

нести какую-нибудь пользу посольству, они должны были заботиться о собственной безопасности и даже подверглись сами оскорблениям и угрозам:

— Пойди, — кричали Али-шаху, — уступи своих жен русским, это вполне достойно твоей длинной бороды, которую ты так заботливо купаешь в розовой воде! Разве твой брат Аббас-Мирза не продался душой и телом царю? Убирайтесь вон, *говрам сани*, не то мы изрубим вас в куски!

Принцы были вынуждены вернуться в свои дворцы, защищенные, по счастию, значительными отрядами пехоты, и входы в которые были тщательно заперты, чтобы мятежники не могли в них проникнуть.

Впоследствии я узнал от моих слуг, что изуродованный труп Мирзы-Якуба таскали по всему городу и бросили, наконец, в глубокую канаву. Также поступили и с другим трупом, который сочли за труп Грибоедова. Привязав к ногам его веревку, злодеи поволокли его по главным улицам и базарам Тегерана, с криками:

— Дорогу, дорогу русскому посланнику, который отправляется к шаху! Вставайте в знак почтения, кланяйтесь ему по франкскому обычаю, обнажая голову!

Протаскав труп таким образом долгое время, его выставили посреди улицы, ведущей к главным воротам крепости. С наступлением вечера, когда все успокоились, он был перенесен, по распоряжению принца-губернатора, в дом Могаммед-хана.

Ночь прошла спокойно, а на следующий день на фераша-баши Керим-хана было возложено предание трупов земле. Из русского посольства погибло 44 человека[140]. После некоторых поисков, перед окном помещения, занимаемого Грибоедовым, в груде трупов нашли и его тело; я заметил с большим удовлетворением, что оно не подверглось осквернению. Последний долг печальным его останкам был отдан духовенством армянской церкви, где было выставлено его тело, а прочих несчастных его

товарищей похоронили в глубоком рву за стенами города.

Говорят, что осаждавшие потеряли 26 или 27 человек ранеными и убитыми. Потери их были бы не в пример значительнее, если бы посольство приняло меры к защите и если бы вся свита Грибоедова была в сборе; может быть, мятежники были бы даже опрокинуты. Но кто может избежать своей судьбы?

## ИЗ ДОНЕСЕНИЙ

### I

Наконец, достиг я до границы нашей и могу иметь честь донести вашему сиятельству об участи российского посольства, при персидском дворе находившегося. Доселе не имел я никакой возможности исполнить сию обязанность, ибо в Тегеране был содержим, в продолжение 3 недель, под караулом и потом с конным конвоем провожаем до самой границы; я не имел при себе цифири и следовательно не мог вверить бумаг своих какому-нибудь персидскому курьеру.

В Тегеране посланник наш был принят с такими почестями, которых никогда не оказывали в Персии ни одному европейцу. После первой аудиенции у шаха, при которой соблюдены были все постановления существующего церемониала, и великолепных угощений, деланных нам, по приказанию шаха, тамошними вельможами, посланник имел приватную аудиенцию у его высочества [?]. Шах обошелся с ним весьма ласково; говорил ему: «Вы мой эмин, мой визирь, все визири мои ваши слуги; во всех делах ваших адресуйтесь прямо к шаху, шах вам ни в чем не откажет», и много подобных вежливостей, на которые персияне щедры в обратной пропорции скупости своей на все прочее.

Все, что посланник требовал, было без отлагательства исполнено, а именно: последовал строжайший фирман на имя Яхья-Мирзы, воспрещающий в Реште все притеснения, делаемые там нашим промышленникам, о которых

ваше спятельство изволили писать к посланнику, и таковый же на имя казвинского шахзадэ *, повелевающий ему освободить всех пленных, находящихся в доме бывшего сердаря [142] эриванского Хусейн-хана. Шах прислал посланнику подарки и орден Льва и Солнца 1-й степени, а прочим чиновникам тот же орден 2-й и 3-й степени. Грибоедов сбирался ехать в Тавриз, а для сношений с министерством шаха и для представления его высочеству [?] подарков от нашего двора оставлял меня в Тегеране; он имел прощальную аудиенцию у шаха; лошади и катера [143] были готовы к отъезду, как вдруг неожиданный случай дал делам нашим совсем иной оборот и посеял семя бедственного раздора с персидским правительством.

Некто Ходжа-Мирза-Якуб, служивший более 15 лет при гареме шахском, пришел вечером к посланнику и объявил ему желание возвратиться в Эривань, свое отечество. Грибоедов сказал ему, что ночью прибежища ищут себе только воры, что министр российского императора оказывает покровительство свое гласно, на основании трактата, и что те, которые имеют до него дело, должны прибегать к нему явно, днем, а не ночью. Мирза-Якуб был отослан с феррашами в дом свой, с уверением, что персияне не осмелятся сделать ему ни малейшего оскорбления.

На другой день он опять пришел к посланнику с тою же просьбою; посланник уговаривал его остаться в Тегеране, представлял ему, что он здесь знатный человек, занимает второе место в эндеруне ** шахском, между тем как у нас он совершенно ничего значить не может и т. п.; но, усмотрев твердое намерение Мирзы-Якуба ехать в Эривань, он принял его в дом миссии, дабы вывезти с собою в Тавриз, а оттуда, на основании трактата, отправить в Эривань. Грибоедов послал человека взять оставшееся в доме Мирзы-Якуба имущество, но когда вещи

---

* Принц крови.

** Внутренние покои у мусульман.

были уже навьючены, пришли ферраши Манучехр-хана, которые увели катеров и вьюки Мирзы-Якуба к своему господину.

Шах разгневался; весь двор возопил, как будто бы случилось величайшее народное бедствие. В день двадцать раз приходили посланцы от шаха с самыми нелепыми представлениями; они говорили, что ходжа (евнух) — то же, что жена шахская, и что следовательно посланник отнял жену у шаха из его эндеруна. Грибоедов отвечал, что Мирза-Якуб, на основании трактата, теперь русский подданный, и что посланник русский не имеет права выдать его, ни отказать ему в своем покровительстве. Персияне, увидев, что они ничего не возьмут убедительною своею логикою, прибегли к другому средству: они взвели огромные денежные требования на Мирзу-Якуба и сказали, что он обворовал казну шаха и потому отпущен быть не может. Для приведения в ясность сего дела, Грибоедов отправил его вместе с переводчиком Шахназаровым к Манучехр-хану. Комната была наполнена ходжами, которые ругали Мирзу-Якуба и плевали ему в лицо. «Точно, я виноват», говорил Мирза-Якуб Манучехр-хану: «виноват, что первый отхожу от шаха; но ты сам скоро за мною последуешь». Таким образом, в этот раз, кроме ругательства, ничего не последовало.

Шаху угодно было, чтобы духовный суд разобрал дело; посланник на это согласился и отправил меня, чтобы я протестовал в случае противузаконного решения. С Мирзой-Якубом и переводчиком приехал я в дом шаро [144] (духовного суда) и объявил Манучехр-хану, что буде кто-либо позволит себе попрежнему какое-нибудь ругательство в моем присутствии, то я этого не стерплю, кончу переговоры, уведу с собой Мирзу-Якуба и они более его никогда не увидят; что я, со своей стороны, ручаюсь ему, что Мирза-Якуб также не скажет никому обидного слова.— «Мирза-Якуб должен казначею шахскому несколько тысяч туманов», сказал мне Манучехр-хан: «неужели теперь эти

деньги должны пропасть?» Я отвечал ему, что Мирза-Якуб объявил посланнику, что он никому не должен здесь гроша, и что, следовательно, должно представить законные документы, и буде есть действительные векселя, т.-е. засвидетельствованные в свое время у хакима [145], он принужден будет удовлетворить Зураб-хана. — «Таких документов нет, но есть росписки, свидетели». — «На основании трактата», сказал я, «известно вашему высокостепенству, что такие росписки и словесные показания, буде сам должник не признает их справедливыми, в денежных делах не имеют никакой силы; точно, Мирза-Якуб получал деньги от Зураб-хана, но он был казначеем в эндеруне и имел от шаха различные поручения, на каковые и издерживал получаемые деньги. Он говорит, что может это доказать имевшимися в его доме бумагами и расписками; но ваше высокостепенство послали людей своих, которые силою проникли в его дом, когда он уже находился под покровительством нашей миссии, которые унесли вещи, увели катеров и лошадей его, а может быть и выкрали означенные бумаги; вам следовало описать вещи и бумаги в присутствии русского чиновника, а не насильственно и самовольно захватить все, что попало, и, следовательно, вся ответственность за нарушение прав русского подданного падает на вас; каким образом суд может приступить к справедливому решению, когда Зураб-хан имеет при себе документы, между тем, как бумаги Мирзы-Якуба у него отобраны и, может быть, уже уничтожены». — «Хорошо», сказал Манучехр-хан: «но в трактате вовсе нет того, что вы говорите». В ответ ему я приказал переводчику прочесть некоторые отмеченные мною статьи коммерческой конвенции, и все присутствовавшие по выслушании оных остолбенели от удивления. — «Если так», сказал Манучехр-хан, «то духовного суда по этому делу быть не может; пусть все останется, как есть».

На другой день посланник был у шаха и согласился на предложение его высочества [?] разобрать дело Мирзы-

Якуба с муэтемедом * и Мирза-Абул-Хасан-ханом; но сие совещание отлагалось со дня на день, до тех пор, пока смерть посланника и Мирзы-Якуба сделали оное невозможным.

Между тем, посланник прилагал неусыпное старание об освобождении находившихся в Тегеране пленных. Две женщины, пленные армянки, были приведены к нему от Аллах-Яр-хана. Грибоедов допросил их в моем присутствии, и когда они объявили желание ехать в свое отечество, то он оставил их в доме миссии, дабы потом отправить по принадлежности.

Впрочем, это обстоятельство так маловажно, что об оном распространяться нечего. С персидским министерством об этих женщинах не было говорено ни слова, и только после убиения посланника начали о них толковать. Я это представил в Тавриз каймакаму [146], утверждавшему, что женщины были главной причиной убиения посланника.—«Ваше высокостепенство», сказал я ему, «имеете в руках своих всю переписку посланника с тегеранским министерством; так много говорено о Ходжа-Мирзе-Якубе, но есть ли хотя одно слово о женщинах?»—«Точно, о женщинах нигде не упоминается, но они были удержаны вами насильственно против своей воли». — «Смею уверить вас», отвечал я ему, «что при мне объявили они посланнику желание возвратиться в свое отечество, а лучшим доказательством, что посланник никогда насильно не брал тех, которые не имели желания отсюда ехать, может служить происшествие, известное вам, которому весь Казвин был свидетелем. Там находились в доме одного сенда две женщины, из коих одна армянка, а другая — немка, из прилежащих к Тифлису колоний. Они были приведены к посланнику, и когда объявили, что желают остаться в Казвине, то немедленно же были отпущены к сенду».

---

* Собственно муэтемед-ддоулэ, т.-е. опора правительства,— титул Манучехр-хана.

Между тем дошло до сведения муджтехида Мирзы-Месиха, что Мирза-Якуб ругает мусульманскую веру. «Как!», говорил муджтехид, «этот человек 20 лет был в нашей вере, читал наши книги и теперь поедет в Россию, надругается над нашею верою; он изменник, неверный и повинен смерти». Также о женщинах доложили ему, что их насильно удерживают в нашем доме и принуждают будто бы отступиться от мусульманской веры.

Мирза-Месих отправил ахундов [147] к Шахзадэ-Зилли-султану; они сказали ему: «Не мы писали мирный договор с Россиею, и не потерпим, чтобы русские разрушали нашу веру; доложите шаху, чтобы нам немедленно возвратили пленных». Зилли-султан просил их повременить, обещал обо всем донести шаху. Ахунды пошли домой и дорогой говорили народу: «Запирайте завтра базар и сбирайтесь в мечетях; там услышите наше слово!»

Наступило роковое 30 число января. Базар был заперт, с самого утра народ собирался в мечеть. «Идите в дом русского посланника, отбирайте пленных, убейте Мирзу-Якуба и Рустема» — грузина, находившегося в услужении у посланника. Тысячи народа с обнаженными кинжалами вторгнулись в наш дом и кидали каменья. Я видел, как в это время пробежал чрез двор коллежский ассесор князь Соломон Меликов, посланный к Грибоедову дядею его Манучехр-ханом; народ кидал в него каменьями и вслед за ним помчался на второй и третий двор, где находились пленные и посланник. Все крыши были уставлены свирепствующей чернью, которая лютыми криками изъявляла радость и торжество свое. Караульные сарбазы (солдаты) наши не имели при себе зарядов, бросились за ружьями своими, которые были складены на чердаке и уже растащены народом. С час казаки наши отстреливались, тут повсеместно началось кровопролитие. Посланник, полагая сперва, что народ желает только отобрать пленных, велел трем казакам, стоявшим у него на часах, выстрелить холостыми зарядами, и

тогда только приказал заряжать пистолеты пулями, когда увидел, что на дворе начали резать людей наших. Около 15 человек из чиновников и прислуги собрались в комнате посланника и мужественно защищались у дверей. Пытавшиеся вторгнуться силою были изрублены шашками, но в это время запылал потолок комнаты, служившей последним убежищем русским: все находившиеся там были убиты низверженными сверху каменьями, ружейными выстрелами и кинжальными ударами ворвавшейся в комнату черни. Начался грабеж: я видел, как персияне выносили на двор добычу и с криком и дракою делили оную между собою. Деньги, бумаги, журналы миссии, — все было разграблено (я полагаю, что бумаги находятся в руках у персидского министерства).

В это время пришел присланный от шаха майор Хадибек с сотнею сарбазов, но у сего вспомогательного войска не было патронов; оно имело приказание против вооруженной свирепствующей черни употребить одно красноречие, а не штыки, и потому было спокойным свидетелем неистовств. Также прислан был визирь Мирза-Мамед-Али-хан и серхенг (полковник). Увидев серхенга, с которым я был довольно коротко знаком, я просил его к себе. Он сказал мне, что посланник и все чиновники миссии убиты; что он не понимает, как мог я спастись, приставил к комнате моей караул и обещался вечером посетить меня. За час до захождения солнца, когда в разоренном доме нашем оставались одни только сарбазы, пришел шахский чиновник, который четырем стенам прочел громогласно фирман, повелевающий народу, под опасением шахского гнева, удалиться спокойно из нашего дома и воздержаться от всякого бесчинства.

В 9 часов вечера пришел серхенг с вооруженными гулямами [148], нарядил меня и людей моих в сарбазские платья и повел во дворец Зилли-султана.

Всего убито в сей ужасный день 37 человек наших и 19 тегеранских жителей.

## II

Несколько дней после убиения посланника, Мирза-Мехти, человек очень умный и уважаемый покойным г. Грибоедовым, уверял меня, что он за три дни уведомил его о том, что муллы возмущают народ против русских, и что он будет находиться в величайшей опасности, если не выдаст немедленно Мирзу-Якуба *; но посланник, вероятно, почел этот совет одною хитростию, острасткою, которою хотели у него выманить Мирзу-Якуба, и потому оставил без внимания, в уверенности, что правительство, после столь дорого купленного им мира с Россиею, не осмелится оскорбить сию сильную державу в лице ее посланника. Не зная ни персидского, ни татарского языка, я мог получить известие или от самого посланника, или от переводчика нашего Шахназарова, который, по уверениям персиян, был подкуплен Мирзой-Якубом, принял от него некоторые подарки и взял сверх того обещание, что если он вывезет благополучно Мирзу-Якуба из Персии, то получит от него за труды 500 червонных **. Вот почему не допускал он до меня никаких слухов о том, что приготовлялось в городе, ибо знал, что я немедленно уведомил бы посланника, который, усмотрев невозможность держать далее Мирзу-Якуба, может быть, выдал бы его, отчего и пропали бы обещанные им Шахназарову 500 червонных.

Из одной ноты к Мирзе-Абул-Гассан-хану, которую посланник велел мне написать вечером, накануне своего убиения, я должен заключить, что точно он не почитал себя в совершенной безопасности. Шах был очень сердит на посланника, говорил ему: «Продолжайте, отнимите у меня всех жен моих; шах будет здесь молчать, но Наиб-султан едет в Петербург и будет лично на вас жаловаться

* Мальцов называет его Ягубом.

** По свидетельству Грибоедова, Шахназаров получал жалованья 300 червонцев в год, был обременен семейством и долгами, при отъезде в Персию сильно нуждался в деньгах. Полн. собр. соч. Грибоедова, под. ред. И. А. Шляпкина, т. I, стр. 276—277.

императору». В вышеупомянутой ноте в сильных выражениях были изложены поступки (т.-е. объяснения поступков) г. Грибоедова, с самого приезда в Персию; она заключалась, между прочим, следующими словами: «Нижеподписавшийся, убедившись из недобросовестного поведения персидского правительства, что российские подданные не могут пользоваться здесь не только должною приязнью, но даже и *личною безопасностью*, испросит у великого государя своего всемилостивейшее позволение удалиться из Персии в российские пределы». На другой день утром ужасным образом объяснились мне сии слова.

* * *

Я обязан чудесным спасением своим как необыкновенному счастию, так и тому, что не потерялся среди ужасов, происходивших перед глазами моими. Я жил рядом с табризским мехмендарем нашим Назар-Али-ханом Авшарским, на самом первом дворе; кроме меня русских там не было, а жили еще приставленный от шаха мехмендарь Мирза-Абул-Гуссейн-хан и караульный султан. Когда народ, с криком, волною хлынул мимо окон моих, я не знал, что думать, хотел броситься к посланнику, и не успел дойти до дверей, как уже весь двор и крыши усыпаны были свирепствующею чернию. Я пошел в балаханѐ свой, и не прошло пяти минут, как уже резали кинжалами перед глазами моими курьера нашего Хаджатура. Между тем, народ бросился на 2-й и 3-й двор: там завязалась драка, началась перестрелка. Увидев, что некоторые из персиян неохотно совались вперед, я дал одному ферашу моему 200 червонцев и приказал ему раздать оные благонадежным людям, ему известным, собрать их к дверям моим и говорить народу, что здесь квартира людей Назар-Али-хана. Я сидел таким образом более трех часов в ежеминутном ожидании жестокой смерти; видел, как сарбазы и ферашы шахские спокойно прогуливались среди неистовой черни и грабили находившиеся в нижних комнатах мои вещи. Неоднократно

народ бросался к дверям, но, к счастию, был удерживаем подкупленными мной людьми, которые защищали меня именем Назар-Али-хана. Потом, когда уже начало утихать неистовство, пришел серхенг и приставил караул к дверям моим. Ночью повел он меня во дворец (переодетого сарбазом).

Зилли-султан (Али-шах) сам находился в назначенной мне для житья комнате. Он начал описывать в преувеличенных выражениях свою горесть и отчаяние; сам сказал мне, что он поехал было усмирять народ, но, испугавшись ругательств черни, воротился с поспешностию во дворец, велел запереть ворота, расставил сарбазов по стенам, чтобы разъяренная чернь не бросилась в шахский дворец. Я объявил ему желание ехать немедленно в Россию, и мне обещано, что отправят меня через три дня. На другой день пешком Зилли-султан пошел к муджтехиду Мирзе-Масси. Я тотчас послал за ним одного преданного мне фераша послушать, что будут говорить в доме шера. Посланец принес мне весьма неутешительное известие. Муджтехид советовал шаху содержать меня хорошо в Тегеране, оказать всевозможные почести, отправить и велеть убить дорогою, как опасного человека.

Шах прислал ко мне всех визирей своих, и я имел честь увидеть и тех высокопоставленных особ, которые по чрезмерной спеси не хотели удостоить посещения своего покойного посланника. Все они с восточным красноречием описывали отчаяние шаха и собственную свою горесть. «Падишах заплатил 8 курур из казны своей за дружбу России,—говорили они,—вот что сделали муллы и народ тегеранский. Какой позор целому Ирану, что скажет император!» Им хотелось выведать мой образ мыслей, но я, зная, что за малейшее слово, несоответственное их видам, должен буду распроститься с жизнию, притворился убежденным их речами. «Надобно быть совершенно бессмысленным человеком», сказал я, «чтобы хотя одно мгновение подумать, что шах допустил бы сие ужасное дело, если бы был уведомлен одним часом ранее о намерении мулл и на-

рода. Я сам был свидетелем отменной благосклонности падишаха к посланнику и беспримерных почестей, оказанных ему в Тегеране. Я сам видел, что шах принял всевозможные меры для усмирения возмущенной черни; послал самого Зилли-султана, визиря, сарбазов, ферашей, но, к сожалению, они пришли уже слишком поздно для охранения посланника. Я сам могу служить очевидным доказательством покровительства и отличного уважения, которое персидское правительство не перестает оказывать русским, ибо верно бы так же погиб, если бы присланные шахом сарбазы не оградили меня от опасности. Хотя не могу сказать вам утвердительно, как это дело будет принято августейшим моим государем, ибо этого знать никто не может, но полагаю, что его величество, узнав о почестях, оказанных в Тегеране посланнику, и о всех мерах, принятых персидским правительством, для отвращения сего бедственного происшествия, сохранит к падишаху ту же дружбу, которую всегда питал к нему в душе своей».

Зилли-султан (почесть неслыханная), все министры снова удостоили меня своего посещения и объявили, что через три дня я буду отправлен в Россию. Шах прислал мне в подарок две шали и худую лошадь, которая, конечно, не стоит 10 червонцев. Я хотел было отказаться от щедрых подарков его величества, но, наконец, принял оные по следующей причине: если бы я от них отказался, то шах заключил бы, что я имею против него личную злобу, полагаю, что он сам участвовал в убиении посланника и, следовательно, в этом виде намерен представить все дело моему правительству; тогда бы приносимый мне к ужину плов приправили, без всякого сомнения, такою пряностию, которая в 24 часа отправила бы меня в сообщество товарищей моих, погибших в Тегеране.

## III

Персидское правительство говорит, что оно нисколько не участвовало в убиении нашего посланника, что оно

даже *ничего не знало* о намерении мулл * и народа; но стоит только побывать в Персии, чтобы убедиться в нелепости сих слов. Многие из персидских чиновников уверяли меня, что они еще за три дня предуведомляли посланника об угрожавшей нам опасности.

В Персии секретных дел почти нет: среди важных прений о государственных делах, визири пьют кофе, чай, курят кальяны; их многочисленные пишхадметы ** должны всегда находиться при них в комнате; визири рассуждают громогласно, при открытых окнах — и толпы ферашей, стоящих на дворе, слышат слова их и через два часа разносят по базару. Как же могло персидское правительство не знать ни слова о деле, в котором участвовал целый Тегеран? Муллы проповедывали гласно в мечетях; накануне были они у шахзады Зилли-султана; накануне велели запирать базар, и есть даже слухи, что во время убиения посланника нашего муджтехид Мирза-Месих сидел у шаха.

Положим даже, что и не шах, а муллы послали народ в дом нашей миссии; но и тогда шах виноват: — зачем допустил он это? — Если бы он решительно не хотел, чтобы народ вторгнулся в наш дом, то мог бы приставить сильный караул, который остановил бы чернь пулями и штыками, мог ночью перевести посланника и чиновников во дворец, или, наконец, известив г. Грибоедова о возмущении народном, просить его удалиться ночью, на короткое время, из Тегерана, в какую-нибудь загородную дачу: но тогда уцелел бы Мирза-Якуб, а этого-то именно и не желал Фет-Али-шах.

Вот как, по моему мнению, произошло все дело. Шах испытал все меры, чтобы удержать Мирзу-Якуба, сперва убеждениями, просьбами, потом ложными денежными претензиями, наконец, гневом и угрозами: ничто не удалось

---

* В подлиннике «муллов».

** Слуги.

ему. Шаху надобно было истребить сего человека, знавшего всю тайную историю его домашней жизни, все сплетни его гарема: пока посланник был жив, этого сделать никто не мог. Послать сарбазов, которые отобрали бы силою Мирзу-Якуба и убили его, шах не смел, ибо это было бы явное нарушение с его стороны мирного трактата, за который заплатил он 8 курур; ему сказали: «народ вторгнется в дом посланника, убьет Мирзу-Якуба, а мы притворимся испуганными, велим запереть ворота дворца, пошлем Зилли-султана и визиря унимать чернь, пошлем сарбазов, без патронов, которым не велим никого трогать, и скажем, мы ничего не знали, это все сделал проклятый народ, мы тотчас послали вспомоществование, но, к сожалению, злодейство уже было совершено», — одним словом, все то, что шах говорит и пишет в свое оправдание. Шаху не оставалось другого способа истребить Мирзу-Якуба, и потому прибегнул к оному, что надеялся отделаться от нас своими обыкновенными отговорками.

## IV

Из донесений моих, ваше сиятельство усмотреть изволите, que j'ai joué ruse pour ruse avec les Persans [149] и этим только сохранил я жизнь свою. Теперь нахожусь я на почве, осененной неизмеримым крылом двуглавого российского орла, и говорю сущую правду своему начальству: этого персияне мне никогда не простят, и за все, что случится для них неприятного, будут питать личную злобу на меня. После этого мне невозможно воротиться в Персию, ибо, по ту сторону Аракса жизнь моя подвержена будет ежеминутной опасности; мне придется испить до дна горькую чашу ненависти и мщения персиян.

Смею прибегнуть под сильное покровительство вашего сиятельства, прося вас убедительно сообщить сие от себя г. вице-канцлеру и благоволить написать к нему, что я в Персию ни под каким видом воротиться не могу, чтобы он сделал мне милость отозвать меня в С.-Петербург, где

бы находился я при особе его сиятельства [150], доколе не представится для меня какое-нибудь секретарское место при одной из европейских наших миссий.

Ежели вашему сиятельству не будет угодно сделать какого-нибудь милостивого обо мне представления, то я останусь безо всякого вознаграждения за все потерпенные мною в Персии бедствия и попадусь опять в когти персиян, от которых так чудесно избавился. Крайность принудила меня прибегнуть к вашему сиятельству с убедительнейшею просьбой; я решился на то в полной уверенности на правосудие и милостивое ваше расположение.

## СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХТАРА [151]

Рассказ Амбарцума

Наш вазир-мухтар (полномочный посол) был очень добродушный и милостивый человек, — сказал старец-рассказчик,—хотя господин в высшей степени раздражительного характера. В числе лиц, желающих вернуться на родину, были и такие, которые сделались евнухами при дворе Фет-Али-Шаха, и такие женщины, которые поступили в шахский гарем. В числе этих последних была одна очень красивая женщина, которая иногда, ночью, тайком приходила к вазир-мухтару в дом, находящийся в квартале Дараваза-Шах-Абдул-Азим (этот дом и до сих пор существует), и умоляла посла выслать ее на родину, в Тифлис. Ее принимали за мусульманку (она была грузинка). Когда узнали об этом, то как шах, так и народ страшно возмутились; подумали, что эта грузинка находится в любовных отношениях с вазир-мухтаром; в глазах же мусульман такой поступок может быть смыт только убийством нарушителя закона.

По шариату, и женщина и вазир-мухтар должны были быть избиты камнями.

Шах считал себя обесчещенным, а духовенство считало святую религию поруганною. Каждый день на базаре мы слышали, как муллы в мечетях и на рынках возбуждали фанатический народ, убеждая его отомстить, защитить ислам от осквернения «кяфиром». Мы приходили и рассказывали вазир-мухтару, но он только смеялся и не верил тому, чтобы они осмелились что-нибудь подобное

сделать. По настоянию наших казаков и телохранителей, он только один раз обратился к шаху и заявил о возбуждении народа.

Шах просил быть покойным, говоря, что никто не осмелится ничего сделать.

В 1829 году в последних числах января, волнение и возбуждение в городе постепенно увеличивались; шах со своими приближенными и своим гаремом выехал из города и поехал в одну из близ лежащих деревень.

Мы — курьеры и казаки — постоянно держали наготове наши ружья и пистолеты, но посол считал невозможным какое бы то ни было нападение на посольский дом, над крышей которого развевался русский флаг.

30 января, едва забрезжилось, как вдруг послышался глухой рев; постепенно слышались традиционные возгласы: «Эа Али, салават!» (с богом!), исходящие из уст тысячной толпы. Несколько служащих бегом пришли известить о том, что многочисленная толпа, вооруженная камнями, кинжалами и палками, приближается к посольскому дому, предшествуемая муллами и сеидами. Возглас: «смерть кяфирам» был слышен очень хорошо. Посол теперь понял опасность: он приказал запереть ворота, всем казакам и курьерам числом около 40 велел стоять позади ворот и охранять дом, а сам вместе с двумя казаками, имея в руках ружье и пистолет, стал перед дверью комнаты. При криках «Эа Али, салават» в страшном грохоте обрушилась дверь под ударами топоров. Толпа завопила: «где неверующий вазир-мухтар?» Несколько десятков персидских солдат, пришедших для вида из соседних казарм, моментально скрылись. Казаки героически дрались, постепенно отодвигаясь к комнатам. Когда почти все были избиты и толпа приблизилась к комнатам, посол со мною и вместе с двумя казаками лицом к лицу стали навстречу толпе.

Видя, что наступила последняя минута, я подошел к послу и попросил, чтобы он вошел в комнату, влез в печную трубу и через нее поднялся на крышу дома.

Оказалось, что он с места ранил нескольких и из ружья убил несколько десятков персов. Я остановился перед дверью и своим корпусом помешал толпе войти; сильные удары посыпались на мою голову, я упал, но все-таки произнес: «Вазир-мухтар уже убит, чего вы еще хотите?»

Не найдя никого в комнате, толпа поверила и вышла вон возвестить слух и отыскать труп. В это время кто-то заметил на крыше двух скрывающихся казаков; толпа тотчас взобралась на крышу и убила их камнями; один из мятежников заглянул в дымовую трубу и крикнул: «Вон один кяфир спрятался в печке». В одно мгновение разрушили печку, и, извлекши оттуда уже избитое тело (это было тело Грибоедова), подвергли его тысяче ударов. Лежа на месте, я слышал эти удары; меня считали уже умершим, или, быть может, меня спасло от смерти то, что я был одет в платье персидского курьера.

Изуродованный и избитый труп посла вытащили во двор, и быстро все успокоилось...

Когда я очнулся через несколько часов, кругом себя увидел одни развалины, трупы, человеческое мясо и кровь...

Скрылся в доме одного милосердного персиянина, узнал, что целых два дня таскали по улицам трупы посла и казаков вместе с трупами дохлых собак.

Спустя два дня, наконец, пришел сам шах; сердился, горевал и приказал подобрать трупы.

---

Я спросил старца-Амбарцума:

— Но неужели не нашли труп вазир-мухтара?

— Нашли один труп и говорили, что это труп Грибоедова, но бог знает, тот был или нет...

---

## УБИЙСТВО РУССКОГО ПОСЛАННИКА

Катастрофа эта не должна быть приписываема причинам политическим. Лица различных партий и различных исповеданий, коих я расспрашивал, все единогласно сходились на одном весьма важном обстоятельстве, именно, что мой несчастный друг, покойный Грибоедов, в отношении к шаху принял надменный тон, доходивший до безрассудства. Фетх-Али-шах после каждой аудиенции, которую он ему давал, уходил столь рассерженным, что весьма легко было предвидеть какое-либо несчастье. Часто при своих придворных случалось ему вскрикивать:

— Кто меня избавит от этой собаки-христианина!

Мирза-Абул-Гасан-хан, министр иностранных дел, главный деятель при всяком случае, когда что-либо касалось европейцев, ибо при дворе шаха не было никого, знавшего наши обычаи, — один говорил о нас с некоторою опытностью, как человек бывавший несколько раз посланником в С.-Петербурге, Вене, Париже и Лондоне. Итак, Абул-Гасан-хан однажды вечером у Эмин-ед-Довлета, в присутствии большого общества, где разговаривали о дневных происшествиях и толковали об удобнейших средствах для избавления шаха от столь докучливого гостя, предложил образовать род возмущения:

— Мы заставим народ сильно кричать,—говорил он,—и после этого напишем в Петербург: вы прислали нам человека, который не умеет себя вести у нас,— смотрите, чего он придерживается; как бы не случилось великого несчастия. Отзовите его, если желаете сохранить доброе

согласие между двумя странами. Поверьте мне, — прибавил он, — я знаю Европу и особенно Россию: он будет отозван.

Совет, предложенный Абул-Гасан-ханом не имел немедленных последствий, но идея была дана, и многочисленная прислуга, всегда присутствующая на всех собраниях персидской знати, все слышала.

Наступает дело двух женщин, выдачи коих требовал русский посланник как наших подданных и военнопленниц, хотя они приняли исламизм и находились в гареме Асиф-ед-Довлета [153]. Это был слишком большой удар, нанесенный магометанскому фанатизму и уважению к могущественной личности. Несмотря на это, он добился чего требовал. Но и тут еще Грибоедов сделал большую неосторожность, заставив этих женщин перевезти к себе в дом, где, кроме мужчин, никого не было. Следовало бы их поместить до отправления в Грузию в какой-нибудь армянский и еще лучше в мусульманский дом, и, во всяком случае, в ином месте, но не у себя. Это произвело огромный скандал, и надо сознаться, что везде в другой стране было бы то же самое, ибо благонравие не допускает, чтобы молодые женщины жили под одной и той же кровлею с кучею молодежи. В Тегеране же вмешалась еще религия и совершенно справедливал дурная репутация христиан, составлявших прислугу посланника.

Волнение было сильное между населением, и во всем городе только и толковали о позоре видеть женщин мусульманок, перешедших в руки гнусных русских. Грибоедов, повидимому, не знал, что происходило, ослепленный судьбою или избытком гордости. При этом положении дел он дал еще приют одному шахскому евнуху, который, пользуясь своим происхождением из Эриванн, бежал из шахского гарема и просил возвращения на родину.

Когда кто знает святость гарема, род благоговения, с которым окружают его персияне, стыдливость, с которою они выражаются говоря об этом месте, тому легко

понять, как Фетх-Али-шах сильно был оскорблен в сане неограниченного монарха и ревнивого мужа. Но, спросят, может быть,—мог ли министр русский нарушить свой долг, отказывая в убежище подданному своего государя. Разумеется, нет, ежели бы человек этот пришел внезапно, желая самопроизвольно стать под его покровительство; но тут, ведь, были предварительные интриги, переговоры между евнухом и армянами, окружавшими посланника. Грибоедов имел время сообразить, какое унижение он готовил шаху, ободряя предприятия этого человека. Русский посланник должен был также знать, что так как в продолжение двух лет Персия и ее монарх перенесли много испытаний вследствие побед наших и мирных трактатов, нами на них наложенных, то государству-победителю более славы уступать побежденному в его мелочных, самолюбивых интересах. Он должен был бы предложить евнуху Мирзе-Якубу отложить на некоторое время свое предположение побега, тем более, что неизвестно, имел ли он право считаться в числе русских подданных, ибо был взят на службу к шаху и принял мусульманскую религию в отдаленную эпоху, когда Эривань принадлежала Персии. Как бы то ни было, Фетх-Али-шах еще не дал разгуляться своему гневу, он старался договориться и искал под различными предлогами выдачи беглого. Грибоедов стоял на своем, за что его можно похвалить, ибо еще раз решившись принять его к себе, он не мог без стыда возвратить его обратно персиянам.

Почти открытое неприязненное положение между русским министром и двором; партия духовенства, которую раздражал до крайности увоз двух женщин; партия Асифа, которая по той же причине искала только случай мщения; наконец челядь придворная, которая старалась угодить ненависти шаха; эта прислуга вельмож, которая вспомнила совет Мирзы-Абул-Гасан-хана, — все это вместе поднялось вдруг, побуждением ли двора или Асиф-ед-Довлета или муштаида, все равно, но толчок был дан,

и толпа понеслась и окружила дом, занимаемый русскою императорскою миссией.

Сначала были только крики и повторение требования о выдаче евнуха и двух женщин. Я глубоко убежден, что если бы покойный Грибоедов имел достаточно терпения и хладнокровия, чтобы оставить шуму увеличиваться и разноситься в воздухе; если бы он удержал всех своих дома, не позволял им показываться ни вне, ни у окон, — я, как сказал, глубоко убежден, что эта толпа разошлась бы к вечеру сама по себе, не осмелившись нарушить неприкосновенность посольского дома, если бы даже эта толпа не была разогнана войсками, которых бы, наконец, прислал шах. Я в этом убежден, зная хорошо характер персиян по совершенно схожим случаям, кои я видел, даже по совершенно подобному случаю, происшедшему в нашем посольстве в Тавризе лет 20 назад. Но предопределение как бы подтолкнуло Грибоедова; он велел казакам стрелять по народу, была пролита кровь, одного жителя убили. Его тело понесли в мечеть. Муштаид с высоты кафедры приказал народу итти отомстить кровь кровью же. Известен последовавший результат.

Наши, подавленные многочисленностью, после героической обороны, пали, заставив заплатить дорого за свою жизнь. Сарбазы (регулярная пехота), посланные из Орека Зели-султаном разогнать сборища, прибыли, когда уже все было кончено. Это замедление, которое хотели объяснить соучастием двора, объясняется гораздо проще, именно тем, о чем мы только что говорили. Когда шах узнал о движении, он не желал его остановить, ибо думал проучить посланника. Зная свой народ, он никогда не думал о могущей случиться катастрофе. Он не мог предвидеть, что посланник будет столь неосторожен, что решится атаковать целое народонаселение своими казаками. Смущение Фетх-Али-шаха и его двора было великое после происшествия. Шах собрал совет из своих министров и великих сановников, и мне известно, от оче-

видца-свидетеля, что в первые минуты собрание представляло вид весьма печальный. Монарх и каждый из предстоявших чувствовали себя обремененными ответственностью, которая повисла над ними; они полагали, что Россия воспользуется этим случаем для блистательного мщения, где они первые будут жертвою. Наконец, Фетх-Али-шах начал речь и после восклицаний: «Ио-Аллах! Ио-Али!» [154], он сказал:

— Что сделано, того переделать нельзя. Богу это было угодно. Теперь нам остается только готовиться к войне — и готовиться победить или умереть. Чтобы весь мой народ поднялся, я сам стану во главе его, возьму с собой мои сокровища и все, что я имею. Господь будет нашим судьей.

Потом он приказал похоронить тела, поручив исполнение этого армянам, повелев положить отдельно тело министра, как будто он предвидел, что его вытребуют.

Старик армянин, который распоряжался тогда похоронами, говорил мне, что им похоронены сорок тел. Персияне никогда не хотели сознаться, сколько народу они потеряли. Из наших, между прочим, находился князь Меликов из Тифлиса, который не принадлежал к посольству. Он был племянник Манучар-хана, который послал его для предупреждения Грибоедова о готовящемся волнении. Несчастный не успел вернуться к своему дяде. Один католический священник из испаганской миссии, находившийся тогда в Тегеране, говорил мне, что один мусульманин, живший по соседству с домом нашего министра, также предупредил его, предлагая даже убежище у себя, но, по словам священника, услужливый предвестник был из посольского дома позорно выгнан. Непонятная судьба!

## СМЕРТЬ ГРИБОЕДОВА

Постараюсь, в этих немногих строках, передать те сведения, насколько они сохранились в моей памяти, которые я почерпнул из личных расспросов во время моего пребывания в Персии о смерти Грибоедова в Тегеране 30 января 1829 года.

Не стану здесь разбирать всех причин непопулярности Грибоедова как русского посланника при шахском дворе, приведшей к роковой катастрофе; ограничусь тем, что главная причина состояла в неудовольствии шаха и его сановников против Александра Сергеевича за настойчивость, с которой он требовал выдачи наших русских пленных, укрываемых в гаремах персидских вельмож и во дворце самого шаха, равно как и за открытое покровительство, которое он оказывал тем русским подданным, которые прибегали к его защите.

Наконец, враждебно расположенные к Грибоедову люди подстрекнули народ осадить дом посольства и силою вырвать из наших рук укрывающихся в стенах его русских пришельцев. Когда толпа теснилась около ворот, дерзко требуя выдачи дезертиров своих, как она выражалась, один из конвойных казаков, защищая вход во двор, выстрелом из пистолета убил, как говорят, перспянина. Ожесточенный народ поднял и отнес бездыханный труп на шахский майдан (или дворцовую площадь), куда собралось многочисленное духовенство, разжигая страсти черни на мщение за пролитую мусульманскую кровь.

От слов перешло скоро к делу.

Народ снова явился еще в большем количестве к дому посланника. Тогда Грибоедов и остальные чиновники миссии, видя, что дело плохо, приготовились к осаде и заделали все окна и двери; вооруженные и в полной форме, они решились защищаться до последней капли крови. Должно заметить, что близ самого дома русского посольства помещались заложники персидского правительства, бахтиарцы, племени лур, одного из самых буйных и диких племен, населяющих гористые местности к югу и западу от Исфагана. Для них этот случай представлял завидную поживу. Как кошки, они перелезли через стены и забрались на плоскую (как всегда в Персии) крышу, просверлили широкие отверстия в потолке и начали стрелять в наших сверху вниз.

Между тем, толпа ворвалась в ворота и, положив наповал всех казаков, вломилась в дверь. Говорят, что Грибоедов одним из первых был убит пулей из ружья бахтиарца; второй секретарь миссии Аделунг и, в особенности, молодой доктор (имя которого, к сожалению, ускользает из моей памяти [156]) дрались как львы; но бой был слишком неравен, и вскоре все пространство представило взору одну массу убитых, изрубленных, обезглавленных трупов. Александра Сергеевича, вероятно, отличили по его мундиру и внешним украшениям, потому что разъяренная толпа, упившись кровью несчастных русских, повлекла труп нашего посланника по улицам и базарам города, с дикими криками торжества *.

Когда все было окончено и наступила мертвая тишина, явилась на сцену городская стража и военный отряд, присланные, будто бы, по повелению шаха, для усмирения народа. Это была горькая ирония, вслед за ужасной трагедией. Узнав, что труп находится в руках черни, шах

* В мое время еще красовался один персидский серхенг (полковник) в воротнике и в обшлагах, черных бархатных с густым серебряным шитьем, снятых, должно быть, с мундира Грибоедова.

приказал отобрать его и уведомить первого секретаря Мальцова, — который один из русских спасся каким-то чудом, потому что жил не в посольском доме, а на квартире мехмандаря (т.-е., персидского сановника, прикомандированного к миссии), — что блюстители порядка успели вырвать тело российского посланника из рук разъяренной черни и шах желает знать, какое распоряжение сделает Мальцов по этому случаю. Мальцов просил препроводить бренные останки посланника в Тавриз, куда и сам отправился.

Пока эти печальные события происходили в Тегеране, молодая супруга Грибоедова, Нина Александровна, урожденная княжна Чавчавадзе, осталась в Тавризе в полном неведении, ожидая с нетерпением возвращения мужа. Даже когда тревожные известия проникли до Тавриза, никто не решался сообщить о них несчастной женщине, еще в то время беременной. Наконец было поручено одной француженке при дворе Наиб-султана, г-же де-ла-Мариньер (бывшей лектрисе неаполитанской королевы, младшей сестры Наполеона I), сообщить со всевозможною осторожностью г-же Грибоедовой, что будто бы супруг ее, озабоченный важными делами, не может писать ей, но просит ее выехать в Тифлис, куда и сам за нею немедленно последует [157]. Г-жа Мариньер, исполнив поручение, вызвалась в то же время сопутствовать несчастной. Нина Александровна смиренно покорилась мнимой воле мужа, и с стесненным сердцем выехала из Тавриза, но во время пути сердце предвещало ей нечто недоброе, ее смущало странное и таинственное обращение с нею окружающей прислуги. Добравшись до Эривани, она приступила к своей спутнице, умоляя со слезами вывести ее из тяжкого положения и не скрывать от нее всей правды, присовокупляя, что самое тяжелое горе было бы для нее легче переносить, чем мучительную неизвестность. Однако ж, весть об ужасной смерти мужа так сильно потрясла ее, что несчастная одним ударом, лишившись

обожаемого друга, потеряла и драгоценный залог их любви. Безутешная вдова вернулась обратно под кров своих родителей.

Приведенные здесь сведения были мне переданы самой г-жой Мариньер. Я же имел счастие познакомиться впервые с Ниной Александровной в конце 1837 года, в доме графини Симонич, супруги бывшего посланника нашего в Персии, а в 1838 г., на обратном пути из России в Персию, я опять посетил Тифлис, где имел случай короче оценить всю прелесть души этой редкой женщины. Узнав о желании моем взглянуть на могилу покойного ее супруга, Нина Александровна сама вызвалась быть моим путеводителем. По крутым тропинкам вместе мы добрались пешком до вершины горы, на которой стоит обитель св. Давида. Тут, в пещере, высеченной в дикой скале, поставлен ее заботливой рукой памятник, под которым покоится прах высокоталантливого человека. Мы преклонили колена в безмолвии.

Грибоедов при жизни трудился для славы и вполне достиг ее. Но что в моих глазах ставит Грибоедова даже выше всех его литературных заслуг, как бы велики они ни были, это та настойчивость и неустрашимость, с которою он умел поддерживать достоинство русского имени на Востоке. Эти качества повсюду уместны в государственном человеке, но на Западе они могут проявляться без особого опасения; совсем иное на Востоке. Там проявление их часто сопряжено с опасностью жизни и требует особенного мужества и нравственной силы. Таково было положение нашего посланника в Персии. Имея перед собою для руководства статьи Туркменчайского трактата, в силу которых персидское правительство обязывалось выдавать нам беспрекословно, по востребованию нашему, всех русских подданных, взятых в плен не только в продолжение последней войны, но и прежде, когда персияне делали набеги в наши пределы и уводили в рабство наших кавказских жителей, — Александр Сер-

геевич не давал потачки ни сановникам персидского двора, ни мусульманским духовным лицам, ни самому шаху, когда одни или другие старались укрывать и разными уловками не выдавать требуемых нашей миссией русских невольников. Таким образом он восстановил против себя почти всех влиятельных лиц, окружающих двор «центра мира» — коблеэлем, как величают падишаха Ирана, и только нужна была одна искра, чтобы воспламенить все те горючие вещества, которые окружали нашего посланника.

Из приведенного нами рассказа видно, что выстрел казака, защищавшего доступ в жилище посланника, был той искрой, которую так жадно ожидали убийцы Грибоедова.

Отказать в убежище бедным русским подданным на чужбине, искавшим нашей защиты, было бы крайне неполитично, не говоря уже о беззаконности и бесчеловечности такого поступка; следовательно, это было и невозможно для русского представителя в Персии; выдать же их обратно персиянам, когда они поступили уже под наше покровительство, значило обречь их на верную смерть и, в то же время, покрыть себя вечным позором. Грибоедову не оставалось иного исхода, как отразить силу силою и лечь на месте, защищая святое дело права и человечества. Разбирая роковое событие с этой точки зрения, — а нельзя смотреть на него иначе, — мы приходим к заключению, что заслуги Грибоедова перед лицом всей России истинно велики и достойны всякого уважения; жаль только что они не были достаточно признаны его современниками. Пусть же беспристрастное, но вместе с тем признательное потомство оценит их, как следует.

---

# V

Я плакал на могиле Грибоедова.

А. Бестужев.

## 1—3 МАЯ 1829 ГОДА

1 мая, которое всегда приносит с собою радость и веселие, было для нас днем грусти и печали. В этот день, наконец, тело покойного нашего полномочного министра в Персии было переправлено чрез Аракс. Генерал-майор Мерлини, полковник Эксанхан и многие чиновники поехали на встречу оного; вперед был послан из Аббас-Абада священник, один баталион Тифлисского пехотного полка, с 2 полевыми орудиями, как и здесь приготовленный балдахин.

Когда встретили мы тело, баталион выстроился в два ряда. Гроб, содержащий бренные останки покойного Грибоедова, находился в тахтиреване [159], сопровождаемом 50 конными, под начальством Книб-Али-султана, который остановился посредине. Когда вынули гроб из тахтиревана и уверились сколько возможно, что он содержит тело покойного министра, отдали ему воинскую честь и отпели вечную память, после чего положили его в гроб, здесь приготовленный, и поставили на дроги под балдахин. Скомандовали «на погребение», и тихо и величественно началось траурное шествие при звуках печальной музыки.

Дроги, везомые шестью лошадьми, накрытыми черными траурными попонами и ведомые людьми в траурных мантиях и шляпах, которых было, кроме сих, 12 человек, шедшие с факелами по обе стороны гроба, балдахин, хорошо убранный—все это произвело на всех сильное впечатление, даже на персиян. Кроме священника русского, выехало навстречу покойному все духовенство армянское,

под начальством архиерея Парсеха, что еще более придавало величия печальному шествию. Таким образом, достигли Аляндживчая, где назначен был ночлег.

2-го числа мая шествие продолжалось. Когда достигли Нахичеванчайского моста, сделали привал, люди оделись и духовенство облеклось в ризы; русский священник отслужил панихиду и отпели вечную память, — и шествие продолжалось. Когда начинали приближаться к городу, то вышли навстречу генерал-майор Мерлини, полковник Эксанхан, подполковник Аргутинский, майор Носков, я и переводчик Ваценко и все военные и статские чиновники, которые находились в Нахичевани, и все уже следовали за гробом до церкви. Здесь офицеры сняли гроб с дрог и внесли в церковь, откуда по отслужении панихиды и отпетии вечной памяти все удалились.

Народу было неимоверное множество; мужчины, женщины и дети, все, кажется, принимали живейшее участие в злополучной участи покойного и нередко слышны были между ними громкие рыдания. Женщины до самого вечера не отходили от церкви; только надобно заметить, что это по большей части были армяне и таковое участие, конечно, делает честь сему народу.

На другое утро, 3 мая, все, которые участвовали прошедшего дня в церемонии, опять собрались в церковь, отслужили обедню, после которой архиерей армянский Парсех говорил речь; по окончании оной отслужил панихиду и отпели вечную память. Тут офицеры Тифлисского пехотного полка попеременно со всеми присутствующими вынесли гроб, пронесли оный посреди в двух рядах выстроенного войска, которое отдало воинскую честь, и поставили на дроги, и шествие опять тихо подвигалось вперед. Стечение народа было еще большее, нежели 2-го числа; трудно было верить, что Нахичевань содержит в себе такое огромное народонаселение.

Все находившиеся в церкви, генералы, штаб- и обер-офицеры провожали покойного до второго источника по

Эриванской дороге. Здесь сняли гроб с дрог, войско сформировало каре вокруг оного, и священник русский отслужил панихиду и отпели вечную память; после чего мы все простились с покойным, прикладываясь ко кресту на гробе его. Исполнив таким образом последний долг и отдав последнюю честь покойному, все возвратились в город.

Приятно и трогательно было видеть живое участие, которое все принимали в несчастной кончине покойного Грибоедова, и это ясно доказывает, что кто хотя только один раз с ним повстретился, уже не мог забыть его.

Долго еще толпы народа с печальными лицами стояли на высотах, окружающих город, и весьма медленно рассыпались.

С сожалением должен я упомянуть, что при открытии гроба тело покойного Александра Сергеевича не имело почти никаких признаков прежнего своего изображения: оно, повидимому, было ужасно изрублено и закидано каменьями и перешло в сильное тление, а потому и законопатили гроб и залили нефтью.

Тело препровождается отсюда чрез Эчмиадзин на Гумри и так далее, с командою, следующею в Джелад-Оглу, и прапорщик Тифлисского пехотного полка Макаров провожает оное до Тифлиса.

Большое утешение, что последнее желание Грибоедова исполнилось, а именно, чтобы тело его не оставалось в Персии.

## ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЯ В АРЗРУМ» [160]

Я стал подыматься на Безобдал, гору, отделяющую Грузию от древней Армении. Широкая дорога, осененная деревьями, извивается около горы. На вершине Безобдала я проехал сквозь малое ущелье, называемое, кажется, Волчьими Воротами, и очутился на естественной границе Грузии. Мне представились новые горы, новый горизонт; подо мною расстилались злачные зеленые нивы. Я взглянул еще раз на опаленную Грузию и стал спускаться по отлогому склонению горы к свежим равнинам Армении. С неописанным удовольствием заметил я, что зной вдруг уменьшился: климат был другой.

Человек мой с вьючными лошадьми от меня отстал. Я ехал по цветущей пустыне, окруженной издали горами. В рассеянности проехал я мимо поста, где должен был переменить лошадей. Прошло более шести часов, и я начал удивляться пространству перехода. Я увидел в стороне груды камней, похожие на сакли, и отправился к ним.

В самом деле, я приехал в армянскую деревню. Несколько женщин в пестрых лохмотьях сидели на плоской кровле подземной сакли. Я изъяснился кое-как. Одна из них сошла в саклю и вынесла мне сыру и молока. Отдохнув несколько минут, я пустился далее и на высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергеры. Три потока с шумом и пеной низвергались с высокого берега. Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» — спросил я их.—Из Тегерана. — «Что

вы везете?» — Грибоеда. — Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис.

Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова. Я расстался с ним в прошлом году, в Петербурге, перед отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия. Я было хотел его успокоить, он мне сказал: Vous ne connaissez pas ces gens-là: vous verrez, qu'il faudra jouer de couteaux [161]. Он полагал, что причиною кровопролития будет смерть шаха и междоусобица его семидесяти сыновей. Но престарелый шах еще жив, а пророческие слова Грибоедова сбылись. Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства. Обезображенный труп его, бывший три дня игралищем тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетною пулей.

Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, — все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем как о человеке необыкновенном. Люди верят только славе и не понимают, что между ними может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в «Московском Телеграфе». Впрочем, уважение наше к славе происходит, может быть, от самолюбия: в состав славы входит и наш голос.

Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств.

Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда со своею молодостию и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностью; уехал в Грузию, где пробыл восемь лет в уединенных, неусыпных занятиях. Возвращение его в Москву, в 1824 году, было переворотом в его судьбе и началом беспрерывных успехов. Его рукописная комедия Горе от ума произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами. Через несколько времени потом совершенное знание того края, где начиналась война, открыло ему новое поприще; он назначен был посланником. Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил... Не знаю ничего завиднее последних годов его бурной жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна.

Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны.

## ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ДОЛГА, ОТДАННОГО А. С. ГРИБОЕДОВУ В ТИФЛИСЕ

### Письмо из Тифлиса к Булгарину

Кому неизвестна несчастная кончина незабвенного А. С. Грибоедова, полномочного министра нашего в Персии. Бывши в тесной связи с покойным, вы лучше других можете оценить сию потерю. Отечество лишилось в нем одного из лучших своих граждан, словесность — первоклассного поэта и бессмертного творца «Горя от ума», и, наконец, все, которые имели удовольствие быть с ним знакомым — человека с умом высоким, творческим, пламенеющего любовью ко всему праведному, изящному и доброму, с редким благородством характера, соединенным с необыкновенною способностью оживлять все окружавшее его. Но только мы, жители Грузии, в состоянии вполне чувствовать утрату сего человека. Грузия была настоящим поприщем его деятельности; здесь он провел лучшее время своей жизни в трудах литературных и по службе. Он любил Грузию так пламенно, так чисто, как редкие любят даже родину свою. Хотя не много сделал он для нее, но желал и успел бы сделать много истинно-полезного, если бы преждевременная кончина не прекратила его деятельности при самом почти начале славного поприща. Можно утвердительно сказать, что, при благотворном попечении нашего правительства, с приведением в исполнение некоторых предположений Грибоедова (с одним из друзей его), через 10 или 15 лет Грузия целым столетием бы подвинулась вперед на поприще просвещения.

Провидению угодно было расположить иначе. Смиримся; роптать не осмелимся, но скорби умерить не можем. Уверен, что и вы совершенно разделяете со мною и со всеми знавшими покойного Александра Сергеевича глубочайшую скорбь о сем неоцененном, незабвенном человеке.

Судьба привела меня быть на двух встречах, сделанных бренным его останкам на границе * и в Тифлисе: и там и здесь горячая признательность к памяти любимого всеми человека яркими выражалась чертами.

1 мая тело покойного министра привезено было к Джульской переправе, через Аракс, на катерах в трахтраване, обитым белым сукном; гроб, в виде ящика, самой простой работы, был покрыт черным плисом и внутри обит кожею; за трахтраваном вели двух парадных лошадей, и назади ехало сто человек персидской конницы с одним султаном. На русском берегу Аракса, тело переложено было в другой гроб и поставлено на дроги. Свиту персидскую сменил батальон наших войск и два орудия. Таким образом, в сопровождении духовенства, генерального консула нашего в Персии и почетных жителей Нахичевани, тело довезено до реки Карабабы, отстоящей от города на четыре версты; отсюда предположена была на другой день парадная процессия.

Печальные предчувствия томили душу нашего поэта при отъезде его из Тавриса в роковой Тегеран. Несколько раз вырывались у него слова: «Я не ворочусь оттуда; не оставляйте костей моих в Персии, но похороните в Грузии».—Предчувствия сбылись: рука азиятского фанатизма не пощадила ни ума, ни возвышенных чувств, уже озаренных блистательными надеждами отечества.

...Мы встречаем прах его...

---

* Замечательно, что один из первых русских, встретивших тело Грибоедова в российских пределах, был поэт наш, А. С. Пушкин, на пути своем в Отдельный Кавказский корпус. Это было в крепости Гергеры, в горах, на границе Персии. Оба поэта умели ценить дарования друг друга. Ф. Б[улгарин].

На другой день прекраснейшее весеннее утро, во всем южном блеске, озарило печальную процессию: впереди ехал взвод черноморских казаков с офицером, за ними шло духовенство: армянский архиерей, многочисленный причет его с образами и хоругвями, и русский священник; далее покрытые траурными попонами шесть лошадей везли колесницу с бренными останками недавно счастливого человека. Балдахин колесницы был из малинового бархата с позолоченными русскими орлами и гербом покойного. За гробом вели двух лошадей: одну парадную под великолепною синею попоною с золотым шитьем, другую траурную. Шествие замыкалось батальоном Тифлисского полка и двумя орудиями. По сторонам процессии теснились безмолвные толпы народа. Говорят, точно так же, за полгода тому назад, но только шумными, веселыми толпами и с радостными чувствами жители встречали А. С. Грибоедова, когда он, торжествующий, в свежем брачном венце, проезжал через этот город в Персию.

Азиятская застенчивость не позволила армянкам выйти навстречу из города; закутанные в белые чадры, они сидели на крышах домов, мимо которых шла процессия, и при виде гроба назврыд плакали. Я еще не видывал в народе такой единодушной, всеобщей печали! Тело поставлено было в Армянской церкви и на другой день повезено далее в Тифлис чрез Эриванскую провинцию.

Если подобная встреча сделана была в Нахичевани, где многие из жителей знали о душевных качествах Грибоедова только по слухам, то можете вообразить, с какими чувствами завидели гроб его жители Тифлиса, где он провел лучшие годы жизни, посвящая их полезным занятиям по службе и литературе и умом своим оживляя общества. Устроенные по Эриванской дороге карантины замедлили привезение тела его до последних чисел июня месяца: с того времени по 18 июля — день, назначенный для погребения, оно находилось в Артачальском карантине, отстоящем от города в трех верстах. Накануне, поздно

вечером, тело перевезено было в Тифлис и поставлено в Сионском соборе, на великолепном катафалке. При сем печальном случае принимал деятельнейшее участие грузинский гражданский губернатор, статский советник П. Д. Завилейской. Во всем видна была общая забота воспользоваться горестным утешением — воздать достойным образом последнюю дань праху любимого гражданина и поэта.

Дорога из карантина к городской заставе идет по правому берегу Куры; по обеим сторонам тянутся виноградные сады, огороженные высокими каменными стенами. В печальном шествии было нечто величественное, и неизъяснимым образом трогало душу: сумрак вечера, озаренный факелами, стены, сплошь унизанные плачущими грузинками, окутанными в белые чадры, протяжное пение духовенства, за колесницею толпы народа, воспоминание об ужасной кончине Грибоедова — раздирали сердца знавших и любивших его! Вдова, осужденная в блестящей юности своей испытать ужасное несчастие, в горестном ожидании стояла с семейством своим у городской заставы; свет первого факела возвестил ей о близости драгоценного праха: она упала в обморок, и долго не могли привести ее в чувство.

На другой день происходило отпевание тела, в присутствии г. военного губернатора, генерал-адъютанта Стрекалова, всех бывших в городе гг. генералов и почетных жителей Тифлиса. После священного служения, совершенного экзархом Грузии, митрополитом Ионою, который весьма трогательным надгробным словом заставил всех бывших в церкви проливать слезы, не могши сам почти говорить от рыданий, тело отвезено было для погребения в монастырь св. Давида * с торжественною церемониею,

* В последний проезд свой через Эривань в Персию, Грибоедов как будто имел предчувствие, что не возвратится оттуда, и неоднократно, шутя, говорил юной подруге своей: «Не оставляй костей моих в Персии: если умру там, то похорони меня в Тифлисе, в монастыре св. Давида».

по составленному на сей случай особенному церемониалу. Все народонаселение города совокупилось в одной улице, по которой проходила процессия; на лице каждого видны были те же горестные чувства, какие обнаруживались накануне, при встрече тела. Надобно заметить, что на многих похоронных церемониях большею частию не с охотою принимают на себя какую-нибудь должность; но тут первейшие из чиновников сами вызвались участвовать в сей печальной процессии. Это делает честь благородному сословию Тифлиса.

Из занимательных писем Х. Ш., помещенных вами прошлого года в «Северном Архиве», вы уже несколько знакомы с монастырем св. Давида. Напомню вам, что он построен на крутизне бесплодной горы, замыкающей город с западной стороны: это местоположение всегда чрезвычайно нравилось Александру Сергеевичу. Однажды, в разговоре со мной, он назвал монастырь сей *пиитическою принадлежностью Тифлиса*. Об этом монастыре он упоминал в трагедии своей «Грузинская ночь».

Тифлис,
20 июля 1829 г.

---

## VI

В душе моей всплывает образ тех,
Которых я любил, к которым ныне
Уж не дойдет ни скорбь моя,
ни смех!

---

... Во сне я опять видел Грибоедова.

В. Кюхельбекер.

## РАССКАЗЫ О ГРИБОЕДОВЕ

### I

Любят старики Грибоедова! Очень любят! Целые часы проходят иногда в толках о нем, в припоминаниях, самых наивных, самых добродушных, согретых искреннею любовью к предмету речи — к Грибоедову. И проходят незаметно. Один — вероятно, в сотый раз — рассказывает другому какой-нибудь случай из жизни покойного Грибоедова, а другой — тоже в сотый раз — слушает с полным вниманием, с любопытством... И вдруг что-нибудь покажется слушателю не так, и он перебивает рассказчика: «Нет, нет, постойте, вы перепутали». И рассказчик останавливается. И вот начинается спор: «Это было тогда-то», или «это было так-то»... А я, питомец новых идей, гражданин новых поколений, слушаю эти рассказы и споры с голодным вниманием, но — сохрани боже — не с голодным вниманием какого-нибудь беллетриста или фельетонного нравоописателя,— нет. Я сознаю сам в себе искреннее глубокое чувство любви к Грибоедову; да, во мне это чувство сознательное, могу сказать, искушенное. И, слушая то, что через... написать страшно. Неужели перо мое осмелится определить ту меру дней, которая отпущена на земле этим двум благородным созданиям, этим двум старикам. Нет, дай бог им еще счастливых много дней, как сказал наш Пушкин. Да, дай бог!

У Бегичева семейство: только 13 лет старшему сыну, а там все мал-мала меньше, как говорит русская поговорка. И надо видеть, какой отец, какой умный, добрый

и попечительный отец этот почтенный старик Бегичев! А старик Ион, доктор прав, воспитатель Грибоедова!.. Этот старик, ученый доктор, немец *, теплая и сама в себе замкнутая душа, оплакал как-то с год, что ли, тому назад, смерть своего попугая. В этой почти детской привязанности не видна ли самая гуманистическая природа. И старик Ион написал стихи на смерть своего попугая. Надо видеть их, особенно слышать их говорящими о Грибоедове, чтобы их полюбить. Их позы и фигуры стоят иногда кисти Ван-Дейка.

---

1842 года, февраля 27-го, часов в 10 вечера отправился я к Бегичеву. Я застал его и старика Иона беседующими в кабинете. Приняли меня, как и всегда, ласково. Слово за слово речь зашла о Грибоедове, и я услышал следующее.

14 декабря 1825 года наделало, как известно, много суматохи в России. На Грибоедова, между прочим, тоже

---

* Это указание на немецкое происхождение Иона свидетельствует, что немцы не переводились в доме Грибоедова: 1) Сначала Петрозиллус, «учительский халат, перст указательный, сиянье гуменца» которого долго потом не мог забыть поэт; 2) Th. Buhle, оказавший сильное влияние в университете на автора «Горя от ума». 3) В. В. Шнейдер, товарищ университетский Грибоедова, впоследствии профессор СПБ университета; 4) Б. И. Ион, ученый педагог, любитель театра, — был помощником управляющего немецким театром в С.-Петербурге, в 1819 году; 5) Даже в 1823 г. при Марье Сергеевне, сестре писателя, была какая-то немка в московском доме Грибоедовых, что явствует из приписки М. С., сделанной на записке А. С. Грибоедова к кн. В. Ф. Одоевскому: «Mon allemande étant sortie, et le livre se trouvant dans sa chambre [164]» (см. в рукописном отделении Публичной библиотеки автографы Грибоедова)... Немудрено, что поэт воскликнул:

Как с ранних лет привыкли верить мы,
Что нам без немцев нет спасенья.

или —

Что ничего нет выше немца,

как стояло в первоначальной, московской редакции «Горя от ума».

пало подозрение правительства. В феврале * 1826 года прискакал в Грузию к А. П. Ермолову курьер с повелением арестовать Грибоедова и отправить немедленно в Петербург. Ермолов и Грибоедов, несмотря на различие лет и поста, были связаны тесными отношениями: с глазу на глаз они говорили друг другу *ты*. Прискакавший курьер нашел за ужином Ермолова с гостями, в числе которых был и Грибоедов. Они ужинали запросто, весело и беспечно. Когда доложили Ермолову о приезде курьера, он вышел из-за стола и, прочитавши депешу в другой комнате, возвратился бледный и встревоженный и вызвал к себе Грибоедова. Грибоедов принял полученную Ермоловым весть очень равнодушно.

— Ступай домой, — сказал ему Ермолов: — я могу дать тебе только два часа свободного времени, сожги все, что можешь.

Грибоедов отказался упрямо и решительно; он не сделал ни шагу из квартиры Ермолова и велел принести себе туда из своей квартиры нужные вещи, платье, белье, деньги и прямо из квартиры Ермолова поскакал с курьером в Петербург **. Видно, совесть была чиста. И в самом

* Фельдъегерь Уклонский с приказанием арестовать Грибоедова прибыл в крепость Грозную к А. П. Ермолову не в феврале, а 22 января 1826 г. вечером и на другое же утро увез Грибоедова.

** От этого указания на нежелание Грибоедова сходить домой Л. А. Смирнов, повидимому, впоследствии отказался. В 1865 г. он сам написал: «Грибоедов ушел, и, после назначенного срока, Ермолов пришел арестовать его со всей толпой — с начальником штаба и адъютантами» (см. «Беседы О. Л. Р. Словесности», вып. II, М. 1868, «А. С. Грибоедов», отделение 2-е, стр. 22). Единственный очевидец ареста Грибоедова, рассказавший об этом («Русск. Арх.», 1875 г., кн. 7, стр. 339 — 341), Н. В. Шимановский свидетельствует, что бумаги Грибоедова уничтожил его человек Алексаша (вероятно, Сашка Грибов, молочный брат поэта) в отсутствие Грибоедова, по чьему-то приказанию. Однако, часть бумаг все-таки была отобрана у Грибоедова (как видно из дела об аресте колл. асс. Грибоедова в архиве гражданского управления на Кавказе) и, зашитая в холст, с печатями присутствующих (полковника

деле, совесть его была чиста в этом деле. «Я говорил им, что они дураки» — вот слова Грибоедова, которые всегда повторял Степан Никитич, говоря об отношениях его к заговорщикам *.

Грибоедов имел удивительную способность влюблять в себя все его окружающее. Можно сказать смело, что все, что только было около него, любило его. И немудрено: это был такой высокий, чистый, человечественный характер. Еще прежде слыхал я от Бегичева, что товарищи Грибоедова по службе или, может быть, просто люди знакомые, находившиеся так же, как и он, при особе Ермолова, отпуская Грибоедова в Петербург с прискакавшим за ним курьером, крепко-накрепко наказывали этому курьеру довезти Грибоедова цела и сохранна, или никогда уже к ним не показываться: этот курьер имел частые поручения в Грузию. Грибоедов, как видно, не очень беспокоился о том, что его ждет в Петербурге, и хотел ехать не иначе, как à son aise [165]. А можно ли было так ехать с курьером, присланным взять его и доставить в Петербург по подозрению правительства? Однако, так было, и Грибоедов ехал à son aise. Он ночевал в Новочеркасске, а какую штуку отшил

---

Мищенко, поручика Талызина и фельдъегеря Уклонского), без описи сдана под расписку Уклонского (Е. Г. Вейденбаум. «Кавказские этюды». Тифлис, 1901, стр. 261 — 267). О судьбе этого пакета см. ниже в рассказе А. А. Жандра.

* Можно предположить, что С. Н. Бегичев не хотел с 23-летним молодым человеком распространяться на политические темы и выражал не Грибоедова, а, может быть, личное отношение к заговорщикам. Впрочем, и позднее, в 1865 году, Смирнов приводит выражение Грибоедова: «Сто человек прапорщиков хотят изменить весь государственный быт России». Тем замечательнее приводимое ниже показание А. А. Жандра о «полном» участии А. С. Грибоедова в заговоре декабристов и его объяснение фразы Грибоедова о ста прапорщиках. Д. А. Смирнов в 1865 г. был связан словом, так как был жив А. А. Жандр, повидимому, не разрешивший ему печатать своих рассказов о Грибоедове, и потому умолчал об этом важном разъяснении друга Грибоедова.

в Москве, так это, действительно, можно только с грибоедовским характером. Вот она, по рассказу Бегичева.

Приехавши в Москву, Грибоедов проехал прямо в дом Дмитрия Никитича *, в Старой Конюшенной, в приходе Пятницы Божедомской. Он не въехал к Степану Никитичу, вероятно, для того, чтобы не испугать его. Дельно!

— В этот самый день, — рассказывал Бегичев, — как Грибоедов приехал в Москву, у меня был обед: съехались родные **. Брат Дмитрий Никитич должен был, разумеется, обедать у меня же в обществе родных. Ждали мы его, ждали — нет. Сели за стол. Во время самого обеда мне вдруг подают от брата записку следующего содержания: «Если хочешь видеть Грибоедова, приезжай, он у меня». На радостях, ничего не подозревая, я бухнул эту весть за столом во всеуслышание. Зная мои отношения к Грибоедову, родные сами стали посылать меня на это, так неожиданно приспевшее свидание. Я отправился. Вхожу в кабинет к брату. Накрыт стол, сидит и обедает Грибоедов, брат и еще безволосая фигурка в курьерском мундире ***. Увидал я эту фигурку, и меня обдало холодным потом. Грибоедов смекнул делом и сей же час нашелся. «Что ты смотришь на него?» сказал мне Грибоедов, указывая на курьера. «Или ты думаешь, что это так просто курьер? Нет, братец, ты не смотри, что он курьер, он знатного происхождения: испанский гранд Дон Лыско-Плешивос-ди-Париченца». Этот фарс рассмешил меня своею неожиданностью и показал, в каких отношениях находится Грибоедов к своему телохранителю. Мне стало легче. Отобедали, говорили, Грибоедов был весел и покоен, как нельзя больше. «Ну, что, братец», сказал

* Дмитрий Никитич Бегичев.

** В 1865 году после этих слов добавлено: «провожать брата моей жены А. И. Барышникова, возвращающегося из отпуска на службу».

*** Фельдъегерь Уклонский.

он наконец своему телохранителю, «ведь, у тебя здесь есть родные, ты бы съездил повидаться с ними». Телохранитель был очень рад, что Грибоедов его отпускает, и сейчас же уехал. Мы остались одни. Первым моим вопросом Грибоедову было удивление, какими судьбами и по какому праву распоряжается он так своевольно и временем, которое уже не принадлежало ему, и особою своего телохранителя. «Да, что», отвечал мне Грибоедов, «я сказал этому господину, что если он хочет довезти меня живого, так пусть делает то, что мне угодно. Не радость же мне в тюрьму ехать!» Грибоедов приехал в Москву в 4 часа *, около обеда, а выехал в 2 часа ночи.

— На третий день, — прибавляет Бегичев, — после проезда Грибоедова через Москву я был у его матери Настасьи Федоровны, и она с обычной своей заносчивостью ругала Грибоедова: «карбонарий» и то, и се, и десятое. Проездом через Тверь, как я от него узнал после, он опять остановился: у телохранителя была в Твери сестра, и они въехали к ней. К счастью и несчастью Грибоедова, он, войдя в комнату, увидел фортепиано, и, глубокий музыкант в душе, ученый теоретик **, он не мог вытерпеть и сел за фортепиано. Девять битых часов его не могли оторвать от инструмента. В Петербурге Гри-

---

* По редакции 1865 года: «около 4 часов пополудни» (вероятно, 7 — 8 февраля 1826 года).

** М. И. Глинка ценил музыку А. С. Грибоедова. В своих записках он отмечает (1828 г.): «Провел около целого дня с Грибоедовым, автором комедии «Горе от ума». Он был очень хороший музыкант и сообщил мне тему грузинской песни, на которую вскоре потом А. С. Пушкин написал романс: «Не пой, волшебница [sic], при мне...» (см. «Записки М. И. Глинки», СПБ, 1887, стр. 48). До сих пор исполняется на сцене при постановке «Горя от ума» вальс сочинения автора (см. «Историческ. Вестн.», 1889, март, «Воспоминания о Бегичеве» Е. П. Соковниной, стр. 672 и сл.). Два вальса А. С. Грибоедова были напечатаны еще в «Лирическом альбоме» на 1832 год (стр. 26 и 27).

боедова засадили в Главный штаб. Скучно стало там сидеть Грибоедову. Может быть, сознание правоты своего дела еще усилило эту томительную однообразную скуку и придало тот резкий и желчный характер, которым так отличается всякое выражение Грибоедова. Вот четверостишие, сказанное им в этом грустном заключении:

По духу времени и вкусу
Я ненавидел слово раб:
Меня позвали в Главный штаб
И потянули к Иисусу *.

Но и тут очарование личного характера Грибоедова не исчезло. Может быть, тут-то оно и проявилось в высшей степени. Прав или нет был Грибоедов, но он все-таки содержался по подозрению, все-таки был арестантом, и, боже мой, какое было дело надсмотрщику, этой ходячей машине, едва-едва разумеющей приказания начальства и только разумеющей одно исполнение, — какое ему было дело до личных интересов арестанта! Как мог он почувствовать какое-нибудь участие к одному из много множества своих клиентов? Вот что об этом времени жизни Грибоедова рассказывал Бегичев:

— Я сказал уже, что Грибоедов был глубокий музыкант, и, сидя в Главном штабе, он так очаровал своего надсмотрщика, что тот выпускал его всякую ночь подышать северным воздухом, и Грибоедов всякую ночь ходил в дом Жандра ужинать и играть на фортепиано **.

Бегичев через Жандра послал Грибоедову 1.000 рублей.

---

* Любопытно отметить, что даже в 1865 г. Д. А. Смирнов, несмотря на то, что считал это четверостишие общеизвестным, находил, что его «неудобно» печатать, и не привел его. (См. «Беседы О. Л. Р. Словесности», 1868, стр. 20.)

** Это удостоверяет и сам Жандр. Вероятно, это было, однако, не в первый месяц ареста — период письменных сношений краткими записочками с Булгариным, бывавшим ежедневно в типографии, где печатались издания Н. И. Греча, неподалеку от Главного штаба, на углу Невского и Морской.

Да, вот до какой степени простиралась привязанность этого надсмотрщика к Грибоедову и до чего доводила Грибоедова томительная скука заключения. Вот еще факт и пресмешной. Я слышал это от Степана Никитича Бегичева. Грибоедов сидел в одной и той же комнате вместе с тремя, кажется, другими лицами не из сильно заподозренных. Раз Грибоедов так сильно озлобился на свое положение, что громко разругал все и всех, кого только было можно, и выгнал своего надсмотрщика, пустив в него чубуком с трубкой. Товарищи заключенного так и думали, что Грибоедов после этой отчаянной вспышки погиб. И ничего не было вероятнее. Однако, что же вышло? До какой степени привязался к нему надсмотрщик? Через полчаса или менее после того, как Грибоедов пустил в него чубуком, дверь полурастворилась, и надсмотрщик спрашивает:

— Александр Сергеевич, что вы еще сердиты, или нет?

Это рассмешило Грибоедова.

— Нет, братец, нет! — закричал он ему.

— К вам можно войти?

— Можно.

— И чубуком пускаться не будете?

— Нет, не буду.

Вот что делал и что делалось с Грибоедовым во время его невольного затворничества. Оно продолжалось довольно долго. Грибоедов высидел 4 месяца, пока тянулось следствие. Он был оправдан, и государь призвал его к себе и сказал ему: «Я был уверен, Грибоедов, что ты не замешан в этом деле. Но если тебя взяли наравне с другими, это была необходимая мера. Отправляйся к месту своей службы. Жалую тебя надворным советником и даю для проезда двойные прогоны» *. Милость государя была

* Аудиенция Грибоедову была дана, вероятно, 2 июня 1826 г. Николай I, еще будучи великим князем, лично знал Грибоедова (см. письмо Грибоедова к Бегичеву от 10 июня 1824 года: «вчера я нашел у Паскевича великого князя Николая Павловича...»).

чувствительная для Грибоедова. Он попросил у царя лист о пожаловании его чином* и выдаче двойных прогонов. Государь не отказал в этой просьбе. Где этот лист, куда он девался, неизвестно. Грибоедов отправился к своему посту вместе с Паскевичем, который был послан наблюдать, а впоследствии и сменить знаменитого Ермолова. Обстоятельства случайно поставили Грибоедова между ними. Связанный с Паскевичем узами родства, он был связан с Ермоловым узами дружбы. Зная скрытую цель поездки Паскевича, Грибоедов по врожденному чувству деликатности не желал, по крайней мере, приехать к Ермолову вместе с Паскевичем. Для этого он отправился в деревню к Бегичеву, предварительно сказавши Паскевичу, что догонит его в Воронеже. Грибоедов был твердо уверен, что Паскевич не дождется его, однако тот дождался.

Не знаю, именно, сколько времени пробыл Грибоедов в этот проезд у Бегичева [167]. Но, кажется, сюда следует отнести следующий факт. «Я-было чуть-чуть не женился в Москве», сказал Грибоедов Бегичеву. Это немножко удивило Бегичева. И вот Грибоедов рассказывает ему, что встретил в Москве дочь какого-то частного пристава, которая похожа лицом на жену его Анну Ивановну, и даже вздумал было жениться. Грибоедов очень уважал Анну Ивановну**.

Как велико было участие Грибоедова в последней персидской войне (1826—28 гг.), об этом мы говорить не станем. Жаль, а так всегда делается, что слава принадлежит не *главному*, а *старшему*. Впрочем, так и быть должно. Превосходно знавший персидский быт и самый дух народа и даже самую местность, друг Аббаса-Мирзы,

* Вероятно, речь идет не о листе о пожаловании чином, а об «очистительном аттестате», который, действительно, был выдан при освобождении Грибоедову [166].

** Об этой попытке Грибоедова в 1826 г. жениться на дочери частного пристава нет нигде указаний в биографической литературе о Грибоедове.

Грибоедов был правою рукою Паскевича: и не будь этой руки, мы, может быть, увидали бы, что Паскевич не... Все движения к Аббас-Абаду, Эчмиадзину и даже к самой Эривани были подвинуты решительностью Грибоедова, который беспрестанно, так сказать, толкал вперед Паскевича, не знавшего ни персиян, ни местности. Вот пример. Когда Аббас-Мирза затворился в Эривани, Паскевич, зная личные отношения Грибоедова к персидскому наследнику, послал Грибоедова к Аббас-Мирзе с такого рода мирными предложениями, на которые последний не согласился. Что же вышло? Грибоедов увидел, в каком положении находилась Эривань; возвратясь, настоял на том, чтобы двинуться к ней, обещая успех верный. Эривань была взята и Паскевич получил титло Эриванского *.

Об отношениях Грибоедова к Аббасу-Мирзе должно сказать, что наследник до такой степени привязался к Грибоедову, что мешал даже ему заниматься делами, или беспрестанно требуя его к себе, или сам приходя к нему. «Мне нет другого средства, как сказаться больным, чтобы заниматься», говорил Грибоедов Иону.

---

* По редакции 1865 г. («Беседы О. Л. Р. Словесности», 1868 г. вып. 2, стр. 26) Д. А. Смирнов еще сильнее подчеркивает участие Грибоедова в персидской войне 1826 — 28 гг. «С половины мая 1827 г. мы видим Грибоедова в персидском походе с Паскевичем. Пишущему эту статью положительно известно то деятельное участие, которое принимал Грибоедов не только в заключении Туркманчайского договора, бывшего именно созданием Грибоедова, но и в самом ходе кампании. С Паскевичем, близким родственником и человеком, который был ближе к нему по летам, Грибоедов мог говорить свободнее, чем с Ермоловым. Он беспрестанно старался приводить в действие главную пружину дела—«не уважать неприятеля, который того не стоит». Движения к Аббас-Абаду, даже к самой Эривани были следствием личных, самых убедительных настояний Грибоедова. Во время этой войны явились во всем блеске его огромные дарования, вполне обработанные многосторонней правильной образованностью, его дипломатический такт и ловкость, его способность к труду, огромному, сложному и требующему больших соображений».

Многие ли также знают о хладнокровной храбрости Грибоедова. Доктор Ион мне сказывал, что Паскевич в письмах своих* в Москву жаловался, что «слепой (Грибоедов был очень близорук), не внимая никаким убеждениям, разъезжает себе в первых рядах под пулями» [168].

## II

Это было в 1817 году. Истомина была известная танцовщица на петербургской сцене. Как все театральные героини, а тем более балетные божества, Истомина имела поклонников и обожателей. Счастливейшим из них был Вася Шереметев (не граф). Этому Васе, traditur, досталась опа intacta [169]: пусть так, но дело вот в чем. Грибоедов и Ион жили вместе. Ион в это время сделался директором немецкого театра в Петербурге** и переселился куда-то поближе к театру. Грибоедов переехал к Завадовскому. Истомина бывала часто в квартире Грибоедова вместе со своим обожателем, и все трое обходились en ami*** Грибоедов и не думал ухаживать за Истоминой и метить на ее благосклонность, а обходился с нею запросто по-приятельски и короткому знакомству. Переехавши к Завадовскому [170], Грибоедов после представления взял по старой памяти**** Истомину в свою карету и увез к себе в дом

---

* Эти письма были адресованы к родной тетке жены Паскевича (Елизаветы Алексеевны)—к Настасье Федоровне Грибоедовой. Указание на Иона как на первоисточник этого свидетельства сделано впервые.

** В архиве дирекции императорских театров мы не нашли, однако, подтверждения на это указание. Б. И. Ион в 1817 г. совсем не упоминается в документах, касающихся немецкого театра. Мы нашли его подпись только с 1819 года.

*** Еще за год до дуэли (9 ноября 1816 г.) Грибоедов писал из Петербурга С. Н. Бегичеву: «В воскресенье я с Истоминой и с Шереметевым еду в Шустерклуб; кабы ты был здесь, и ты бы с нами дурачился».

**** На самом деле Грибоедов, зная о разрыве Шереметева с Истоминой, привез ее в дом к Завадовскому, где они втроем

Завадовского. Как в этот же самый вечер пронюхал некто Якубович, храброе и буйное животное, этого не знают, Только Якубович толкнулся сейчас же к Васе Шереметеву и донес ему о случившемся, прибавляя, что Грибоедов привез Истомину к Завадовскому и, стало быть, для него хлопочет. Пьяные прикатили в дом к Завадовскому Якубович с Шереметевым, завязалась ссора, и дело дошло до картели. Завадовский и Шереметев должны были стреляться. На место дуэли* вместе с Завадовским поехали Грибоедов, Ион и еще кое-кто. Барьер был на 12 шагах. Первый стрелял Шереметев и слегка оцарапал Завадовского; пуля пробила борт сюртука около мышки. По вечным правилам дуэли Шереметеву должно было приблизиться к дулу противника еще на 5 шагов. Он подошел. Тогда многие стали довольно громко просить Завадовского, чтобы он пощадил жизнь Шереметеву.

— Я буду стрелять в ногу, — сказал Завадовский.

— Ты должен убить меня, или я рано или поздно убью тебя, — сказал ему Шереметев, услышавший эти переговоры. — Chargez mes pistolets [171], — прибавил он, обращаясь к своему секунданту.

Завадовскому оставалось только честно стрелять по Шереметеву. Он выстрелил, пуля пробила бок и прошла через живот, только не навылет, а остановилась в другом боку. Шереметев навзничь упал на снег и стал нырять по снегу, как рыба. Видеть его было жалко. Но к этой печальной сцене примешалась черта самая комическая. Из числа присутствовавших при дуэли был Каверин [172], красавец, пьяница, шалун и такой сорви-голова и бреттер, каких мало. Он служил когда-то адъютантом у Бенигсена и проказил в Гамбурге до того, что был целому городу и околотку известен под именем «красного гусара». Бениг-

провели вечер. А по неопубликованному донесению и. д. обер-полицей-мейстера, представленному министром полиции Александру I, Истомина у Завадовского «ночевала две ночи».

* На Волковом поле 12 ноября 1817 г., в 2 часа пополудни.

сен должен был после спровадить эту удалую голову, потому что от нее никому житья не было. Когда Шереметев упал и стал в конвульсиях нырять по снегу, Каверин подошел и сказал ему прехладнокровно:

— Вот те, Васька, и редька! *

Пуля легко была вынута тут же припасенным медиком. Якубович взял эту пулю и, положив ее в карман, сказал Завадовскому:

— Это тебе.

Шереметев прожил после дуэли немного более суток. Он непременно хотел видеть Грибоедова, и когда тот приехал к нему, то Шереметев просил у него прощения и помирился с ним **. Отец Шереметева, зная распутную жизнь сына, объяснил государю, что ожидал своему сыну подобного конца, и просил простить всех участвовавших в этом деле. Государь простил всех, но поджога Якубович был сослан на Кавказ. Еще до отъезда он в разговорах с другими грозил, что Грибоедову эта шутка не пройдет даром. Судьба велела Грибоедову встретиться с Якубовичем на самом, так сказать, первом шагу в Тифлисе, потому что очень скоро после этого дела Грибоедов был там, отправясь на службу. Только что он приехал в Тифлис и вошел в какую-то ресторацию, как чуть ли не на лестнице встретился с Якубовичем. Грибоедов сказал ему, что слышал об его угрозах, и просил разделки. Они стрелялись ***. Якубович был легко ранен. Грибоедову пуля

* См. ниже в беседе с Жандром поправку и объяснение этого выражения.

** Об этом примирении с Грибоедовым не упоминает ни один биографический источник. Письмо самого А. С. Грибоедова к С. Н. Бегичеву об этой дуэли не сохранилось (вероятно, оно уничтожено самим же Бегичевым). В нем Грибоедов писал, что на него «напала ужасная тоска», он видит «беспрестанно перед глазами умирающего Шереметева, и пребывание в Петербурге сделалось» для него «невыносимо».

*** Об этой дуэли см. полн. собр. сочин. Грибоедова под ред. И. Шляпкина, СПБ, 1889, т. I, стр. 29 - 30 и 47: «Ты мне пеняешь,

прошибла ладонь левой руки близ мизинца. После, чтобы играть на фортепиано, он должен был заказать себе особую аппликатуру.

---

Причина ужасной, мученической смерти Грибоедова все еще остается непроницаемой тайной. Убили русского посланника — и пусть его убила азиатская чернь, все-таки это факт небывалый. Между условиями мира, заключенного Россией с Персией, было следующее: всем русским, желающим возвратиться в отечество, персидское правительство должно было давать свободный пропуск без малейшей задержки и насилия. В числе жен одного персиянина была русская, которая пожелала возвратиться на родину. Персиянин не пускал ее. Она ушла от него, и Грибоедов принял ее в посольский дом. В народе диком это возбудило негодование, которое, однако, держалось скрытно, в состоянии глухого возмущения, до следующего случая. Раз в базарный день лакеи Грибоедова затронули что-то персидских женщин. Искра попала в порох. Пошла резня. Приступили к дому Грибоедова. Он, видя опасность, кинулся навстречу бунтующей черни с пистолетами и ятаганом, но, увидевши превосходство целой массы, скрылся и заперся в какой-то беседке вместе с несколькими русскими. Беседку подожгли. Разломали ли у этой беседки двери, растворил ли их сам Грибоедов, неизвестно. Известно только, что, когда приспел отряд шаховой гвардии под начальством капитана для усмирения черни, Грибоедов и все русские, в том числе 150 человек казаков, составлявших почетный караул Грибоедова, погибли. Шах наложил на двор трех-

---

зачем я не увсдомляю тебя о простреленной моей руке. Стоит ли того, друг мой. Еще бы мне удалось раздробить ему плечо, в которое метил! А то я же заплатил за свое дурачество. Судьба... В тот самый день, в который... Ну, да бог с ним. Пусть стреляет в других, моя прошла очередь».

дневный траур. Хозрев-Мирза, как известно, был в России для личного объяснения с государем, но Грибоедова уже не стало...

---

Через год после приезда в Петербург я встретился (19 ноября 1842 г.) с Булгариным у Межевича [173], к которому приехал обедать. Булгарин тут не обедал, он пробыл какой-нибудь час и уехал. Но в продолжение этого часа мы говорили о Грибоедове. Мы сидели в кабинете Межевича. Свеча стояла недалеко от стены, где висел портрет Грибоедова. Булгарин, ходя по комнате, взял свечу и поднес ее к портрету.

— Вам это лицо должно быть хорошо знакомо, — сказал я ему.

Он, разумеется, отвечал утвердительно.

Цельного не было ничего. Обращу внимание на главное в разговоре моем с Булгариным, который вскоре после смерти Грибоедова назвал себя его другом. Доселе я думал, что существует только один автограф «Горе от ума» у Бегичева. Теперь нашелся еще другой — у Булгарина. Межевич, передавая мне это известие, сказал, что на этом автографе рукою Грибоедова написано: «Тебе, мой Фаддей, отдаю мое Горе» *. Существование этого автографа у Булгарина подтверждено мне им самим при этой нашей встрече. Кроме автографа «Горе от ума», по словам Булгарина, у него находится множество разных бумаг, собственноручных Грибоедова, бумаг **, которые напечатать невозможно. Булгарин очень верно выразился, сказав,

* Экземпляр списка «Горя от ума» подарен автором Булгарину с собственноручной надписью: «Горе мое поручаю Булгарину. Верный друг Грибоедов. 5 июня 1828». Только эта надпись и сделана рукой Грибоедова, остальное же все написано писарской рукой и носит следы подчисток и поправок рукой Булгарина и др. Список этот с портретом А. С. Грибоедова вделанным в переплет, хранится в Публичной библиотеке.

** Часть этих бумаг была напечатана в «Русск. Стар.», но многие исчезли бесследно.

что Грибоедов родился с характером Мирабо. Рассмотрите глубже эти слова и в основании их вы откроете истину. Булгарин не читал, как мне сказывали, биографии Полевого. Он презирает Полевых, как это можно видеть из слов его, и отрицает их знакомство с Грибоедовым.

— Человек прошелся как-то с ним (Кс. Полевым) по саду... а они уж и пишут, — сказал он насмешливо.

Портрет, приложенный при издании Полевого *, списан, по словам Булгарина, с портрета, находящегося у Марии Сергеевны Дурново, а этот последний с портрета, находящегося у Булгарина.

## III

28 апреля [1858 г.], часов около 10 утра, я в первый раз позвонил у двери сенатора Андрея Андреевича Жандра, вслед затем отдал отворившему мне человеку, для передачи сенатору, рекомендательное о мне письмо Степана Никитича Бегичева и не более полуторых минут ждал приема: боковая из швейцарской дверь отворилась. «Пожалуйте!» Я вошел в кабинет. Очень понятно, почему я был принят так скоро: в письме Степана Никитича, которое было доставлено мне стариком несколько месяцев тому назад нераспечатанное, находилось благодетельное для меня выражение, отворявшее мне все двери: «родственник Грибоедова» и, кроме того, следующие, очень мне памятные строки: «Я знаю Смирнова давно и даже позволил ему снять копии со всей переписки со мной Грибоедова. Сообщишь ли ты ему что-нибудь или нет — твоя воля, но за честность его побуждений и характера я вполне ручаюсь». Бегичев подобных слов не напишет даром.

У самых дверей кабинета меня встретил высокий, очень высокий, сухой как скелет старик, одетый в узень-

* «Горе от ума» А. С. Грибоедова, 2-е издание, с приложением портрета автора и статьи К. Полевого «О жизни и сочинениях А. С. Грибоедова», СПБ, 1839, стр. 202.

кое темно-коричневого цвета пальто, которое только увеличивало или, по крайней мере, выказывало всю его худобу. Голова у этого старика—редькой, корнем вверх, лицо все в морщинах, маленькие серые глаза смотрят умно и серьезно, и вся фигура была бы строгая и серьезная, если бы ее не смягчала ласковая, добрая улыбка.

Я отрекомендовался. Жандр дружески протянул мне руку, усадил меня в громадные, старо-фасонные, может быть, настоящие «вольтеровские» кресла и начал читать письмо.

— Давно ли видели вы Степана Никитича? — обратился он ко мне с вопросом, окончивши чтение.

— Прошлой осенью. Я прожил у него более недели в его тульской деревне Екатерининском.

— Здоров он?

— По крайней мере, при мне был здоров.

— По-нашему... — старик улыбался. — Мы с ним недалеко друг от друга ушли: ему должно быть...

— Семьдесят два года, — докончил я.

— А мне скоро семьдесят. Мы перед вами, людьми нового поколения, похвастать можем. Я, например, несмотря на мои годы, никак не могу пожаловаться на здоровье: я человек сухой, легкий, воздержный, редко бываю болен. Всякий божий день я иду из сената пешком; разумеется, за мной едет карета... на всякий случай; оно лучше, знаете. Давно вы приехали?

— Вчера утром.

— Надолго?

— Как бог даст. Цель моей поездки уже известна вашему превосходительству из письма Степана Никитича. Если позволите, я расскажу вам ее коротко, но несколько подробней.

Я сказал все, что мне было нужно, и кончил словами:

— Многое зависит от вашего превосходительства. Я не скрываю от вас, что вы были одной, и, может быть, даже главной, целью моей поездки. Позвольте мне надеяться, что вы не откажете мне в содействии...

— Не думаю, чтобы мое содействие принесло вам большую пользу...

Меня слегка покоробило.

— У меня нет ни одной строки Грибоедова... Было одно письмецо, да и то выпросил Булгарин. Но я очень рад с вами познакомиться, надеюсь, что мы будем видаться с вами часто...

Я поклонился.

— И я охотно буду вам рассказывать о Грибоедове все, что знаю, и все, что помню.

«Это едва ли еще не лучше», подумал я.

— Я всякий вечер, начиная с восьми часов, дома. Когда хотите, милости просим, всегда вам рад.

И после этой речи, которую я мог принять за вежливым образом сказанное «теперь прощайте», старик, вспомнивши о Грибоедове по поводу общей их комедии «Притворная неверность», разговорился и проговорил более получаса.

— Не можете ли, по крайней мере, вы, ваше превосходительство, оказать не только мне, но и всей русской публике следующую важную услугу: отметить в «Притворной неверности» то, что принадлежит Грибоедову*.

— Нет, не могу... Давно было, много с тех пор воды утекло.

И тут, яснее обыкновенного, показалась на губах старика добрая улыбка.

Это был мгновенный, но ясный луч, осветивший мне личность этого человека. Я понял, с кем имею дело.

Все, что рассказывал мне тут, утром, Андрей Андреевич, я совокуплю с рассказами его в вечернее мое посещение того же дня. Да, я был у него в тот же день ве-

* «Притворная неверность», комедия в одном действии в стихах. Переведена с французского А. Грибоедовым и А. Жандром. СПБ. В типографии Н. Греча. 1818. Что принадлежит в ней Грибоедову и что Жандру, если не считать мелких поправок, известно из письма Грибоедова к С. Н. Бегичеву от 15 апреля 1818 г.

чером, потому что по тону и общему характеру приема, мне сделанного Жандром, я почел себя вправе в тот же день воспользоваться данным мне позволением посещать его, когда мне угодно, после восьми часов вечера. Искушенье было слишком велико: друг Грибоедова, много о нем знающий, да к тому же от угла Торговой и Мастерской, где моя квартира, рукой подать до угла Грязной и Садовой, где он живет, стоит только переехать на лодке Фонтанку *.

Может быть, я не запишу обоих наших разговоров, и утреннего и вечернего, в порядке и последовательности, но уверен, что не упущу из них ничего главного.

— Вы были в Петербурге, ваше превосходительство, когда привезли сюда Грибоедова как декабриста?

— Да, в Петербурге.

— Степан Никитич, и не один раз, говорил мне... Но, позвольте прежде этого другой и очень важный для меня, да и не для одного меня, вопрос: скажите, какое впечатление произвел на публику арест Грибоедова? Это обстоятельство гораздо важнее, нежели кажется с первого поверхностного взгляда, и ваше на этот раз показание вполне драгоценно.

«Угол падения», подумал я в эту минуту геометрической истиной, «не в одном вещественном, но и в нравственном мире равен углу отражения».

— Огромное, — ответил мне Жандр, смотря на меня прямо, как бы желая вразумить меня. — Огромное, — повторил он. — По городу пошла молва, толки: «Грибоедова взяли, Грибоедова взяли...»

— А, — сказал я, не скрывая того отрадного чувства, которое овладело мной в эту минуту, чувства, в котором была смесь и радости и какой-то гордости за человека, которому чужда теперь всякая гордость, но память которого люблю я так сильно. — Стало быть, имя было слишком громко, слишком народно.

---

* Очевидно, Екатерининский канал.

— Еще бы! Такие ли я вам еще на этот раз чудеса расскажу. Однако вы начали и не кончили: что же вам говорил Степан Никитич?

— Он говорил мне и, повторяю и вместе прошу вас заметить, не один раз, что Грибоедов, которого засадили в Главный штаб, всякую ночь приходил оттуда к вам.

— Совершенная правда. Всякую ночь приходил, ужинал или пил чай и играл на фортепиано. Последнее-то и было его отрадой: вы, конечно, знаете, что он был замечательный музыкант, — музыкант не только ученый, но страстный. Он возвращался от меня в свою конуру или поздно ночью, или на рассвете.

— Да как же, боже мой, все это делалось? Слышишь и ушам не веришь. Между тем, слышишь все это от людей, в словах которых нет никакой возможности сомневаться.

— Делалось, а потому и делалось, что Грибоедов имел удивительную, необыкновенную, почти невероятную способность привлекать к себе людей, заставлять их любить себя, именно «очаровывать». Я не знаю, как Степан Никитич рассказывал вам историю его ареста, но расскажу ее вам, в свою очередь и в доказательство справедливости слов, сейчас мной сказанных. Вы знаете, что тогда он служил при Ермолове и взят он был во время какой-то экспедиции, в каком-то местечке, имени которого не вспомню.

— Я вам помогу, ваше превосходительство, он был взят в Екатериноградской станице *.

— Кажется, что так. Подробности его ареста очень любопытны и характеристичны именно как доказательство той привязанности, которую умел внушать к себе Грибоедов. Когда к Ермолову прискакал курьер с приказанием арестовать его, Ермолов, — заметьте Ермолов, человек

---

* Это неверно. Грибоедов был арестован в крепости Грозной 22 [23] января 1826 года.

вовсе не мягкий, — призвал к себе Грибоедова, объявил ему полученную новость и сказал, что дает ему час времени для того, чтобы истребить все бумаги, которые могли бы его скомпрометировать, после чего придет арестовать его со всей помпой — с начальником штаба и адъютантами. Все так и сделалось, комедия была разыграна превосходно. Ничего не нашли, курьер взял Грибоедова и поскакал.

— Извините, Андрей Андреевич, что я перебью вашу речь рассказом об одной подробности, которая относится именно к этой минуте и которую я слышал от Степана Никитича. Она только прибавляет к доказательствам того, что и вы хотите доказать, т.-е, как все любили Грибоедова. Когда Ермолов сдал его с рук на руки курьеру, то сослуживцы Грибоедова обратились к этому курьеру с следующим, как говорится, «наказом», что если он не довезет Грибоедова до Петербурга цела и сохранна, то пусть уже никогда ни с одним из них не встречается, ибо сие может быть ему вредно.

— Это очень вероятно. Продолжаю мой рассказ. С Грибоедовым были не все его бумаги, но значительная часть их находилась в крепости Грозной *. Ермолов должен был дать предписание коменданту захватить эти бумаги, запечатать и передать пакет курьеру. Все было исполнено. Курьер, Грибоедов и пакет благополучно прибыли в Петербург, в Главный штаб. Слух об аресте Грибоедова распространился... Через несколько дней после этого ко мне является один, вовсе мне до того времени незнакомый человек, некто Михаил Семенович Алексеев [174], черниговский дворянин, приносит мне поклон от Грибоедова, с которым сидел вместе в Главном штабе, и пакет бумаг, приехавших из Грозной. Как же все это случилось? Грибоедов, когда его привезли, успел какими-то судьбами сейчас же познакомиться с Алексеевым, который сказал ему, что его в самом скором времени выпустят, потому

* Во Владикавказе.

что он взят по ошибке, вместо родного брата своего, екатеринославского губернского предводителя. Грибоедов воспользовался этим обстоятельством отлично: в пять минут очаровал Алексеева совершенно, передал ему пакет, сказал мой адрес и просил доставить этот пакет ко мне. Алексеев все исполнил свято.

— Еще раз виноват, Андрей Андреевич. Вы мне позволите пополнить ваш рассказ?

— Сделайте милость. Иное я мог забыть, а другое могу и не знать.

— Вот, со слов Степана Никитича, обстоятельство, которое вполне поясняет, каким образом пакет, бывший у курьера и уже составлявший, таким образом, казенную собственность, мог вдруг очутиться в руках самого Грибоедова. Курьер сдал и самого Грибоедова, и пакет караульному офицеру. Этот офицер был некто Сенявин — сын знаменитого адмирала — честный, благородный, славный малый. Принявши пакет, он положил его на стол, вероятно, в караульной комнате, в которой на ту пору мог находиться и Алексеев как человек уже свободный от всякого подозрения. Сенявин не мог не видеть, как Грибоедов подошел к столу, преспокойно взял пакет, как будто дело сделал, и отошел прочь [175]. Он не сказал н и с л о в а: так сильно было имя Грибоедова и участие к нему *.

---

* Гвардии капитан Сенявин значится сам в числе арестованных, содержавшихся в Главном штабе вместе с Грибоедовым. Вот рапорт с.-петербургского коменданта генерал-адъютанта Башуцкого от 13 февраля 1826 года, № 76 на имя дежурного генерала главного штаба генерал-адъютанта Потапова: «Стоящий в карауле на главной гауптвахте лейб-гвардии Егерского полка штабс-капитан Родзянко 3-й представил ко мне при описи вещи, отобранные им у арестованного по высочайшему повелению коллежского ассесора Грибоедова, которые при сем к вашему превосходительству препроводить честь имею». На этой бумаге собственной рукой Грибоедова написано: «Вещи и деньги, мне принадлежащие, мною от капитана Жуковского приняты. Коллежский ассесор Александр Грибоедов».

— И должно быть так. Повторяю вам, что я мог кое-что и забыть, но если это рассказывал вам Степан Никитич, так сомнения никакого быть не может. Далее. Этот добрый и славный человек Алексеев бывал у меня и после несколько раз; передавая же мне пакет, он вместе с тем передал мне приказание Грибоедова — сжечь бумаги. Однако же, я на это не решился, а только постарался запрятать этот пакет так, чтобы до него добраться было невозможно: я зашил его в перину. Когда Грибоедова выпустили, мы пакет достали и рассмотрели бумаги; в нем не оказалось ничего важного, кроме нескольких писем Кюхельбекера. Но история грибоедовского сиденья этим далеко не кончается. Я вам говорил уже, что слух об его аресте распространился быстро. Вдруг доходят до меня такие слова: «Помилуйте», говорит один: «что это за вздор в городе болтают, будто бы Грибоедов взят: я его сейчас видел на Невском проспекте». «И я тоже», говорит другой. «А я видел в Летнем саду», говорит третий. Что же вышло? Содержавшихся в Главном штабе возпли допрашивать из штаба в Петропавловскую крепость. Одним из помощников главного правителя дел военно-судной комиссии был некто Ивановский *.

— Так, так, — невольно перебил я сенатора. — Я это

---

* Чиновник V класса, бывший делопроизводителем военно-судной комиссии, был не Ивановский, но мой добрый знакомый и благодетель, начальник отдела инспекторского департамента Иванов. *М. П.*

Однако, едва ли это замечание справедливо, так как сам А. С. Грибоедов говорит об Ивановском в записке из-под ареста Булгарину: «Между тем, я комитетом оправдан начисто как стекло. Ивановский, благороднейший человек, в крепости говорил мне самому и всякому гласно, что я немедленно буду освобожден. Притом обхождение со мною как его, так и прочих, было совсем не то, которое имеют с подсудимыми. Казалось, все кончено. Съезди к Ивановскому, он тебя очень любит и уважает: он член вольного общества любителей словесности и много во мне принимал участия».

все знаю, но позвольте просить ваше превосходительство продолжать.

— Этот Ивановский так полюбил Грибоедова...

— Что даже, может быть, спас его, — опять, и что совсем не было слишком вежливо, перебил я сенатора.

— Спас — это слишком много, потому что с тех пор, как бумаги Грибоедова, которые могли бы его компрометировать, пропали, если не с лица земли, так, по крайней мере, из глаз правительства, так что и концы в воду, наш молодец выходил из воды сух и из огня невредим...

— То-то что не совсем, ваше превосходительство. Точно, что едва ли на этот раз удалось кому такое счастье, как Грибоедову, но он сам чуть-чуть не испортил всех выгод своего положения.

— Как же это? Расскажите пожалуйста.

— Рассказываю, ваше превосходительство, не я, а Степан Никитич. Вот как было дело. На первом же допросе Грибоедов начал было писать: «в заговоре я не участвовал, но заговорщиков всех знал и умысел их был мне известен»... и прочее в таком роде. Ивановский видя, что Грибоедов сам роет себе яму, подошел к столу, на котором он писал, и, перебирая какие-то бумаги, как будто что-то отыскивая, наклонился к нему и сказал ему тихо и отрывисто: «Александр Сергеевич, что вы такое пишете!.. Пишите «знать не знаю и ведать не ведаю» *. Грибоедов послушался.

— Непременно должно быть так, — отвечал Жандр, — и еще мало того, что послушался, но еще принял в своем отзыве тон обиженного: «Я ничего не знаю. За что меня взяли? У меня старуха-мать, которую это убьет, а может

* В «Беседах О. Л. Р. Словесности», 1868 г., Д. А. Смирнов, рассказывая об этом, не называет Ивановского, а говорит про него: «к столу подошло очень внятельное лицо и взглянуло на бумагу» (с ответами Грибоедова на вопросные пункты). Д. И. Завалишин приписывал полковнику Любимову этот совет Грибоедову изменить показание.

быть уже и убило» [176] и прочее. Тон этого отзыва подействовал совершенно в пользу Грибоедова, судьи заключили, что если человек за всю эту проделку чуть-чуть не ругается, так, стало быть, он не виноват.

— Однако, Андрей Андреевич, как же это его видали на Невском и в Летнем саду?

— Все по милости того же Ивановского. Я уже говорил вам, что их возили из штаба допрашивать в крепость; там, по окончании допроса, Ивановский всегда говорил курьеру: «я сам отведу Александра Сергеевича», и они возвращались в штаб через Неву, Летний сад и Невский проспект — это, вот видите, для прогулки. Да и это ли одно было! Раз дежурный генерал Потапов обходил ночью комнаты заключенных; к Грибоедову стучались, стучались — нет ответа. «Не прикажете ли выломать дверь?» спрашивает адъютант. «Нет», отвечает Потапов, «не надо: верно, он крепко заснул». Он очень хорошо знал, что Грибоедова не было. А то раз является ко мне со штыком в руке. «Откуда ты это взял?» спрашиваю я с изумлением. «Да у своего часового». — «Как у часового?» — «Так у часового». — «По крайней мере зачем?» — «Да вот пойду от тебя ужо ночью, так оно, знаешь, лучше, безопасней». — «Да как же тебе часовой-то дал?» — «Вот еще! Да если бы я им велел бежать с собой, так они бежали бы... Все меня любят», добавил он. Но в начале его заключения было одно прекомическое происшествие: пишет он из своего заключения Булгарину...

— Ваше превосходительство!

— Что прикажете?

— Сделайте божескую милость!

— Какую угодно.

— Объясните мне пожалуйства связь такого благороднейшего, идеально-благороднейшего человека, как мой покойный дядя, с таким страшным подлецом, как Булгарин. Я никогда не мог достаточно объяснить этого загадочного пункта в биографии Грибоедова.

— У Булгарина, — отвечал мне Жандр очень положительно, — была к Грибоедову привязанность собаки к хозяину. Вы это сейчас увидите. Грибоедов пишет ему из штаба: «Любезная Пчела. Я в тюрьме. Принеси мне таких-то и таких-то книг». Кто не знает, что Булгарин трус страшный, однако, ведь, не осмелился ослушаться приказа Грибоедова, пришел в штаб, принес книги, дрожит от страха, его оттуда чуть не в шею и гонят, он стоит, нейдет прочь, просит, молит и добился-таки того, что передал книги *.

— Для первого свидания, в которое мне хотелось бы разрешить самые темные для меня и интересные вопросы, я приготовил вам, Андрей Андреевич, еще один.

— Например?

— Как вам известны подробности смерти дяди?

— Расскажите сперва вы мне, как они вам известны.

Я рассказал, что было мне на этот раз известно, что к Грибоедову как к посланнику, явилось несколько христианок, армянок или грузинок, которые объявили, что их против воли удерживают мужья их в Персии, что они отдаются под его покровительство. Грибоедов их принял, из этого возродилось народное неудовольствие и, наконец, бунт, жертвой которого он и сделался.

— Тут есть частица правды, но еще не вся правда. Если хотите прочесть полное и подробное описание и причин, и происшествий всей этой печальной катастрофы, то ищите его в «Annales des Voyages» в 1829 или в 1830 году. На эту статью указал мне Ермолов.

— Позвольте записать; со мной нет ни карандаша, ни бумаги.

Жандр подал мне и то, и другое. Я положил бумагу, чтобы было повыше, на порядочную груду книг, правильно, симметрически положенных одна на другую, кото-

* Ф. В. Булгарин ссужал Грибоедова во время его ареста не только книгами, но и деньгами, навещал его, просил за него.

рые, с разными другими, столь же правильно расположенными вещами находились на маленьком столике, стоявшем близ софы, на которой сидел сенатор. Записывая, я очень немного, но все-таки несколько нарушил строгость и стройность симметрического порядка небольшой книжной груды. Сенатор, не давая мне это заметить, оправил все по прежнему порядку. Я едва удержал улыбку, увидевши в старике моего собрата — педанта в деле кабинетного порядка.

— Не одни женщины, отдавшиеся под покровительство его как посланника, — продолжал Жандр, — были причиною его смерти, искра его погибели таилась уже в Персии прежде, нежели он туда приехал. Разговаривая с графом Каподистриа, который заведывал всеми восточными нашими делами, хотя министром иностранных дел был граф Нессельроде, Грибоедов сказал, что нам в Персии нужно не chargé d'affaires [177], а лицо, равное английскому представителю, т.-е. полномочного министра, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentaire [178]. Это одной степенью ниже главной степени дипломатического агента, посла, ambassadeur. Может быть, это и, действительно, было так нужно, а главное, что мне очень хорошо известно, Грибоедов думал, высказавши такое мнение, отклонить всякую возможность назначения его самого на это место, думал, что и чин его для этого еще мал. Чин ему дали и на место назначили. «Нас там непременно всех перережут», сказал он мне, приехавши ко мне прямо после этого назначения: «Аллаяр-хан мне личный враг. Не подарит он мне Туркманчайского трактата».

— Те же самые слова, — сказал я, — приводит Степан Никитич в своей биографической записке [179].

— Грустно провожали мы Грибоедова *, — продолжал Жандр, как бы не слыхавши моего замечания. — До Цар-

* 6 июня 1828 г. А. С. Грибоедов навсегда расстался с Петербургом, а 12 июня и с Москвой.

ского Села провожали его только двое: Александр Всеволодович Всеволожский [180] и я. Вот в каком мы были тогда настроении духа: у меня был прощальный завтрак, накурили, надымили страшно; наконец, толпа отхлынула, мы остались одни. Поехали. День был пасмурный и дождливый. Мы проехали до Царского Села и ни один из нас не сказал ни слова. В Царском Селе Грибоедов велел, так как дело уже было к вечеру, подать бутылку бургонского, которое он очень любил, бутылку шампанского и закусить. Никто ни до чего не дотронулся. Наконец, простились. Грибоедов сел в коляску, мы видели, как она завернула за угол улицы, возвратились с Всеволожским в Петербург и во всю дорогу не сказали друг с другом ни одного слова — решительно ни одного.

И у нас с Жандром вышло тут довольно продолжительное молчание.

— Скажите пожалуйста, — начал я, чтобы прервать его: кому принадлежат эти две замечательные эпиграммы, современные появлению «Горе от ума?»

— Какие? Я их не знаю или забыл.

— Вот они:

Собрались школьники и вскоре
Михайл Дмитриев рецензию скропал,
В которой ясно доказал,
Что «Горе от ума» не Дмитриева горе

Жандр засмеялся.

— Я этого не знал... Зло, очень зло и умно.

— А вот другая на того же злосчастного Дмитриева

Михайл Дмитриев умрёт.
Считался он в 9-м классе,
Был камер-юнкер при дворе
И камердинер на Парнасе.

Ну, эта мне нравится меньше, уже потому, что в ней есть неправильность языка: говорится у́мре, а не умрё. Ведь, я пурист.

Старик улыбался.

«Знаем мы это про вас и без вас, pater conscripte![181]» подумал я.

— Как бы то ни было, они любопытны, как и все, относящееся к Грибоедову, как все живые и мертвые о нем материалы.

— Кстати, о живых материалах, — начал Жандр. — Вам надо познакомиться здесь с несколькими лицами, которые могут пересказать вам кое-что о Грибоедове; например, с Иваном Ивановичем Сосницким. Это прелюбопытный человек; — он много на своем веку народу перевидал и как человек умный перевидал не без толку. Я знаю, что они были знакомы с Грибоедовым.

— Я имел это намерение.

— Да еще познакомьтесь с Петром Андреевичем Каратыгиным. Этот человек будет вам полезен в другом отношении: отец его Андрей Васильевич был более тридцати лет режиссером при театре, собирал и сохранял афиши всех спектаклей, — это вам для истории представлений грибоедовской комедии.

— Благодарю вас, Андрей Андреевич, за эти указания. Вы, в свою очередь, вероятно поинтересуетесь видеть один из принадлежащих мне потретов дяди и его «Черновую тетрадь».

— Об этом нечего и спрашивать.

— Эта «Черновая» — сущий клад: чего и чего в ней нет! И путешествия, и мелкие стихотворения, и проекты; два отрывка из «Грузинской ночи», ученые заметки, «Частные случаи петербургского наводнения».

— А, — сказал Жандр при последнем моем слове, — это любопытно: я знаю, что Грибоедов ездил осматривать Петербург после наводнения с тогдашним генерал-губернатором Милорадовичем.

— Как, с Милорадовичем? — спросил я с видимым удивлением и нисколько не думая скрывать невольную улыбку.

— А... вы смеетесь, — заметил мне Жандр, тоже улыбаясь.

— Да и вы смеетесь, ваше превосходительство.

— Стало быть, вам многое на этот раз известно?

— Не только многое, но все, да еще с такой подробностью, какой вы не ожидаете.

Я предполагал, что Грибоедов с Милорадовичем были враги из-за Телешовой [182].

— Нет, они были только соперники.

— Впрочем, счастливым был дядя: он об этом, совсем не церемонясь, говорит довольно подробно в своих письмах к Степану Никитичу. Некоторые строки заставили меня препорядочно хохотать. А хорошенькая была эта Телешова! Знаете ли, Андрей Андреевич, что она представляется мне каким-то скоро пронесшимся, но блестящим метеором в судьбе моего дяди, чем-то чрезвычайно поэтическим и невыразимо грациозным.

Тут Жандр посмотрел на меня не без удивления: я говорил очень серьезно.

— Да откуда,—начал он наконец,—знаете вы, что Телешова была хорошенькая?

— Прехорошенькая, хоть она и насолила мне.

— Это еще что такое?

— У меня есть ее портрет в «Русской Талии», драматическом альманахе Булгарина. Это библиографическая редкость. Теперь нужно вам сказать, как насолила мне Телешова. Я собирал, всеми правдами и неправдами, с большими расходами, все сочинения дяди, рассеянные там и сям по разным альманахам и журналам. Все это было, разумеется, до полного, т.-е. неполного, собрания его сочинений Смирдина. Прихожу я раз — это было в Москве, летом 1852 года — на знаменитый Толкучий рынок к какому-то букинисту. «Нет ли у вас, батюшка, какого-нибудь старья; я человек заезжий... скучно, читать нечего. Не задорожитесь — я куплю охотно. Нет ли у вас, например, альманахов? Прежде они на русскую землю дождем сыпались»... — «Есть», говорит — и выкинул их мне целый ворох. Перебираю... «Русская Талия». Этого-то нам и нужно.

Я отобрал штуки три-четыре, да и купил по двадцати пяти копеек серебром за штуку. Тут, как изволите видеть, я надул букиниста, но зато после букинист гораздо жесточе надул меня. Я хотел поддеть его точно на такой же крючек с «Сыном Отечества» за 1825 год, в котором, как вам известно, помещены стихи Грибоедова Телешовой. Рыбак рыбака видит в плесе издалека: букинист, должно быть, заметил мою физиономию и не без основания заключил, что я, должно быть, из книжных авантюристов. Спрашиваю «Сын Отечества» за 1825 г. — «Здесь», говорит, «нет, а надо порыться в палатке». Мы пошли в палатку. Я не знаю, знаете ли вы, ваше превосходительство что такое книжные палатки в Москве, на Толкучем рынке. Они над самыми рядами толкуна, наверху, под самой, заметьте, железной крышей, под которой ничего не подложено, что хотя бы несколько умеряло невыносимейший зной от нее в летний день, ни драни, ни тесу, — а день, в который я попал под эту крышу, в душную палатку, в которой злодей-букинист, перебрасывая связки книг, поднял еще пыль страшную, был светлый июльский и время только за полдень. Что вам сказать? Я пробыл в этой палатке битых два часа и решительно начинал думать, что обратился в Сильвио Пеллико. «Нашел», раздался наконец голос букиниста. Ну, думаю, слава богу. Смотрю — точно 1825 год; вот стихи Телешовой. — «Что вам, любезнейший, за это?» — «Десять целковых». — «Вы шутите?» — «Нисколько». Я туда и сюда, хотел было его «душеспасительным словом», как говорит Плюшкин, пронять... Куда тебе! сладу никакого: уперся, злодей, да и только. Подумал-подумал, вынул деньги и отдал. Таким-то образом я заплатил четвертак за первые печатные отрывки комедии Грибоедова и десять рублей серебром за одну страничку его стихов к мимолетному, по все-таки милому предмету его страсти. Право, смотря на портрет Телешовой, их не жалею и вполне понимаю эти строки, написанные дядей в одном из писем его Степану Ники-

тичу: «В 3-4 вечера (у Шаховского) Телешова меня совсем с ума свела».

Поговоривши еще кое о чем постороннем, мы простились с Жандром — до свидания...

---

Не скоро, однако, было это свидание. «Человек предполагает, а бог располагает» — истина, как и все под луной, старая. Я схватил в Петербурге жестокую холеру и был болен, при смерти. Вопреки ожиданий и желаний моих, я, слишком через месяц после первого моего свидания с Жандром, позвонил у его двери.

На этот раз открыл мне сам сенатор.

— Боже мой, это вы, мы думали, что вы уехали.

— Да, ваше превосходительство, я-было, действительно, уехал на тот свет.

Старик посмотрел на меня пристально.

— Да вы, в самом деле, как будто из гроба встали.

— И это, в самом деле, почти что так.

— Что с вами было?

— Холера и притом жестокая.

Я рассказал причины и все подробности моей болезни.

— Да вы сами сделали все, чтобы произвести себе холеру. Однако, как же это вы не уведомили меня о вашей болезни?

— Сто раз порывался я это сделать, но не смел вас беспокоить.

— Стыдно вам. Мы, кажется, не так вас приняли, чтобы вы могли сомневаться в нашем участии.

Надо пояснить это слово «мы»: в первый раз, когда я был у Жандра, он познакомил меня со своей женой *.

---

* Жена А. А. Жандра, Параскева Петровна, скончалась 24 ноября 1906 г. и погребена рядом с мужем на кладбище Александро-Невской лавры. Со слов мужа она хранила в своей памяти немало рассказов из жизни автора «Горя от ума».

За это доброе слово я с искренним чувством пожал руку почтенного старика.

В это свидание мы ничего не говорили о Грибоедове: свиданье было коротенькое, потому что я скоро ослаб до дурноты и едва мог дотащиться до квартиры. Все, что я успел сказать в этот раз Жандру, было то, что я и в продолжение моей болезни, когда чувствовал хоть малейшее облегчение, старался, сколько позволяли силы, работать по Грибоедову и таким образом успел прочесть довольно книг, нужных для составления комментариев для «Черновой».

— Где вы их брали?

— У Крашенинникова. Как не сказать спасибо Петербургу: все, что хочешь, даже холера.

## IV

Ночь я провел довольно мучительную и почти без сна, но к утру задремал и проснулся несколько освеженный и с обновившимися силами. Часов около 9 я уехал из дому на Невский — мне хотелось пройтись, потом просидеть часика 3-4 в Публичной библиотеке, потом опять пройтись и попугатить малую толику казны по разным лавкам и магазинам. Исполнивши все по желанию, я часу уже в третьем возвратился домой и только что — признаюсь, не без удовольствия — надел халат, как ко мне совершенно неожиданно входит Жандр.

Он возвращался из сената и был в мундире, на котором звезд и других штук довольно.

— Хотел вас навестить. Как вы чувствуете себя после вчерашнего?

— Благодарю вас, ваше превосходительство.

— Пожалуйста, оставьте это... Кажется, между нами можно без титулов.

Жандр сидел у меня довольно долго. Мы говорили о разных предметах, посторонних Грибоедову, всего более

о Герцене, которого, несмотря ни на какие таможни, жадно читают в России.

— Герцен, — сказал я Жандру, — доставил мне, несмотря на его избыток желчи, не совсем приятно действующей на хладнокровного и благоразумного читателя, много отрадных минут в продолжение моей болезни. Я не помню, когда и что читал я с таким наслаждением, как его превосходную статью «Екатерина Романовна Дашкова».

— Я не читал ее.

— Стало быть, вы и не видали этого номера «Полярной Звезды»?

— Должно быть.

— Посмотрите, — продолжал я: — какой у него оригинальный самостоятельный язык, точно литой из бронзы.

Я достал из моего портфеля небольшой листок выписок и прочел: «Недавно один из них (славянофилов) пустил в меня под охраной самодержавной полиции комом отечественной грязи с таким народным запахом передней, с такой постной отрыжкой православной семинарии и с таким нахальством холопа, защищенного от палки недосягаемостью запяток, что я на несколько минут живо перенесся на Плющиху или на Козье Болото...»

Мы прочли еще несколько выписок. Потом речь перешла к недавнему освящению Исаакия и к небывалому доселе хору—2000 певчих. «Слушая этот хор», сказал мне Жандр, «я, право, не знаю, где я был, — на земле или на небе».

По уходе сенатора я выпил стакан чаю с хлебом (это был мой обед) и заснул. Просыпаюсь — на столике подле моей постели письмо по городской почте. Рука незнакомая. Распечатываю — от Сосницкого. О, радость! Он уведомляет меня, что величайшая редкость «Лубочный театр» Грибоедова, который бог знает где-то валялся в его бумагах, им найден, списан для меня и что я могу его полу-

чить, когда или сам приду на квартиру Сосницкого (он же теперь живет на даче в Павловске), или кого-нибудь за ним пришлю... Думать было нечего; я сейчас же послал на квартиру Сосницкого (тоже вблизи от меня), там сейчас же получил драгоценный листок и с ним как с находкой к Жандру — сейчас же.

Многие не только из молодого поколения, но даже из старожилов, вовсе не знают, что такое «Лубочный театр» Грибоедова. Происхождение этого пасквиля (для чего же не назвать вещь ее именем?), имеющего теперь для нас неоспоримое историческое значение, тесно связано с малоизвестной у нас, некогда очень шумной и теперь нам интересной историей «Липецких вод», комедией князя Шаховского. Если нам вообще в высокой степени любопытны литературные отношения и литературные движения наших прошлых поколений, то, конечно, шум, брань и литературная драка, поднявшаяся из-за «Урока кокеткам или Липецких вод» Шаховского, заслуживают в истории этих движений не последнее место. Здесь нельзя вполне рассказывать историю «Липецких вод», еще требующую подробного и обстоятельного исследования. Скажу, что при разделе литературных мнений за и против «Вод», Загоскин, тогда еще малоизвестный, а впоследствии очень известный «сочинитель», если не писатель, стал в ряды поклонников Шаховского и даже превзошел своих собратий в усердии к общему патрону, сделавшись его почти низкопоклонником. За такое рабское усердие был он награжден покровительством Шаховского, который и дал ему какое-то местечко при театре. Надо заметить, что в это время Загоскин издавал недолговечный журнал «Северный Наблюдатель», в котором между прочим помещалась и театральная хроника. На этот, довольно жалкий журнал, постоянно, и иногда довольно удачно и ловко, нападал «Сын Отечества», издававшийся Гречем. Вздумалось Загоскину задеть Грибоедова (по силам нашел себе соперника!), указавши как на образец безвкусия и пе-

правильности на два стиха из комедии «Своя семья» [183], прибавивши, что

. . . . . подобные стихи
Против поэзии суть тяжкие грехи.

Искра попала в порох: Грибоедов не любил, чтобы его затрагивали.

Он собрал, так сказать, совокупил все те литературные глупости и тупости, которыми отличался бездарный Загоскин, и представил, что публику зазывают в лубочный театр или в балаган, которые, замечу кстати, тогда было в моде посещать по утрам, смотреть все эти глупости. Я не привожу здесь всего «Лубочного театра», составляющего ныне, как я уже сказал, величайшую редкость, а только, напр., следующие стихи:

Вот вам Загоскин — Наблюдатель,
Вот Сын Отечества, с ним вечный состязатель,
Один напишет вздор,
Другой на то разбор;
А разобрать труднее,
Кто из двоих глупее.

Написавши сгоряча «Лубочный театр» (это было в 1817 году, Грибоедов был тогда молод), он бросился с ним к одному, к другому, к третьему издателю, чтобы напечатать. «Помилуйте, Александр Сергеевич», отвечали ему всюду: «разве подобные вещи печатаются: это чистые личности». Еще более раздосадованный такими отказами, Грибоедов нанял писцов и в несколько дней, через знакомых и знакомых знакомых, по Петербургу разошлось до тысячи рукописных экземпляров «Лубочного театра». Загоскин все-таки был одурачен.

Вот с этой-то редкостью, спеша елико возможно, пришел я к Жандру вечером 2 июня.

Жандр прочел и говорит мне:

— Конечно, это не апокрифическое: об этом и речи быть не может, но то, что я знал из «Лубочного театра», то, что мне читал сам Грибоедов, было гораздо короче,

сжатей и живее. Не было, например, указания на «Проказника», комедию Загоскина, и некоторых других мест *. Он читал эту пьесу и Гречу...

— Что ж, — спрашиваю я, — Греч? Не рассердился?

— О, нет, только посмеялся.

От «Лубочного театра» речь невольно склонилась к старым театральным временам, и тут-то наслушался я много любопытного, о чем прочесть негде, да скоро и услыхать будет не от кого.

— Вы не можете себе представить теперь, в настоящее, в ваше время, — говорил Жандр: — какая это была трудная, особенно для всех любителей театра, для всех «театралов», пора — конец царствования Александра I. Тяжела она была и для актеров. Театром управлял главный директор. Должность эту сперва занимал Нарышкин, а потом Аполлон Александрович Майков, дед нынешнего поэта. Кроме главного директора, при театре состоял особый комитет из 4 членов, под главным начальством самого генерал-губернатора Милорадовича. Шаховской был одним из членов этого комитета и назывался «членом по репертуарной части», не мешался ни в какие другие, например, в хозяйственную, для которой был особый член, но управлял, всем театром ворочал. Тогда — боже избави позволить себе какую-нибудь вольность в театре, а особенно в отношении к актрисам, которые все имели «покровителей». Раз Каратыгин за грубость, будто бы, против Майкова сидел в крепости.

— Как в крепости? Каратыгин? Василий? Трагик?

— Да, да, он, и сидел целую неделю. Он не встал перед Майковым, когда тот проходил мимо, и хоть уверял, что его просто не видал, не заметил, — его посадили в крепость, да мало того: целую неделю подсылали к нему раз-

* «Лубочный театр» был напечатан полностью впервые с автографа в «Сборнике, изд. студ. СПБ университета», 1860, т. II, стр. 242; но до того последние 12 стихов памфлета мы нашли в «Северной Пчеле», 1837 г., № 133.

ных лиц узнавать и выведывать, кто его подучил на это вольнодумство, не принадлежит ли он к «Союзу Благоденствия» *.

— Это что такое?

— А вы и не знаете? Да это зародыш, зерно, из которого и развилось 14 декабря. Это был большой союз, к нему многие принадлежали.

— У них был какой-нибудь центр?

— Не один, а три: один в Кишиневе, другой в Киеве, а третий в Петербурге, т.-е. один в армии Витгенштейна, другой в армии Сакена, а третий здесь. Главой этого союза был Никита Муравьев, с которым вот что в Москве сделали...

— Да ведь правительство знало об этом союзе?

— Знало; по крайней мере, до некоторой степени.

— Что же оно его не уничтожило, прямо и ясно?

— Вот, подите, прямо и ясно не уничтожало, а лиц, которых подозревало, как участвующих в нем, преследовало. Всех понемножку выгоняли или из службы, или из столицы. Слушайте, Сушков... не помню его имени, но родной брат писателя, Николая Васильевича Сушкова, шикал в театре одной актрисе, его взяли и посадили в крепость. Пробыл он там недолго, всего три дня, а все-таки посадили в к р е п о с т ь.

Я сделал какой-то знак удивления.

— Вы удивляетесь? А с Катениным, если хотите, поступили еще лучше. Он тоже шикал в театре, — его пре-

* Первое тайное общество называлось Tugend Bund. Оно не было секретом ни для кого. Первыми основателями его были гвардейские офицеры Кошелев, Гагин и Семенов, которые все как-то ускользнули от преследований следственной комиссии. Носились слухи, что и все молодые генерал-адъютанты государя, составлявшие его блистательный ореол (два брата Орловы, Киселев, Сипягин, Меньшиков, Потемкин и др.), или были членами этого общества, или покровительствовали ему, но об участии Грибоедова я что-то не слыхал, точно так же, как доселе ничего не знал о дуэли на Кавказе между ним и сорванцом Якубовичем, бывшим сотоварищем моим по университетскому пансиону. *М. П.*

спокойно взяли и выслали вон из Петербурга, с тем, чтобы более не въезжать, и сделал это Милорадович без всякого высочайшего повеления.

— Да разве Милорадович был такой дурной человек?

— Нет, но безалаберный, взбалмошный. Он, уже выславши Катенина, подал доклад государю, что выслал и не велел въезжать. Что ж государь? Написал на докладе: «Хотя за такую вину и не следовало бы высылать из столицы, но, судя по образу увольнения полковника Катенина из службы, утверждаю». А какой же, спросите, это образ увольнения? Да никакого. Катенин уволен был по прошению, чисто, без всяких записок, а знали, что он принадлежит к тайному обществу и рады были к чему-нибудь придраться, чтобы выбросить человека вон из столицы или из службы. В Москве, в 1818 году, в самое то время, когда там родился нынешний государь, был собран гвардейский полк из взводов всех гвардейских полков *. Никита Муравьев был обер-квартирмейстером этого отряда и его, за какую-то самую пустую ошибку в линии войска на параде, посадили под арест и высидел он три недели. Разумеется, он сейчас же подал в отставку. А Катенин высидел у себя в деревне довольно долго, пока, наконец, случайно государь не проехал через эту деревню и не разрешил ему въезда в столицу **.

---

* В 1817—1818 гг. в Москве был не сводный полк, а целый отряд по батальону из каждого пешего гвардейского полка и по дивизиону из каждого кавалерийского, что составило 6 батальонов и 6 дивизионов, а всего, считая с артиллерией, до 10 тысяч человек. Я сам был в этом отряде батальонным адъютантом Павловского полка. *М. П.*

Этот отряд был выслан в начале августа 1817 года из Петербурга в Москву для присутствия на закладке храма Христа Спасителя и оставался там около года.

** Катенин был действительно уволен со службы не совсем-то ловко: поводом к этому было подозрение в принадлежности к тайному обществу, а выставленною причиною — придирка цензуры к его переводу расиновой «Гофолии» и его дерзкие воз-

Все, говорю вам, что в то время ни касалось театра, было чрезвычайно трудно, за всем этим наблюдали, подглядывали, подслушивали... При театре был даже явный официальный, публичный фискал, шпион...

— Как так?

— Да так. Он назывался р е к в и з и т о р, и должность его, которая состояла в том, чтобы подслушивать, что говорилось между актерами и даже между писателями, пьесы которых ставились на сцену, и доносить, была определена прямо по штату. Эту «честную» должность занимал в то время какой-то итальянец, промотавший очень большое, по тогдашнему, состояние — тысяч двести капитала. Фамилию его я теперь не могу припомнить. Мы же принимали в театре самое горячее участие, мнение наше имело вес, и мы любили поставить на своем, но времена были такие,

---

ражения против цензурного комитета. После, действительно, ему был воспрещен въезд в столицы, и он провел года три или более в костромской своей деревне под надзором полиции. При вступлении на престол Николая I он снова был принят на службу, с определением в Кавказский корпус, и там провел 12 или 13 лет без наград, без повышений и даже без полка; наконец, совершенно расстроенный и полупомешанный, был уволен от службы с награждением чином генерал-майора. Это была самая огневая и взбалмошная натура, но поэт в душе и отличный чтец. *М. П.*

Павел Александрович Катенин (1792—1853), уволенный в чине полковника Преображенского полка, был, бесспорно, замечательной личностью своего времени. Его влияние на Пушкина, Грибоедова, и др. в ранние годы развития их таланта было несомненное. Энциклопедически образованный, писатель для сцены, критик, театрал и декламатор, он близко стоял к литературным и театральным сферам, занимая там самую независимую позицию. Русская сцена обязана ему, например, появлением таких блестящих артистов, как братья Каратыгины. Его переписка с артисткой А. М. Колосовой (впоследствии женой В. А. Каратыгина) из деревни во время ссылки полна живого интереса. Замечательное письмо А. С. Грибоедова к нему в деревню с авторской оценкой «Горя от ума» (от января 1825 года) свидетельствует, что Катенину Грибоедов был «обязан зрелостью, объемом и даже оригинальностью» своего дарования. (Собр. соч. Грибоедова, под ред. И. А. Шляпкина, т. I, стр. 197).

что я перестал ходить в театр вовсе, я был молод, горяч и, разумеется, не стерпел бы, если бы дирекция стала выставлять какую-нибудь бездарность на счет человека даровитого: вступился бы непременно и нажил бы себе хлопот. Грибоедову же было горя мало: пошмыгать между актрисами, присутствовать при высаживании их из карет (тут-то всего легче и можно было нажить себе хлопот), пробраться за кулисы — это было первым его наслаждением. И он непременно втесался бы в какую-нибудь историю и непременно сидел бы в крепости, если бы не его ангел-хранитель, который так и блюл его, так и ходил за ним, — это был князь Александр Одоевский, погибший впоследствии по 14 декабрю... Боже мой! Отрадно вспомнить, что за славный, что за единственный человек был этот князь Александр Одоевский, двадцати одного года, мужчина молодец, красавец, нравственный, как самая целомудренная девушка, прекраснейшего, мягкого характера. Он никогда не оставлял Грибоедова одного в театре, просто не отходил от него как нянька и часто утаскивал его от заманчивого подъезда силой, за руку. Почти всегда, прямо из театра, они приезжали прямо к нам, — я жил тогда с родственницей моей, Варварой Семеновной Миклашевичевой, которая любила обоих — и Одоевского и Грибоедова — как родных сыновей, — и всегда Грибоедов, смеясь, говорил Одоевскому: «Ну, развязывай мешок, рассказывай», потому что непременно было что-нибудь забавное... Все строгости и глупости по театру уничтожились сейчас же со вступлением на престол Николая...

---

После нескольких перемен разговора речь коснулась прямо «Горе от ума».

— Знаете ли, Андрей Андреевич, — начал я: — я так много в жизнь свою с ним возился и прежде, когда был помоложе, так часто вставлял в разговор стихи из него, что раз одна очень умная дама сказала мне такое слово, кото-

рого я никогда не забуду: «il parait que c'est votre évangile».

— Вы думаете, что я этому удивляюсь? — отвечал Жандр. — Нисколько. А я так вот собираюсь удивить вас вещью точно в таком же роде. Знаете ли, что сказал о «Горе от ума», не самому, правда, Грибоедову, а Булгарину, один купец, с бородой, но человек, который любил читать, вообще любил просвещение. «Ведь это, Фаддей Венедиктович, наше светское евангелие». Каково вам это покажется?

— Что же он хотел этим выразить?

— А то, что если в евангелии настоящем — правила нравственности чисто духовной, так в «Горе от ума» — правила общественной, житейской нравственности...

Потом разговорились мы к чему-то, что Грибоедов был лично храбр.

— А знаете ли, — сказал Жандр: — что он был порядочно суеверен, и это объясняется, если хотите, его живой поэтической натурой. Он верил существованию какого-то высшего мира и всему чудесному. Раз приходит ко мне весь бледный и расстроенный. «Что с тобой?» — «Чудеса да и только, только чудеса скверные». — «Да говори, пожалуйста». — «Вы с Варварой Семеновной все утро были дома?» — «Все утро». — «И никуда не выходили?» — «Никуда». — «Ну, так я вас обоих сейчас видел на Синем мосту». Я ничему сверхъестественному не верю — и рассмеялся над его словами и тревогой. — «Смейся, говорит, пожалуй, а знаешь ли, что со мной было в Тифлисе?» — «Говори». — «Иду я по улице и вижу, что в самом конце ее один из тамошних моих знакомых ее перешел. Тут, конечно, нет ничего удивительного, а удивительно то, что этот же самый господин нагоняет меня на улице и начинает со мной говорить. Как тебе покажется? Через три дня он умер». — «Стало быть, и мы с Варварой Семеновной умрем?» — «Ничего не знаю, а только ты ей не сказывай»... — «Пустяки, братец»... И в самом деле вышли

пустяки: видел он нас на Синем мосту в 1824 году, Варвара Семеновна умерла в 1846, а я, как видите, до сих пор жив. Но он всему этому верил. — «Знаешь ли ты историю одного немецкого студента, она записана в актах?» — «Расскажи». — «В Германии был один молодой человек, который ни во что не верил... Раз ночью является к нему какая-то женщина, говорит ему, чтобы он покаялся, потому что через три дня умрет, и умрет — ровно в полночь, когда она снова явится. Он рассказал об этом происшествии своим товарищам, и те, чтобы избавить его от страха, придумали вот что: один из них согласился нарядиться в женское платье, и стал похожим на женщину-привидение, как описывал ее студент. В назначенный этой женщиной вечер товарищи собрались к студенту, и минут за пять до полуночи явился наряженый. — «Да куда же твоя женщина пропала? Ба! да вот она», сказали они, указывая на вошедшего в это время переодетого товарища. «Нет», отвечал студент, «это — товарищ, а не она, а вот она»... и указал в другую сторону, где стояло настоящее привидение. В это самое время часы на городской башне пробили полночь — и студент тут же умер».

— Однако, как же вы, Андрей Андреевич, объясняете то, что Грибоедов видел вас с Варварой Семеновной на Синем мосту или своего знакомого в Тифлисе?

— Очень просто: галлюцинацией. Конечно, есть вещи очень странные, и одну из этих странных вещей я вам сейчас расскажу. Тут дело было уже не с одним человеком, не с Грибоедовым на Синем мосту или в Тифлисе, а с двумя совершенно разно поставленными лицами. В подлинности этого факта сомневаться невозможно, потому что я сам не только исследовал, но должен был его исследовать. Дело было с той же самой Варварой Семеновной Миклашевичевой, о которой сейчас шла речь. У нее был один сын, Николай, которого она очень любила и который умер восьми лет от роду. Она его горько оплакивала и всегда по ночам очень долго о нем молилась. Раз ночью — это было

летом — она стоит перед иконами, молится о нем и вдруг слышит, что у будочника (против самой ее квартиры была будка) голос ее сына очень громко спрашивает: «который час?» Малютка несколько пришепетывал и по этому одному и, наконец, по самым звукам голоса она не могла ошибиться. Она бросается к окну, отворяет его, слышит, как будочник отвечает: «третий; да что, ты, этакой маленький, по ночам шатаешься?» — видит, очень ясно видит своего сына, видит, как он перешел от будки улицу к ее воротам и у самых ворот пропал. Боясь, не ошиблась ли она, не было ли у ней все это действием слишком сильно настроенного воображения, она разбудила людей, послала к будочнику спросить: видел ли он мальчика, говорил ли с ним? Оказалось, что видел и говорил. Когда я приехал (меня в то время не было в Петербурге), она мне все рассказывает и для того, чтобы удостоверить меня в подлинности факта, просит, чтобы я сам спросил будочника. Будочник этот был в то время переведен куда-то к Александро-Невской лавре. Я поехал, отыскал его, при ней расспрашивал: все оказалось верно и точно: видел и говорил.

— Странно... Впрочем, мне Степан Никитич рассказал о Варваре Семеновне еще одну странность, заставляющую думать, что эта женщина отличалась даром какого-то провидения, предвидения, ясновидения, или какого хотите видения, в котором, однако, не было ничего общего с нашими, какими бы то ни было видениями, понимаемыми хоть в смысле предчувствий. Она не то, что предузнала, а просто, без всяких оснований, без всяких данных узнала о приезде Степана Никитича в Петербург.

— Сущая правда! Вот как было дело. Не только я не ждал в Петербург Степана Никитича, с которым мы, по общей нам лености, и переписывались редко, но и сам он после говорил, что собрался в Петербург вдруг и приехал в него как бы случайно. В одно прекрасное утро сижу я у себя в кабинете и занимаюсь делами до отпра-

вления на службу, как вдруг входит Варвара Семеновна и говорит мне: «Знаешь ли, Андрей Андреевич? Ведь Степан Никитич в Петербург приехал». — «От кого вы это знаете?» — «Да ни от кого, а говорю тебе, что приехал». — «Может быть, вам это только так кажется?» — «Нет, я это тебе наверно говорю...» Отправляюсь на службу, проходит час-другой времени, входит ко мне Степан Никитич. — «Здравствуй», говорю, «друг любезный, добро пожаловать! Я о твоем приезде знал сегодня утром». — Тот на меня глаза уставил... «Не от кого», говорит, «тебе было знать: я только что приехал и ни с кем не видался, прямо к тебе». — «А я тебе говорю, что знал». — «Да от кого же?» — «От Варвары Семеновны». — «А она от кого знала?» — «А ни от кого...»

— Точно так рассказывал мне этот факт и Степан Никитич.

— А вот еще с Варварой Семеновной случай, по характеру подходящий к последнему, но еще, если хотите, замысловатее. Я вам уже говорил, что она очень любила Александра Одоевского. 4 декабря 1825 года, в день ее ангела, Одоевский приезжает ее поздравить прямо с караула, — в мундире, в шарфе, одним словом, во всем том, в чем следует офицеру быть в карауле. Пробывши с полчаса, он уехал. «Что за странность», говорит мне Варвара Семеновна, только что тот скрылся за дверь: «в каком это чудном костюме приезжал князь Александр?» — «В каком же чудном? Он с караула, поспешил к вам и приехал во всей форме». — «Помилуй, в какой форме? Я бы не удивилась, если бы он и во всей форме приехал, а то он удивил меня, что надел вовсе не мундир: на нем был какой-то серый армяк, казакин или зипун...» Через несколько дней, по милости происшествий декабря 14-го, князь Александр Одоевский был, действительно, в армяке...

---

— Вам более не нужны, Андрей Андреевич, — сказал я, вставая, — «Черновая» Грибоедова и портрет его?

— Нет, не нужны.

— Похож портрет?

— Не очень.

— Как же это? Марья Сергеевна сказала мне, что похож; я показывал его Петру Каратыгину, тот говорит: «похож», но, главное, когда я привез этот портрет князю В. Ф. Одоевскому, он долго держал его в руках и несколько раз повторил: «Очень похож, очень похож».

— Пусть все это так, но только вы всему этому не вполне доверяйте. Я не скажу, чтобы в этом портрете не было решительно никакого сходства, — оно, конечно, есть, но сходство это не выражает вам вполне, не передает вам Грибоедова. Я сейчас объясню вам это примером. С меня нынешний год списал масляными красками портрет один молодой человек, бедняк, ученик Брюни, и просил у меня позволения выставить этот портрет на выставке академии; я согласился. Там, на выставке, многие не только меня узнавали, но находили в этом портрете большое со мной сходство, между тем этим портретом недовольны ни я, ни жена моя, ни все мое семейство: мы все находим, что он не похож. Так и с портретом Грибоедова: сходство, конечно, есть, но не слишком близкое, не художественное... Прежде всего замечу, что Грибоедов в то время, к которому относится этот портрет, был гораздо худее в лице, и, наконец, глаза... Разве этот портрет передает выражение его глаз? Нисколько. Вот беда — я рисовать не умею, а то бы нарисовал Грибоедова, как живого, потому что вижу его перед собой — вот как вас вижу.

## V

Сегодня вечером (3 июня), после бесполезной и бестолковой моей поездки в Павловск к Сосницкому, я отправился опять к Жандру. Он говорит, что вся литературно-общественная история из-за «Липецких вод» князя Шаховского, которую так хорошо знает Сосницкий, ему вовсе

незнакома. Странно. Взамен этого он мне рассказал сегодня много любопытного о Грибоедове и, главное, вообще о заговоре 14 декабря.

— Как вам известны подробности грибоедовской дуэли? — спросил он меня.

Я рассказал, прибавя, что слышал все это от С. Н. Бегичева и от доктора Иона.

— Так, но не совсем так. Степана Никитича в это время в Петербурге не было, а я был, и Грибоедов прямо с дуэли * приехал ко мне. Василий Шереметев жил с Истоминой совершенно по-супружески — вместе, в одном доме. Они иногда вместе и выезжали, например, к князю Шаховскому, у которого была обязанность — приискивать всем хорошеньким, выходящим из театральной школы, достаточных и приличных «покровителей». Это была милая и совсем не бездоходная обязанность: за свои хлопоты Шаховской брал порядочные деньги. Одним словом, эта обязанность была надежный капитал, всегда дающий верный и прибыльный процент. Все им покровительствуемые красавицы и их счастливые обожатели уже и смотрели на Шаховского, как на своего патрона, обращались к нему во всех своих ссорах, неприятностях и прочее. Он мирил, ладил, устраивал, все обходилось ладно и клейко, по-домашнему. Шереметев, шалун, повеса, но человек с отлично-добрым и благородным сердцем, любил Истомину со всем безумием страсти, а стало быть и с ревностью. И, в самом деле, она была хорошенькая, а в театре, на сцене, в танцах с грациозными и сладострастными движениями — просто прелесть. Шереметев с ней ссорился часто и, поссорившись и перед роковой для него дуэлью, уехал от нее **. Надо заметить, что скорей он жил у нее, чем она у него. Истомина как первая танцовщица получала большие деньги и жила очень хорошо... Грибоедов, который в то

* Между В. В. Шереметевым и гр. А. П. Завадовским.

** Наоборот, А. П. Истомина уехала от Шереметева к своей подруге Азаровой, как это выяснено следствием.

время жил вместе с графом Завадовским, бывал у них очень часто как друг, как близкий знакомый. Завадовский имел, кажется, прежде виды на Истомину, но должен был уступить счастливому сопернику. Тем на этот раз дело и ограничилось. Поссорившись, Шереметев как человек страшно влюбленный следил, наблюдал за Истоминой; она это очень хорошо знала. Не знаю уже почему, во время этой ссоры Грибоедову вздумалось пригласить к себе Истомину после театра пить чай. Та согласилась, но, зная, что Шереметев за ней подсматривает и не желая вводить его в искушение и лишний гнев, сказала Грибоедову, что не поедет с ним вместе из театра прямо, а назначила ему место, где с ней сейчас же после спектакля встретиться — первую, так называемую, Суконную линию Гостиного двора, на этот раз, разумеется, совершенно пустынную, потому что дело было ночью. Так все и сделалось: она вышла из театральной кареты против самого Гостиного двора, встретилась с Грибоедовым и уехала к нему. Шереметев, наблюдавший издалека, все это видел. Следуя за санями Грибоедова, он вполне убедился, что Истомина приехала с кем-то в квартиру Завадовского. После этого он просто, через людей мог узнать, что этот кто-то был Грибоедов. Понятно, что все это происшествие взбесило Шереметева, он бросился к своему приятелю Якубовичу с вопросом, что тут делать.

— Что делать, — ответил тот: — очень понятно: драться, разумеется, надо, но теперь главный вопрос состоит в том, как и с кем. Истомина твоя была у Завадовского — это раз, но привез ее туда Грибоедов — это два, стало быть, тут два лица, требующих пули, а из этого выходит, что для того, чтобы никому не было обидно, мы, при сей верной оказии, составим un parti carré [184]: ты стреляйся с Грибоедовым, а я на себя возьму Завадовского.

— Да помилуйте, — прервал я Жандра: — ведь Якубович не имел по этому делу решительно никаких отношений к Завадовскому. За что же ему было с ним стреляться?

— Никаких. Да уж таков человек был. Поэтому-то я вам и сказал и употребил это выражение: «при сей верной оказии». По его понятиям, с его точки зрения на вещи, тут было два лица, которых следовало наградить пулей, — как же ему было не вступиться? Поехали они к Грибоедову и к Завадовскому объясняться. Шереметев Грибоедова вызвал. «Нет, братец», отвечал Грибоедов: «я с тобой стреляться не буду, потому что, право не за что, а вот если угодно Александру Ивановичу (т.-е. Якубовичу), то я к его услугам». Parti carré устроилось. Шереметев должен был стреляться с Завадовским, а Грибоедов с Якубовичем. Барьер был назначен на восемнадцать шагов, с тем, чтобы противникам пройти по шесть и тогда стрелять. Первая очередь была первых лиц, т.-е. Шереметева и Завадовского. Я забыл сказать, что в течение всего этого времени Шереметев успел помириться с Истоминой и как остался с ней с глазу на глаз, то вдруг вынул из кармана пистолет, и, приставивши его прямо ко лбу, говорит: «Говори правду, или не встанешь с места, — даю тебе на этот раз слово. Ты будешь на кладбище, а я в Сибири, — очень хорошо знаю, да что же... Имел тебя Завадовский, или нет?» Та, со страху ли, или в самом деле правду, но, кажется, сказала, что имел *. После этого понятно, что вся злоба Шере-

* Из подлинного следствия, произведенного о поединке штабс-ротмистра Кавалергардского полка Шереметева с камер-юнкером Завадовским... Следствие это произведено было, по предписанию с.-петербургского военного генерал-губернатора, полковником Кавалергардского полка Ланским 3-м, полицеймейстером полковником Ковалевым и камер-юнкером, 5 класса Ланским и сохранилось в деле о названной дуэли. Вот показания самих лиц, причастных к дуэли, о ее причине: «Камер-юнкер Завадовский объяснил производившим следствие, что причиною его поединка было то, что танцорка императорского театра Истомина, переехавши от Шереметева на собственную квартиру, по приглашению его, Завадовского, была у него на короткое время, о чем Шереметев, узнав, объявив ему причину неудовольствия, вызывая драться на смерть.—Танцорка же Истомина показала, что она, у Шереметева проживая около двух

метева обратилась уже не на Грибоедова, а на Завадовского, и это-то его и погубило... Когда они с крайних пределов барьера стали сходиться на ближайшие, Завадовский, который был отличный стрелок, шел тихо и совершенно спокойно. Хладнокровие ли Завадовского взбесило Шереметева, или просто чувство злобы пересилило в нем рассудок, но только он, что называется, не выдержал и выстрелил в Завадовского, еще не дошедши до барьера. Пуля пролетела около Завадовского близко, потому что

---

лет, давно намеревалась по беспокойству его характера и жестоким с нею поступкам отойти от него; наконец, рассорясь с нею 3-го числа сего месяца, сослал ее от себя прочь, почему она и перешла на особую квартиру, но когда она была 5-го числа сего же месяца в понедельник в танцах в театре, то знакомый как ей, так и Шереметеву ведомства государственной коллегии иностранных дел губернский секретарь Грибоедов, часто бывавший у них по дружбе с Шереметевым и знавший о ссоре ее с ним, позвал ее с собою ехать к служащему при театральной дирекции действительному статскому советнику князю Шаховскому, к коему по благосклонности его передко езжала, но, вместо того, привез ее на квартиру Завадовского, но не сказывал, что его квартира, куда вскоре приехал и Завадовский, где он по прошествии некоторого времени предлагал ей о любви, но в шутку или в самом деле, того не знает, но согласия ему на то объявлено не было; с коими посидевши несколько времени, была отвезена Грибоедовым на свою квартиру, но на третий день приехал к ней Шереметев, просил у нее прощенья и приглашал возвратиться к нему, но она, не желая сего, намерена была в тот же день ехать к князю Шаховскому, но Шереметев просил ее, чтобы ехать в его экипаже, но когда она согласилась, то он, вместо того, привез ее к себе и, показывая на пистолеты, говорил, что ежели не останется у него, то он застрелит себя. Видя его в таком чистосердечном раскаянии и не желая довести до отчаяния, осталась у него, после чего в продолжение двух дней он спрашивал, что не была ли она у кого-нибудь в то время, когда не жила у него, стращая при том, что ежели она не скажет, то он ее застрелит; она принуждена была на третий день признаться, что была у графа Завадовского. Он, будучи доволен ее признанием, тотчас пошел с сей квартиры, но при выходе из оной встретился с ним лейб-гвардии Уланского полка корнет Якубович, с коим он и ушел, а часа через два опять возвратился.

оторвала часть воротника у сюртука, у самой шеи. Тогда уже, и это очень понятно, разозлился Завадовский. «Ah!», сказал он: «il en voulait à ma vie! A la barrière!» [185]. Делать было нечего. Шереметев подошел. Завадовский выстрелил. Удар был смертельный, — он ранил Шереметева в живот. Шереметев несколько раз подпрыгнул на месте, потом упал и стал кататься по снегу. Тогда-то Каверин и сказал ему, но совсем не так, как вам говорил Ион: — «вот тебе, Васька, и редька» — это не имеет никакого смысла, а довольно известное выражение русского простолюдья: «что,

---

С того времени Шереметев был доволен и покоен, сказывая ей, что он все знает о бытности ее у Завадовского и что все сие решено уже. Но сверх ее чаяния в понедельник 12-го числа приезжает Якубович и сказывает ей, чтобы она ушла куда-нибудь с квартиры, так как много соберется офицеров, ибо Шереметев ранен, почему она и препровождена была в особую квартиру, о поединке же ничего не знает. — Губернский секретарь Грибоедов ответствовал, что ее пригласил ехать единственно для того только, чтобы узнать подробнее, как и за что она поссорилась с Шереметевым, и как он жил до сего времени за неделю на квартире Завадовского, то и завез на оную, куда приехал и Завадовский, но объяснялся ли он ей в любви, не помнит, но после отвез ее на квартиру. — Граф Завадовский сперва производившим следствие объяснил, что оная Истомина была у него по приглашению его, а потом и вторично ответствовал, что он ее в театре на лестнице лично приглашал к себе, когда она оставит Шереметева, побывать в гостях у него, но с кем она приехала к нему не знает и о любви, может быть, в шутках говорил и делал разные предложения, но на очной ставке с Грибоедовым о приглашении ее приехать к себе ответствовал, что ошибся, принявши визит Истоминой на свой счет. — Корнет Якубович, уже предназначенный к отставке по высочайшему повелению, по представлению цесаревича Константина Павловича, был немедленно же арестован за участие в дуэли Шереметева, но при допросе не выяснил причин дуэли, заявив лишь, что «поступок Завадовского не делал чести благородному человеку», подробности же ссоры не хочет пояснить, «дабы не показать пристрастия к Шереметеву и не снять вины с Завадовского». За что же Шереметев имел злобу, «Завадовскому спрашивать было нечего, потому что причину сего лучше их знал». — Об Ионе и Каверине в следствии нет ни слова.

Вася? Репка?» Репа ведь лакомство у народа, и это выражение употребляется им иронически в смысле: «что же? вкусно ли? хороша ли закуска?» Якубович, указывая на Шереметева, обратился к Грибоедову с изъяснением того, что в эту минуту им, конечно, невозможно стреляться, потому что он должен отвести Шереметева домой. Они отложили свою дуэль до первой возможности, но в Петербурге они стреляться не могли, потому что Якубовича сейчас же арестовали и прямо из-под ареста послали на Кавказ. Они, действительно, встретились с Грибоедовым на первых же порах его приезда в Тифлис и стрелялись. Ермолов несколькими минутами не успел предупредить дуэли, пославши арестовать обоих. Грибоедов, как и Шереметев же, не выдержал и выстрелил, не дошедши до барьера. Якубович стрелял отлично и после говорил, что он на жизнь Грибоедова не имел ни малейших покушений, а хотел, в знак памяти, лишить его только руки. Пуля попала Грибоедову в ладонь левой руки около большого пальца, но, по связи жил, ему свело мизинец, и это мешало ему, музыканту, впоследствии играть на фортепияно [186]. Ему нужна была особая аппликатура. Шереметев жил после дуэли три дня *.

— Очень любопытно, Андрей Андреевич, — начал я, — знать настоящую, действительную степень участия Грибоедова в заговоре 14 декабря?

— Да какая степень? Полная.

— Полная? — произнес я не без удивления, зная, что Грибоедов сам же смеялся над заговором, говоря, что сто человек прапорщиков хотят изменить весь правительственный быт России.

— Разумеется, полная. Если он и говорил о ста человеках прапорщиков, то это только в отношении к ис-

* По документальным данным, штабс-ротмистр Кавалергардского полка В. В. Шереметев 2-й скончался на другой день после дуэли, т.-е. 13 ноября, в пять и три четверти часа пополудни.

полнению дела, а в необходимость и справедливость дела он верил вполне*. На этом-то основании, вскоре после дуэли своей с Якубовичем, он и с ним был «как ни в чем не бывало», как с единомышленником. А выгородился он из этого дела действительно оригинальным и очень замечательным образом, который показывает, как его любили и уважали. Историю его ареста Ермоловым вы уже знаете; о бумагах из крепости Грозной и судьбе их—тоже. Но вы, верно, не знаете вот чего. Начальники заговора или начальники центров, которые назывались думами, а дум этих было три — в Кишиневе, которой заведывал Пестель, в Киеве — Сергей Муравьев-Апостол и в Петербурге — Рылеев, поступили в отношении своих собратьев-заговорщиков очень благородно и осмотрительно: человек вступал в заговор, подписывал и думал, что уже связан одной своей подписью; но на деле это было совсем не так: он мог это думать, потому что ничего не знал, подпись его сейчас же истреблялась, так что в действительности был он связан одним только словом. Надо вам сказать, что в первом своем зародыше, в начале, это был заговор чисто военный, т.-е. между одними только военными. Сноситься заговорщикам было очень удобно, несмотря на дальность расстояния: Александр Бестужев был старшим

---

* Это свидетельство близкого друга А. С. Грибоедова в том, что поэт вполне разделял с декабристами веру в необходимость и справедливость их дела, весьма замечательно. Его смущали, повидимому, лишь неорганизованность дела и излишняя болтливость и пошлость некоторых членов, так сказать, хористов движения, но, конечно, несмотря на весь свой скептицизм и холодный ум, Грибоедов (как и Пушкин) нашел бы в себе, без сомнения, достаточно энтузиазма и сил, чтобы 14 декабря, если бы он был в это время в Петербурге, стать в ряды своих друзей и товарищей, Рылеева, Одоевского, Кюхельбекера, Бестужева и многих других, а не остаться на средине Сенатской площади, не примыкая ни туда, ни сюда, как думает это В. Розанов (см. его «Литературные очерки», изд. И. Перцова, СПБ, 1899, стр. 192 — 200) [187].

адъютантом главного штаба *, имевшего сношения с штабами армии. Там, в одном месте был Сергей Муравьев-Апостол, в другом — Пестель, да и вообще адъютанты штабов все были в заговоре. Они преспокойно пользовались казенными печатями, делая какой-то условный знак чернилами у самой печати на конвертах. Все прочие конверты адъютантами распечатывались, а эти, конечно, прятались. У заговорщиков военных была Зеленая книга, в которую и вносились их имена. Этот, сперва чисто военный, заговор впоследствии расширился, в него вступило много отставных, даже купцов. Зеленая книга,— это было в 1818 году во время сборного в Москве полка,— была уничтожена и заменена Желтой книгой **. В это время многие от заговора отстали, даже сам Никита Муравьев. Отстал в это же время и наш С. Н. Бегичев. Когда 14 декабря бунт вспыхнул, заговорщики были взяты, между ними, по непонятным причинам, Бестужев-Рюмин стал прямо указывать на Грибоедова, упирая всего более на то, что Грибоедов с Сергеем Муравьевым-Апостолом жил сыздетства душа в душу... По этому только случаю Грибоедова и взяли ***.

— Что же за выгода была в этом Бестужеву-Рюмину?— спросил я. — Что за цель, что за отрада?

— Не понимаю. Но мало того, что против Грибоедова не нашлось, как вы уже знаете, никаких доказательств, — в пользу его (вот что замечательно) были свидетельства

---

* Бестужев никогда не был старшим адъютантом главного штаба, а адъютантом Александра Виртембергского, известного под именем Принца-Шишки. *М. П.*

** О Зеленой книге знали все, но только немногие знали, в чем состояло дело. Общим убеждением было, что это особая масонская ложа, членами которой были одни офицеры гвардии. О существовании Желтой книги я не слыхал. *М. П.*

*** Это оговор Бестужева-Рюмина, совершенно не подтверждающийся документально. См. показания Бестужева-Рюмина в пользу Грибоедова (П. Е. Щеголев, «Грибоедов и декабристы», СПБ, 1905, стр. 9—10).

самих заговорщиков, потому что и Сергей Муравьев, и Рылеев, и Александр Бестужев (Марлинский), которые не могли уже в то время в чем-нибудь сговариваться, сталкиваться, сказали одно и то же *, что Грибоедов в заговоре не участвовал и что они и не старались привлекать его к заговору, который мог иметь исход скорее дурной, чем хороший, потому что берегли человека, который своим талантом мог прославить Россию. Таким-то образом Грибоедов выгородился совершенно... Разумеется, много помогли ему и Ермолов, и уже здесь, в следственной комиссии, Ивановский.

## VI

Мне остается, для полноты картины, сказать несколько слов о Жандре как человеке.

Человек, который был другом Грибоедова — настоящим, а не двусмысленным, как Булгарин, не может быть дурным человеком. Это надо принять за аксиому. Жандру около 70 лет, женился он поздно и теперь «весь», по выражению его жены, «живет в своем семействе». Дети гораздо более вьются, трутся и вертятся около него, чем около матери. Старца (и это совершенно в духе всякого старца), кажется, приводит в решительное восхищение то, что у него 2-3 месяца тому назад родился ребенок. Наш брат от такой благодати чуть не заплачет, а старческому самолюбию это льстит. Детей он балует страшно, они делают из него, что хотят. По зову ребенка старик встает и идет в другую комнату, — разумеется, за пустяками. Tout ce qui est trop [188]; — говорит пословица. Дочка его, лет 9-ти, что ли, ловкая, но такая подвижная и манерная, что хоть вот сию минуту прямо в любую труппу

* Нужно иметь в виду объяснение Д. И. Завалишина: «В старании товарищей не компрометировать Грибоедова не было также ничего особенного, исключительного. Это было лишь следствием наперед условленного, общепринятого правила стараться не запутывать никого, кто не был еще запутан».

эквилибристов на канат. Я таких детей не люблю, а их, хоть и детской, но все-таки несколько нахальной развязности не люблю еще больше. Актриса, теперь уже актриса! Что толку? Жандр сам признавался мне, что почти ничего не читает, кроме сенаторских записок да des choses prohibées [189], как, например, все герценовское, интересующее теперь всякого. В отношении к языку он, как сам признавался, пурист. Например, я спрашиваю о Завадовском:

— Скажите пожалуйста, что это была за личность?

— Ради бога, не убивайте меня.

Я вытаращил глаза.

— Не говорите «личность», у нас под этим словом разумеется совершенно другое понятие.

— Но, ведь, это прямой перевод слова personnalité.

— То-то что не прямой: personnalité — особа.

Старик, видимо, ошибается.

— Особа l'individu, — замечаю я.

— И personnalité.

Ну, бог с ним.

Вообще, он человек благородный и добрый, — по крайней мере, ко мне был чрезвычайно добр: дружески пенял мне, что я не уведомил его о моей болезни, сам навестил меня, спрашивал, не растрясла ли у меня, заезжего, моя болезнь казны... Вхожу к нему во второй раз после моей болезни, — и он отменяет только что отданное человеку приказание итти справиться о моем здоровье. А это! — старик сидит на какой-то, и не очень удобной кушетке, а я подле него в больших волтеровских креслах, существовавших еще при Грибоедове, спрятавшись раз за которые, Жандр напугал Грибоедова, за что тот и назвал его школьником... Старик рассказывает, и притом такие вещи, которых, верно, другому не стал бы говорить, а у меня, без всякого зазрения совести, на коленях портфель с бумагой, а в руке карандаш; я, решительно, без всяких приличий, записываю бегло перечнем все, что он говорит.

Прощаясь, мы дружески обнялись и расцеловались. Последнее его слово было — поклон моей жене.

В Степане Никитиче до сих пор больше огня и душевной силы, хотя, вероятно, меньше физической, хотя он глух и руки у него сильно трясутся. В Степане Никитиче есть то, что

Мхом покрытая бутылка вековая
Хранит струю кипучего вина...

СПБ., июня 5, 1858.
1 час ночи.

## VII

В конце февраля 1859 года я снова приехал в Петербург. Само собой разумеется, что один из первых моих визитов был сенатору Жандру, который писал ко мне только одно письмо, но самое обязательное. В письме этом, которое я прилагаю в подлиннике, были мне особенно дороги следующие строки: «Не удивляйтесь и не сердитесь на меня, любезнейший, почтенный Дмитрий Александрович, что на 3 письма Ваши, которые доставили мне истинное удовольствие, убеждая, что на свете есть еще люди, согретые человеческим сердцем, — я отвечаю так поздно. Для таких старых людей, как я, самое трудное дело писать, что бы ни было... А я все лето писал, писал и писал»... Далее следовало исчисление его настоящих служебных трудов и следующее слишком важное для меня известие: «Перебравшись на новую квартиру и перебирая мои бумаги, я нашел два письма незабвенного моего друга. Если удосужусь, то пришлю вам копии с них. Одно менее интересно, другое несравненно более. Оно писано к Варваре Семеновне, общему нашему другу, из Табриса незадолго до последнего отъезда Александра в Тегеран, следовательно — незадолго до его смерти *.

* Письма эти в лично мною снятых копиях находятся у меня. *Д. С.*

Напечатаны в собрании сочинений А. С. Грибоедова, под ред. П. А. Шляпкина (т. I, стр. 175, 257, 277 и 329).

Нас как-то невидимо, но как-то чувствуемо соединила мысль, что его уже нет, нашего общего друга, нашего дорогого Степана Никитича.

— Он умер, — сказал я.

Сенатор промолчал, но ему, видимо, было грустно.

— Он обещал мне, при последнем свидании, все письма Грибоедова к нему в мою собственность, — продолжал я.

— Не знаю, — отвечал Жандр, — но я душевно сохраняю память об этом человеке, — недаром его так любил Грибоедов. Они много дурости наделали в молодости: во второй этаж дома в Брест-Литовске верхом на лошадях въехали на бал... Это были кутилы, но из них вышли замечательные люди. Степан Никитич был рыцарь благородства, и вы должны почитать себя совершенно счастливым, если сохранили несколько его писем.

— Вы рассказываете, Андрей Андреевич, как они в Брест-Литовске верхом во второй этаж на лошадях приехали. Да мало ли они там чудили. Я вам расскажу одну проделочку моего дядюшки: вы, вероятно, знаете, что в Брест-Литовске был какой-то католический монастырь, чуть ли не иезуитский; вот и забрались раз в церковь этого монастыря Грибоедов со своим любезным Степаном Никитичем, когда служба еще не начиналась. Степан Никитич остался внизу, а Грибоедов, не будь глуп, отправился наверх, на хоры, где орган. Ноты были раскрыты. Собрались монахи, началась служба. Где уж в это время находился органист, или не посмел он согнать с хор и остановить русского офицера, да который еще состоял при таком важном в том крае лице, каким был Андрей Семенович Кологривов, — уж я вам передать этого не могу, потому что не догадался об этом спросить Степана Никитича, от которого слышал обо всей этой проделке. Вы лучше моего знаете, что Грибоедов был великий музыкант. Когда по порядку службы потребовалась музыка, Грибоедов заиграл и играл довольно долго и отлично. Вдруг священнодейческие звуки умолкли, и с хор раздался

наш кровный, наш родной «Камаринский»... Можете судить, какой это произвело эффект и какой гвалт произошел между святыми отцами...

С Жандром мы видались часто. Раз он говорит мне:

— Когда Грибоедов приехал в Петербург и в уме своем переделал свою комедию, он написал такие ужасные брульоны, что разобрать было невозможно. Видя, что гениальнейшее создание чуть не гибнет, я у него выпросил его полулисты. Он их отдал с совершенной беспечностью. У меня была под руками целая канцелярия; она списала «Горе от ума» и обогатилась, потому что требовали множество списков. Главный список, поправленный рукой самого Грибоедова, находится у меня. Вы почерк его знаете, — сомнения не может быть никакого. Барон Корф просил у меня мой экземпляр для императорской Публичной библиотеки, но я не дал, потому что хочу, чтобы этот экземпляр сохранился в моем семействе *.

Несколько раз говорили мы о князе Александре Одоевском.

— Князь Александр, — сказал мне Жандр, — после происшествия 14 декабря бежал, за ним был послан Василий Перовский, человек чрезвычайно благородный; он видел в Ораниенбауме следы его по снегу, когда тот побежал из дому в лес, но не решился его преследовать. Впрочем, его схватили. И я был схвачен в пальто, бобровой шапке (как давший свое платье князю Одоевскому); в таком виде я был представлен императору, в пальто и в бобровой шапке. Государь спросил меня:

— Ты дал князю Одоевскому одежду?

— Я.

— Ты участвуешь в заговоре?

— Нет. Но я всех их знаю.

— Ступай.

---

* Семья А. А. Жандра передала этот замечательный список музею имени А. С. Грибоедова в Москве, где он и хранится.

После государь меня жаловал, и лент и звезд было дано много, и нередко я имел, так называемое, счастье представляться Николаю Павловичу и обедать у него, особенно же часто в Петербурге, где я почти всегда живу летом, но никогда государь не сказал со мной ни одного слова; я видел милости, но видел и немилости, впрочем, мне все равно. Хоть мне дадут пятую, хоть шестую звезду, все это вздор. Я служил честно — и умру честно.

Раз я сидел у Жандра особенно долго: старик разговорился.

Я помню те времена, когда без портфелей ходили.... старые времена, вы их помнить не можете.

— Да в чем же бумаги-то носили? — спросил я.

— Да в бумагах же.

— А дождь, снег, ветер?

— Ну, так в платок завяжут, или в салфетку завернут, а о таких премудростях, как портфели, и слухом не слыхали, и видом не видали.

Я промолчал, потому что боялся, что отпущу глупость, в роде следующей: «Да, подлинно доисторические времена», и тем напомню старику его действительно преклонные лета, что не всегда бывает приятно.

Жандр особенно любит говорить о всем, что относится к 14 декабря. Видимо, что он всем этим происшествиям сочувствует и судит о них, зная всю подноготную, как человек умный и благородный, т.-е. осуждает * их.

---

* Этим выраженным здесь личным взглядом Д. А. Смирнова на дело 14 декабря можно объяснить многие недомолвки и неясности в передаче данных об участии А. С. Грибоедова в декабристском движении. Узнав от друга его, А. А. Жандра, что действительная степень участия Грибоедова в заговоре 14 декабря была «полная», он даже не расспросил его, каковы же именно были политические взгляды А. С. Грибоедова. Был ли он республиканец или конституционалист. Ведь можно было, разделяя теоретически все крайние требования декабризма, совершенно не надеяться на их осуществление, и, с другой стороны, не зная даже программы, выполнять ее слепо, с тем самозабвением, которое

— А вот я вам расскажу, как развивались перед 14 декабря партия аристократическая и партия либеральная. Всем известна история дуэли между Черновым и Новосильцевым *. До такой степени общество было настроено в смысле идей демократических и революционных, что все было против аристократии, которая, как плющ какой-нибудь около дерева, всегда и всюду вилась около престолов. Отец Чернова был генерал-майор, у него было семь сыновей и одна дочь. Я знавал ее, она была очень хороша, можно сказать красавица. Новосильцев влюбился и, уже сосватавшись и бывши женихом девушки, так что он ездил с ней вдвоем по городу, должен был изменить, по воле строгой и безумной матери, своему слову; она не позволила сыну жениться, потому что у Черновой имя было нехорошо — Нимфодора, Акулина или что-то в роде этого. Из-за этого вышла дуэль. Старик, генерал Чернов, сказал, что все его семь сыновей станут поочередно за сестру и будут с Новосильцевым стреляться, и что если бы все семь сыновей были убиты, то будет стреляться он, старик. Дело совершилось так: Новосильцев стрелялся со старшим Черновым. Оба были ранены насмерть. Новосильцев умер прежде. Похоронный поезд его как аристократа сопровождало великое множество карет, — поверить трудно. Это взбудоражило все либеральные умы; решено было, когда Чернов умер, чтобы за его гробом не смело следовать ни одного экипажа, а все, кому угодно быть при похоронах, шли бы пешком,

проявил, например, В. К. Кюхельбекер. Нетрудно, однако, догадываться, что Грибоедов, при всем складе ума своего, проницательного, критического и холодного par excellence, был сыном своего века, был «пламенным мечтателем в краю вечных снегов», по собственному его признанию и выражению, и волна декабристского движения захватила бы его вместе с Рылеевым, Одоевским и Кюхельбекером, если бы обстоятельства не забросили его в глушь Кавказа в самый разгар событий.

* См. «Исторические очерки и рассказы» С. Н. Шубинского, изд. 5.

и действительно, страшная толпа шла за этим, хоть и дворянским, но все-таки не аристократическим гробом — человек четыреста. Я сам шел тут. Это было что-то грандиозное.

Однажды Жандр спросил меня:

— Читали вы когда-нибудь донесение следственной комиссии?

— Никогда его даже и не видывал.

— Как жаль! Оно у меня было и куда-то запропастилось: ведь, у меня такое множество всяких бумаг. Эта вещь, кажется, была писана для надувательства почтеннейшей публики, как будто публика — дитя. Однако, знаете ли, что в обществе была некоторая надежда, что Николай простит или хоть не так тяжко накажет виновных главных лиц заговора. Я в это не верил, — Николай никогда не прощал, и он их преспокойно повесил. В тот самый день, когда их повесили, некоторые из близких мне людей видели отца Рылеева. Он был весел. Вот, стало быть, как сильна была надежда... За верность этого факта я вполне ручаюсь.

— Где их вешали?

— В Петропавловской крепости.

— Вы были на этой человечественной церемонии, Андрей Андреевич?

— Нет, не был. Греч был. Церемония эта началась в пять часов утра, и к шести все уже было кончено. Потом этих несчастных положили в лодку, прикрыли чем-то, отвезли на один пустынный островок Невы — Голодай, где хоронятся самоубийцы, и там похоронили. Мы на этот островок ездили...

— Что же вы там нашли?

— Ничего, кроме кустов, — никаких следов могил, только тут какой-то солдатик шатался... Мы его расспрашивать не стали.

— Да, — повершил я наш разговор, — и бысть тогда же речено про царя Николая:

Недолго царствовал, да много куралесил,
Сто семь в Сиб ь сослал, да пятерых повесил.

## VIII

Утром 3 мая (1858), часов около 9, отправился я к Сосницкому, живущему неподалеку от меня — около Большого театра, на Екатерининском канале.

Через служанку подаю хозяину следующую записку: «Д. А. Смирнов, владимирский дворянин, племянник знаменитого Грибоедова, желает иметь честь познакомиться с И. И. Сосницким» *.

— Пожалуйте.

Почти у самых дверей передней встречает меня старик довольно высокого роста, седой, с живыми глазами и очень подвижными чертами лица.

Я рекомендуюсь. Он говорит обычное: «очень рад с вами познакомиться», но говорит это как-то непринужденно и особенно свободно. Я сразу вижу, что с этим человеком тоже как-то свободно... Но, боже мой, что это за любопытный человек! Это — живой архив и русского театра и даже, частью, русского общества.

— Вы знали, Иван Иванович, дядю моего лично?

— Грибоедова-то? Еще бы!.. Я вам скажу, что я был ему одно время очень обязан. Когда он вышел в отставку из военной службы (это было в 1815 **, кажется, году), я был тогда молодым человеком, жил в казенном доме

---

* Иван Иванович Сосницкий (1794 — 1877), — «дедушка русской сцены», как написано на его мраморном бюсте, — был сын капельдинера. Впервые выступил в 1811 году в молодой труппе кн. Шаховского. Первый большой успех имел в 1815 году в пьесе кн. Шаховского «Урок кокеткам или Липецкие воды» и в пьесе А. С. Грибоедова «Молодые супруги». Первенствующее положение Сосницкий приобрел с появлением на сцене «Горя от ума» (1829), где он играл и Чацкого, и Загорецкого, и Репетилова. Последняя роль — одно из лучших созданий артиста. В «Ревизоре» (1836) он создал роль Городничего.

** А. С. Грибоедов уволен в отставку из военной службы приказом 25 марта 1816 г.

и заболел. Грибоедов посещал меня очень часто, привозил мне лекарства и все на свой счет *.

— Грибоедов был, вообще, очень доброго характера.

— Да, но он бывал иногда строптив и вообще резок. Хотите, я вам расскажу один случай, бывший у меня, именно, перед глазами [190]?

— Сделайте милость.

— Это было в 1824 году. Грибоедов приехал в Петербург с первыми актами своей комедии **, слух о которой уже ходил в народе. Раз встречается он у меня с известным комиком Хмельницким. Тот говорит: «Александр Сергеевич, познакомьте меня с вашей комедией, о ней говорят» (Грибоедов согласился), «приезжайте ко мне обедать, тогда и почитаем. Я соберу несколько человек общих добрых приятелей». Назначили день и час, и несколько человек собралось у Хмельницкого. Там были: Василий Каратыгин, Соц, я и другие, в том числе некто Василий Михайлович Федоров, человек очень умный, образованный, автор нескольких слезных и чувствительных драм, которые были когда-то во вкусе и в духе своего времени и над которыми Федоров сам же смеялся первый, от души и очень остроумно. Грибоедов приехал, привез с собой свою рукопись, и так как ее переписывал какой-то канцелярский чиновник почерком казенным, крупным, то рукопись была довольно толста. Грибоедов положил ее на стол в гостиной. Федоров подошел, взял в руки тетрадь, да и говорит:

— Эге! Таки увесисто. Стоит моих драм.

— Я глупостей не пишу, — резко и с сердцем отвечал Грибоедов, видимо, обидевшийся.

---

* Это указание на помощь Грибоедова Сосницкому во время болезни оставалось доселе неизвестным.

** А. С. Грибоедов привез в Москву первые два акта «Горя от ума», в Петербург же он приехал, имея все четыре акта в своем портфеле, правда, в черновой, московской их редакции.

— Александр Сергеевич, я тут больше подшутил над собой, чем над вами, стало быть, больше обидел себя, а не вас.

— Да вы и не можете меня обидеть.

Резкость этого тона на всех нас, а особенно на хозяина, подействовала как-то неприятно. Мы старались, что называется, «сгладить» все это происшествие, но не тут-то было: Грибоедов уперся и в нем, видимо, оставалось неприязненное чувство к Федорову.

Когда мы отобедали, подали кофе, Хмельницкий обратился к Грибоедову со словами:

— Теперь, Александр Сергеевич, можно бы, кажется, начать чтение?

— Я не буду читать, пока этот господин будет здесь, — отвечал Грибоедов, указывая на Федорова.

Федоров, видимо, переконфузился.

— Александр Сергеевич, — сказал он: — я, ей-ей, не думал вас обидеть.

— Да и не можете, я вам это уже говорил.

— Но, видимо, что слова мои вам неприятны.

— Приятного в них, точно, ничего нет.

— Если вам неприятно, то я прямо прошу у вас извинения.

— Не нужно. А читать при вас я не буду.

— Так, стало быть, мне остается только уйти, чтобы не лишать других удовольствия слышать ваше сочинение.

— И благоразумно сделаете.

Федоров ушел. Через час времени Грибоедов начал чтение.

Разговор мой с Сосницким о «Липецких водах» см. в особом отделе: «История Липецких вод» *.

---

Сосницкий принял меня так просто, прямо и радушно, как я и выразить не могу.

— Пожалуйста, приходите ко мне запросто обедать; у меня простой русский стол, милости просим.

---

* В бумагах Д. А. Смирнова не сохранилась.

Разумеется, что я не отказался.

Я забыл вот что. Когда я проходил с хозяином ряд комнат (Сосницкий живет по-барски, как немногие в Петербурге), мне в одной комнате бросился прямо в глаза портрет М. С. Щепкина. «А», подумал я, «это отлично хорошо рекомендует хозяина как человека: стало быть, тут нет соперничества, а товарищество».

---

В среду — это будет 7 мая — пойду обедать к Сосницкому.

## IX

Несчастная и продолжительная болезнь моя мне по всему очень много напортила и напутала. Не успел я прочесть всего по Публичной библиотеке, хотя это *все* было, может быть, просто уже роскошью. Но главное напортила и напутала она мне именно в отношении к Сосницкому, потому что мне удалось видеть этого чрезвычайно замечательного человека только два раза: при приезде да при отъезде моем. Сосницкий, как я очень справедливо написал как-то жене, живая летопись не только русского театра, но в некоторой, разумеется, степени и русского общества. Сколько поколений, сколько идей, стремлений, верований, наклонностей общественных, сколько замечательных людей прошло перед его глазами! Он и Щепкин — да это два сущие клада. Говорят, что Щепкин написал записки, но хочет, чтобы они были изданы после его смерти, а Сосницкий, верно, ничего не написал, потому что сам мне признавался, что ленив до крайности... Притом же жизнь артиста, даже в нашей смиренной, верноподданнической России, — жизнь по преимуществу свободная, веселая, живая, решительная, антипатичная всему, что отзывается пером, терпеньем, кабинетным трудом. Когда этим господам писать? Им надо или играть, или гулять... Напиши и издай свои записки Сосницкий — он бы решительно обогатился: эту любопытную книгу,

которая, как бы ни была плохо написана, но по своему общественному, социальному характеру была бы гораздо любопытнее «Семейной хроники» или «Первых годов Багрова-внука» Аксакова, раскупили бы нарасхват.

Сосницкий, в молодости своей, принадлежал не к сценической, а к балетной труппе, — он танцовал. На драматическую сцену выступил он в первый раз в «Липецких водах» князя Шаховского *. Я где-то записал, что в наше время трудно и поверить тому огромному успеху, который имела в свое время эта из рук вон плохая комедия Шаховского. Это совершенно справедливо. Сосницкий объясняет причину ее успеха тем, что тут Шаховской подобрал все молодых, новых и свежих артистов и что при представлении ее в первый раз была оставлена натянутая, декламаторская дикция, которой придерживались даже и в комедии. Нет, этого мало! Видно (т.-е. не видно, а надо думать), что комедия затронула какие-нибудь общественные интересы или интересные общественные личности (как при этом слове не вспомнить Жандра!), потому что произвела такой фурор, такие горячие партии pro и contra, такую забавную печатную и письменную войну, покончennую стихами Грибоедова, которые, хоть и не вполне, но прочел мне С. Н. Бегичев. Они называются «Приказ Феба». Феб, которому из-за «Липецких вод» порядочно надоели, объявляет.

Что споры все о «Липецких водах»,
В хулу и в похвалу, и в прозе и в стихах,
Написаны и преданы тисненью —
Не по его веленью **.

Вот как далеко зашло общественное движение и журнальная драка. Это у нас бывает редко, и подобными

* Комедия «Урок кокеткам или Липецкие воды» поставлена в первый раз на сцене Малого театра 23 сентября 1815 г.

** Стихотворение это называется «От Аполлона» и напечатано в «Сыне Отечества», 1815 г., ноябрь, № 45.

фактами мы никак пренебрегать не смеем, да и не такое теперь время. Теперь очень дорого ценят всякий, хоть сколько-нибудь живой отголосок прошлого. Самые ясные следы этой журнальной драки можно найти в «Северном Наблюдателе» за 1817 год, журнале Загоскина, страшного и не совсем, кажется, честного поклонника Шаховского, журналиста и писателя жалкого, над которым довольно остроумно и резко смеялись в «Сыне Отечества» того же времени, а особенно один господин, какая-то «буква ъ» (о, блаженные старые времена, времена Лужницких Старцев, Ювеналов Правосудовых и Юстов Вередниковых!), преследовавший Загоскина без пощады. Загоскин, как известно, никогда не отличался большими умственными способностями, а это для всякого антагониста подобного человека — некий клад, потому что стоит только задеть за живое подобного господина, и он сейчас же, к всеобщему удовольствию, примется бодаться приставленными ему рогами и никак не угомонится сразу, а все будет продолжать — и, разумеется, что ни шаг, то как чорт в лужу... что ни шаг, то все больше и больше затесывается в болото. Случается иногда, что и эти господа сами задевают, затрогивают других, и, конечно, расплачиваются очень горьким для себя образом. Так случилось с Загоскиным: он задел Грибоедова (безделица!), указавши в своем «Северном Наблюдателе» на два, по его мнению, плохие стиха в комедии Грибоедова «Своя семья», сказавши, что

. . . . . подобные стихи
Против поэзии суть тяжкие грехи...

Искра попала в порох. Грибоедов написал сейчас же свой «Лубочный театр» [191] (который, спасибо ему, тысячу раз спасибо, мне доставил Сосницкий) и сгоряча привез его кому-то из издателей журнала напечатать. «Помилуйте, Александр Сергеевич», говорит ему издатель: «разве подобные вещи печатаются: это чистые голые личности».— «Так нельзя напечатать?» — «Нет, никак нельзя». — «Хорошо же». — Через несколько дней по Петербургу через

знакомых, знакомых знакомых и проч. и проч. разошлось около тысячи рукописных экземпляров «Лубочного театра». Загоскин был поднят насмех.

После тяжкой, трудной моей болезни первый мой выход был к Сосницкому. Воздух, на который я не выходил так долго, произвел на меня сначала, как какое-нибудь наркотическое, одурящее, опьяняющее действие... Сосницкий живет на даче в Павловске: что будешь делать! Я оставил у него письмо, о содержании которого нетрудно догадаться. Через несколько дней получаю ответ, который здесь прилагаю *. Разумеется, я пошел с «Лубочным театром» сейчас же и с этой драгоценностью к Жандру. То, что сказал о «Лубочном театре» Жандр**, записано у меня в другом месте.

Июня 3-го, по совету Иакинфа *** и собравши кое-как мои плохие силишки, сам отправился в Павловск... Неудачней этой поездки редко даже и со мною, неудачным человеком, бывало. Начать с того, что я встретил самого Сосницкого на петербургском дебаркадере Царскосельской дороги, и это еще очень хорошо, потому что избавило меня от крайне горькой и редко кому известной необходимости отыскивать дачу. Если и в городе бывает подчас трудно отыскать иной дом, то едва ли что может сравниться с горем отыскивать дачи, и это всюду так, и около Москвы, и около Петербурга. Я все надеялся, что проведу с Сосницким целый вечер и, пожалуй, многого наслушаюсь. Не тут-то было. Приезжаем — у него толпа гостей, его давно ожидающих и уже во всех отношениях порядочно закусивших и «пропустивших»... Eine lustige Gesellschaft! [192]. Подали запросто такой славный обед, что, судя по петербургским ценам... видно, что Сосницкий живет хорошо, если может подавать такие обеды на

* В бумагах Д. А. Смирнова не сохранился.

** См. выше, стр. 264.

*** Иакинф Иванович Шишкин, родственник Д. А. Смирнова, живший в Петербурге.

неожиданное и довольно большое для холостяка число гостей — запросто. Я ничего не ел, ибо закусил прежде, по-своему, по-больному. Съел, правда, кусок жаркого и таки влили в меня стакан красного вина. Шампанского, которого было много, я не пил: не люблю и боялся. Говорить о чем-нибудь, разумеется, никакой возможности. Сосницкий успел только мне подтвердить свои прежние слова о том, как Загоскин задел Грибоедова. Это подтверждение мне было тем особенно важно, что, как ни внимательно просматривал я «Северный Наблюдатель», — не мог найти того, о чем два раза говорил мне Сосницкий... Надо хоть после, а добраться непременно, потому что это хороший факт в материалах для биографии Грибоедова; кроме того, Сосницкий вполне подтвердил мне справедливость слов Жандра о прежних трудных театральных временах, о том, как Сушков и Каратыгин высидели в крепости и пр. Но все это было при самом прощании. Мы расцеловались и обнялись. Раздосадованный неудачей, я был еще, кроме того, раздосадован тем, что мне пришлось возвратиться в Петербург, чуть не сидя на корточках, т.-е., по крайней мере, на самом кончике лавки. Вот как это случилось: я вошел в вагон поздно, места все заняты. «Да где же?» спрашиваю я довольно сердито у кондуктора. «Да они должны сойти с места», говорит он, указывая на восьмилетнего мальчика... «Оставайся», говорит ему сидящая против него мать — старая, скверная, какая-то стянутая, набеленная и нарумяненная харя с болонкой. Что тут прикажете делать? В драку, что ли, с дамой вступать? Пришлось faire bonne mine à mauvais jeu! «Ne vous inquiétez pas, m-me, nous serons très bien avec votre petit tous les deux... Je suis moi-même père de famille»![193] Какое, к чорту, très bien: совершенно très mal. И хотя бы, харя, сказала хоть слово любезности за это, одно из тех слов, которые ровно ничего не стоят и обозначают лицо принадлежащим к порядочному кругу. Впрочем, после: «Он вас беспокоит? — «Нет-с, нисколько». Много было в вагоне

и разных модниц — все почти с французскими языками и с собачкой. Таким образом, вернулся я в Петербург ни с чем*, проклиная модниц, французский язык, а всего более рычащих и шипящих собачек...

Через несколько часов я еду. Сообщит ли мне что-нибудь Щепкин, для которого одного я заезжаю в Москву? [195]

СПБ., июня 5-го, 1858, около 9 часов утра.

---

* Впоследствии Д. А. Смирнов уже у себя в имении получил «нисколько не ожидаемый большой и толстый пакет» от И. И. Сосницкого. «В пакете письмо, самое обязательное, и — драгоценность, которую вам поставлю себе обязанностью показать» (см. неизданное письмо Д. А. Смирнова князю В. Ф. Одоевскому от 6 декабря 1858 г. в рукописном отделении Публичной библиотеки). «Нашему комику И. И. Сосницкому я столько обязан, что и передать вам не могу», пишет Смирнов ему же по этому поводу: «il a déterré pour moi de telles choses, qui ne sont connues de personne» [194].

# ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Булгарин, Фаддей Венедиктович (1789—1859), журналист, издатель «Северного Архива», «Литературных Листков», «Русской Талии», «Северной Пчелы», «Детского Собеседника», автор романов «Иван Выжигин», «Петр Иванович Выжигин», «Записки Чухина», «Дмитрий Самозванец» и целого ряда бойких и несомненно талантливых фельетонов; познакомился и сблизился с Грибоедовым в 1824 г., всегда с полной готовностью выполнял многочисленные и разнообразные поручения поэта, даже когда последний сидел под арестом в Главном штабе; хранил у себя подаренный ему Грибоедовым авторизованный список «Горя от ума» (т. н. «Булгаринский список») с надписью Грибоедова: «Горе мое поручаю Булгарину. Верный друг Грибоедов. 5 июня 1828». Булгарин, имя которого, как известно, стало впоследствии синонимом литературного пресмыкательства и продажности, «постиг», по словам хорошо знавшего его Н. И. Греча, «всю благость, все величие души Грибоедова, подружился с ним, был ему искренно верен до конца жизни, но не знаю, осталась ли бы эта дружба в своей силе, если бы Грибоедов вздумал издавать журнал и тем стал угрожать «Пчеле», т.-е. увеличению числа ее подписчиков» (Н. И. Греч, «Записки о моей жизни», СПБ, 1886, стр. 447).

«Воспоминания о незабвенном Александре Сергеевиче Грибоедове» были опубликованы Булгариным в 1830 г., в № 1 «Сына Отечества» и затем вошли в его собрание сочинений, откуда (Полн. собр. соч. Фад. Булгарина, изд. Ольхина, СПБ, 1844, т. VII, стр. 245—257) и перепечатаны нами в нашем сборнике. «Воспоминания» эти — первые по времени воспоминания о Грибоедове — еще и сейчас не утратили своего важного значения для биографии Грибоедова.

[2] С этим едва ли можно согласиться. «Пропствий» на долю Грибоедова все же выпало достаточно.

[3] Сведения о дате рождения А. С. Грибоедова расходятся. Наиболее достоверным представляется 4 января 1795 г., хотя сам Грибоедов, привлеченный по делу декабристов, показал, что он родился в 1796 г.

4 Неизвестно, о какой надписи говорит Булгарин. Герб, которым пользовались Грибоедовы, девиза не имеет. Помещенный в изданиях Евгр. Серчевского и И. А. Шляпкина герб А. С. Грибоедова также не имеет девиза, равно как и находящаяся в собрании В. К. Лукомского гербовая печать И. П. Балашова, часть которой составляет изображение герба бабки по матери И. П. Балашова, гр. Е. А. Паскевич-Эриванской, рожденной Грибоедовой (двоюродной сестры А. С. Грибоедова). В 1828 г. письмом из Москвы от 12 июня Грибоедов просил Булгарина: «узнай в герольдии наконец, какого цвета дурацкий мой герб, нарисуй и пришли мне со всеми онерами» (Полн. собр. соч. Грибоедова, под ред. Н. К. Пиксанова, т. III, стр. 210).

5 Буле, Иоган-Феофил (1763—1821), профессор естественного права и теории изящных искусств Московского университета, куда был приглашен в 1804 г.; в 1814 г. вышел в отставку и вернулся на родину в Брауншвейг; издавал «Московские Ученые Ведомости» и «Журнал Изящных Искусств»; автор ряда работ по истории, археологии и истории философии; последователь Канта.

6 Бегичев, Степан Никитич (1790—1859), близкий друг А. С. Грибоедова, с которым познакомился и сблизился в 1813 г., когда оба они были адъютантами начальника кавалерийских резервов ген. А. С. Кологривова, родственника Бегичева. Начав военную службу в 1802 г. корнетом Александрийского полка, Бегичев, с некоторым перерывом, служил до 1823 г. (Тираспольский конно-егерский полк) и вышел в отставку с чином полковника, проживая то в Москве, то в своей тульской деревне — с. Дмитриевском, где летом 1823 г. Грибоедов написал 3-й и 4-й акты «Горя от ума». Грибоедов, всю жизнь питавший к Бегичеву чувства самой трогательной дружбы, подарил ему рукопись своей комедии (т. н. «Музейный автограф»), имеющую первостепенное значение для истории текста «Горя от ума». В 1817 г. Бегичев вступил в «Союз Благоденствия», «но прежде еще разрушения Союза отклонился от оного и не участвовал в тайных обществах, возникших с 1821 г.»; поэтому Бегичева «высочайше повелено оставить без внимания» («Алфавит членам бывших злоумышленных тайных обществ»). Кроме Грибоедова, в Москве, в доме Бегичева часто бывали В. К. Кюхельбекер, кн. В. Ф. Одоевский, Д. В. Давыдов, А. Н. Верстовский.

7 Указания на обаяние личности Грибоедова содержатся во многих мемуарах современников поэта и в их переписке. У Грибоедова, конечно, были враги и недоброжелатели, зафиксировавшие даже (как, например, Д. В. Давыдов и Н. Н. Муравьев-Карский) в своих записках свою антипатию к поэту, но вместе с тем мы нередко находим указания, лишь подтверждающие свидетельство

А. А. Жандра, что «Грибоедов имел удивительную, необыкновенную, почти невероятную способность привлекать к себе людей» (см. стр. 248). Тот же Булгарин, изобразивший Грибоедова в «Записках Чухина» (где одна глава «похожа на роман, другая на повесть, третья на историю, четвертая на разговор очевидца, пятая на мемуары»), говорит, что Александр Сергеевич Световидов (Грибоедов тож) «имел от природы этот, так сказать, сверхъестественный дар, эту симпатическую силу очаровывать сердца одним взглядом и заставлять верить себе на слово» («Памятн. записки титулярн. советн. Чухина или простая история обыкновен. жизни; сочинение Фаддея Булгарина», ч. 1-я, СПБ, 1835, стр. 120). Ксенофонт Полевой, знавший Грибоедова лично и встречавшийся с ним в Петербурге в 1828 г., говорит, что ум Грибоедова, «разнообразие его сведений, необыкновенная увлекательность его беседы и какая-то всегдашняя ясность характера, привлекали к нему каждого, так что, несмотря на эпиграммы его разговора, он был любим всеми знакомыми... Его обращение всегда отличалось редким свойством: какою-то искренностью, которая, однако ж, не переходила светских форм. Слушая Грибоедова, можно было верить каждому слову его, потому что он не терпел преувеличений и будто мыслил вслух, не скрывая своих чувств, но образованность и светскость придавали ему характер обворожительный... Я видел в нем человека необыкновенного во всех отношениях, и это было тем драгоценнее, что он никогда не думал блистать; напротив, он будто скрывал себя от многолюдства и высказывался только в искренней беседе или в небольшом кругу знакомых, когда видел, что его понимают... Необыкновенная ловкость и приятность обращения отличали его всегда... Особенную приятность разговору его придавала тихая речь, которую почти всегда начинал он улыбаясь скромно и приятно» (Кс. Полевой, «О жизни и сочинениях А. С. Грибоедова», «Горе от ума», изд. 2-е, СПБ, 1839, стр. XVII, XLV, LV и XCVIII).

[8] Жандр, Андрей Андреевич (1789—1873), сын петербургского полицеймейстера; начал службу четырнадцатилетним мальчиком в должности копииста; к концу жизни—действ. тайн. советн., сенатор, первоприсутствующий в департаменте герольдии; содержался, после событий 14 декабря 1825 г., несколько дней под арестом; был в приятельских отношениях с Пушкиным; близкий друг Грибоедова, с которым они вместе перевели комедию «Притворная неверность» (перу Жандра принадлежит и ряд других работ для театра); сохранил подаренную ему Грибоедовым рукопись «Горя от ума» (т. н. «Жандровская рукопись»), имеющую весьма важное значение для истории текста комедии.

[9] Семенова-меньшая (младшая), Нимфодора Семеновна (1787–1876), оперная и комедийная актриса. Семенова-старшая, Екатерина Семеновна (1786 — 1849), в замужестве кн. Гагарина, сестра Нимфодоры Семеновой, знаменитая трагическая актриса, исполнявшая в этом спектакле роль Эльмиры.

[10] Кн. Шаховской, Александр Александрович (1777 — 1846), начальник репертуара императорских театров, драматический писатель, автор «Полубарских затей», «Пустодомов», «Урока кокеткам» и множества других пьес, выдержанных, в первый период его деятельности, в духе классицизма; впоследствии же (1824 г.) кн. Шаховской «перешол», по словам Грибоедова в письме его к П. А. Катенину, «в романтики» и написал ряд пьес на сюжеты, заимствованные у Вальтер-Скотта, Оссиана и т. п. Грибоедов часто бывал в доме Шаховского, служившем шумным центром тогдашней литературно-театральной жизни. Здесь, в доме Шаховского, Грибоедов в 1815 г. познакомился с А. А. Жандром; здесь же он встречался с балетной танцовщицей Е. А. Телешовой, которою одно время сильно увлекался.

[11] Хмельницкий, Николай Иванович (1789—1845), драматический писатель, автор ряда популярных водевилей («Шалости влюбленных», «Воздушные замки» и др.).

[12] «Притворная неверность» была в первый раз поставлена «на С.-Петербургском Большом Театре» 11 февраля *1818* г.

[13] Греч, Николай Иванович (1787—1867), журналист, издатель «Сына Отечества»; вместе с Булгариным и Сенковским составлял сплоченный журнальный «триумвират», с которым боролся Пушкин и другие передовые литераторы того времени; автор учебников русской грамматики и географии.

[14] Мазарович, Семен Иванович (ум. в 1852 г.), венецианец, доктор медицины, врач посольства А. П. Ермолова в Персии; в 1818—1826 гг. — русский поверенный в делах в Персии.

[15] Ермолов, Алексей Петрович (1772 — 1861), генерал-от-инфантерии; служил под начальством Суворова; участник Бородинской битвы; в 1817—1827 гг. — главноуправляющий Грузии и командир Отдельного Кавказского корпуса; крупнейший деятель покорения Кавказа; отличался большой самостоятельностью, что казалось подозрительным Николаю I. После событий 14 декабря 1825 г. Ермолов был заподозрен в сочувствии движению и в 1827 г. заменен Паскевичем. Одновременно с А. П. Ермоловым служили на Кавказе его родственники С. Н. и П. Н. Ермоловы.

16 Это не единственная легенда о зарождении плана комедии. Е. В. Новосильцева рассказывала («Русск. Стар.», 1878 г., март, стр. 546) о том, как Грибоедова на одном из московских балов «возмутили дикие выходки тогдашнего общества, раболепное подражание всему иностранному и, наконец, подобострастное внимание, которым окружали какого-то француза, пустого болтуна. Негодование Грибоедова постепенно возрастало, и, наконец, его нервная, желчная природа высказалась в порывистой речи, которой все были оскорблены. У кого-то сорвалось с языка, что «этот умник» сошел с ума, слово подхватили, и те же Загорецкие, Хлестаковы, гг. Н. и Д. разнесли его по всей Москве.

«Я им докажу, что я в своем уме», якобы сказал спустя несколько дней Грибоедов: «я в них пущу комедией, внесу в нее целиком этот вечер: им не поздоровится! Весь план у меня уже в голове, и я чувствую, что она будет хороша».

В мемуарной литературе содержится ряд разноречивых указаний на годы, к которым должно быть отнесено начало работы Грибоедова над „Горем от ума". Есть даже указания, относящие эту работу над комедией к началу 1812 г., ко времени пребывания Грибоедова в Московском университете.

17 Грибоедову не удалось увидеть напечатанною свою комедию, отдельное издание которой было разрешено цензурой и вышло впервые из печати лишь в 1833 г. При жизни Грибоедова в 1825 г. были в «Русской Талии» напечатаны отрывки из «Горя от ума». Комедию «в ту пору в Москве списывали нарасхват, поручая эту работу наемным малограмотным писцам, почему в копиях было такое множество нелепейших ошибок. Молодежь читала эти копии с восторгом и заучивала наизусть многие стихи; старички же и старушки большею частью отплевывались от «злаго бреда», как они называли произведение Грибоедова» (Петербургский Старожил В. Б., «Забавный случай из жизни А. С. Грибоедова», «Русск. Мир», 1872 г., № 82). «Горе от ума» рукописное», говорит Ксенофонт Полевой, «было почти в каждом семействе; его читали и не могли начитаться» (К. Полевой, «О жизни и сочинениях А. С. Грибоедова», стр. XXXIII).

18 В выходившем в Москве «Вестнике Европы» (1825 г., № 6) был напечатан сделанный М. А. Дмитриевым разбор напечатанных в «Русской Талии» отрывков из «Горя от ума». М. А. Дмитриев нашел язык комедии «жестким, неровным и неправильным», характер Чацкого — карикатурным и предлагал «попросить автора» не выпускать отдельного издания комедии, «пока не переменит главного характера и не исправит слога».

[19] По этому поводу Д. А. Смирнов (см. о нем примечание 163) писал: «Родная сестра Грибоедова, Марья Сергеевна Дурново, подарила мне «лучшую свою», как она выразилась, «драгоценность»— два подлинных, писанных акварелью, его портрета, 20 и 32 лет. Стало быть, г. Булгарин не только напрасно сказал, что *единственный* портрет Грибоедова принадлежит ему, но я, на основании свидетельств нескольких лиц, слишком хорошо знавших Грибоедова, из числа которых назову саму Марью Сергеевну, утверждаю, что лучшие портреты Грибоедова, находящиеся в России, принадлежат мне и очень мало похожи на те не совсем изящные изображения А. С., которыми стали *украшаться* издания «Горя от ума» или собрания его сочинений» («Русск. Слово», 1859 г., апрель, стр. 1—2).

[20] Вельяминов, Алексей Александрович (1788—1836), генерал, начальник штаба Отдельного Кавказского корпуса, один из виднейших участников покорения Кавказа.

[21] Яркий образчик «Эзопова» языка. «Происшествия, опечалившие Россию в конце 1825 г.», это—выступление декабристов на Сенатской площади, а под потребовавшимся присутствием Грибоедова в Петербурге подразумевается арест его по делу декабристов и заключение в Главном штабе.

[22] В «Литературных призраках» Булгарина («Литературные Листки», 1824 г., август, № 16, стр. 107) Грибоедов-Талантин, полемизируя с поэтами Лентяевым и Неучинским, высказывает ту же мысль: «Пока вы будете упорствовать в невежестве, до тех пор вы никогда не выйдете за черту золотой посредственности. Может быть, между вашими современниками найдутся люди, которые будут читать (по различным причинам) ваши произведения, но потомство неумолимо. Имена ваши подвергнутся той же участи, как имена поэтов, украшавших «Ежемесячные Сочинения» Миллера, издававшиеся с 1757 по 1764 год. Этот журнал останется навсегда драгоценным в историческом и статистическом отношении, но изящная его часть исчезла навеки вместе с гг. сочинителями, которые, вероятно, в свое время имели своих поклонников».

[23] Паскевич, Иван Федорович, кн. Варшавский, гр. Эриванский (1782—1856), генерал-фельдмаршал; в 1827 г. сменил на Кавказе Ермолова; был женат на двоюродной сестре Грибоедова, Елизавете Алексеевне.

[24] Туркманчайский трактат о мире между Россией и Персией, заключенный в персидском селении Туркманчае 10 февраля 1828 г. Некоторые статьи этого трактата (о контрибуции, о возврате пленных) имели впоследствии роковое для Грибоедова значение.

[25] В письмах Грибоедова находим множество указаний на то, как тяготился он службой, («которую я ненавижу от всего сердца, какое бы будущее она мне ни сулила»), на которой удерживало его отнюдь не повиновение воле государя. Можно считать, что настойчивое желание матери играло здесь первенствующую роль.

[26] Ахвердова, Прасковья Николаевна (ум. в 1851 г.), вдова начальника кавказской артиллерии; получила в Петербурге хорошее образование и была одарена многообразными талантами: занималась живописью (миниатюра), копировала картины Эрмитажа, имея даже разрешение перевозить их летом к себе на дачу в Павловск, точила из кости и дерева, занималась музыкой, много читала; овдовев в 1818 г., осталась жить в Тифлисе; воспитательница княжны Нины Александровны Чавчавадзе (1812—1857), вышедшей в 1828 г. замуж за Грибоедова, питавшего к П. Н. Ахвердовой чувства искренней дружбы. (П. Б., «К биографии Грибоедова», «Русск. Арх.», 1881 г., кн. II, стр. 177—178).

[27] Пойдемте со мною, мне надо вам кое-что сказать.

[28] Мальцов, Иван Сергеевич (1807—1880), 1-й секретарь посольства Грибоедова в Персии; из всего состава нашей миссии, умерщвленной в 1829 г. в Тегеране, удалось спастись одному Мальцову (см. стр. 185—198). Друг Пушкина, С. А. Соболевский, рассказывал (Н. Берг, «Из рассказов С. А. Соболевского», «Русск. Арх.», 1871 г., № 1, стр. 187), что это он посоветовал Грибоедову взять с собою Мальцова, «им обоим хорошо известного за умного, ловкого, веселого и практического человека». Мальцов, будучи в Персии, корреспондировал оттуда в «Северную Пчелу» (1829 г., № 5, описание праздника, данного Аббасом-Мирзой русской миссии по случаю взятия нашими войсками Варны); после катастрофы 30 января 1829 г., вернулся в Тифлис, где находился при Паскевиче; несмотря на нежелание и страх, Мальцову пришлось еще побывать в Персии, где он, по случаю отъезда А. К. Амбургера, исполнял до конца марта 1830 г. обязанности генерального консула в Тавризе, после чего уехал в Петербург и продолжал службу в министерстве иностранных дел (А. Берже, «Смерть Грибоедова», «Русск. Стар.», август, стр. 207); в 1855, 1857 и 1864 гг. временно управлял министерством иностранных дел; умер в Ницце в чине действ. тайн. советн. и в должности непремен. члена совета министра иностранных дел.

[29] Кн. Чавчавадзе, Александр Герсеванович (1784—1846), ген.-майор, начальник Эриванской области; сын кн. Герсевана Чавчавадзе, подписавшего в 1783 г. вместе с Багратионом-Мухранским трактат о присоединении Грузии к России; грузинский поэт,

переводил на грузинский язык Корнеля, Расина, Пушкина; тесть Грибоедова; был вместе с другими грузинами выслан в Костромскую губ. по подозрению в заговоре 1832 г., имевшем целью восстание против России; по выяснении непричастности его к заговору был вызван в Петербург и затем вернулся в Тифлис (М. Я. Алавердянц, «Тесть А. С. Грибоедова», СПБ, 1910).

[30] Миклашевич, Варвара Семеновна (1786—1846), беллетристка и переводчица; жила у А. А. Жандра. Грибоедов, по словам Н. И. Греча, любил и уважал Варвару Семеновну «как родную мать, да и она любила его как сына». В числе друзей В. С. Миклашевич был и Пушкин. Кюхельбекер, которого с В. С. Миклашевич познакомил Грибоедов, называет ее в своем дневнике («Русск. Старина», 1883 г., август, стр. 270) «почтенной, умной», «талант высокий, мужественный».

[31] Андрея Андреевича Жандра.

[32] Родофиникин, Константин Константинович (1760—1838), директор азиатского департамента, впоследствии сенатор, член госуд. совета. Грибоедов женился, «не испросив на сие разрешения»; «вследствие чего», писал Паскевич Нессельроде 9 декабря 1828 г., «обязанностью поставляю уведомить ваше сиятельство, что женитьба г. Грибоедова совершилась некоторым образом неожиданно и, по соединившимся разным обстоятельствам, в особенности по поспешности, с коею должно было ему выполнить высочайшую его императорского величества волю, дабы скорее прибыть в Персию, не могла быть отложена на дальнейшее время; и потому, по убедительной о сем г. статского советника Грибоедова просьбе, я принял на себя дать ему разрешение совершить сей брак» («Русск. Арх.», 1872 г., № 7—8, столб. 1551).

[33] В тексте «Сына Отечества», а также т. VII полн. собр. соч. Ф. Булгарина (изд. 1844 г.) — *Троспера*. Публикуемый Булгариным (неполно) текст писем Грибоедова содержит и ряд других погрешностей.

[34] Кн. Одоевский, Александр Иванович (1802—1839), корнет ЛГВ Конного полка; поэт, друг Грибоедова, декабрист; «он весьма радовался, что пришло время действовать, и говорил: «ах! как славно мы умрем!» 14 декабря «присягнул, потом прискакал к каре, и ему дали взвод для пикета, где он стоял с пистолетом» («Алфавит членам бывших злоумышленных обществ»); осужден в каторжную работу на 12 лет, срок которой был сокращен до 8 лет. За «нещастного Александра Одоевского» Грибоедов просил в 1828 г. Паскевича, которому «двадцатилетний преступник» приходился родственником. Паскевич ничего не сделал тогда для смягчения участи Одоевского.

[35] Обстоятельства гибели Грибоедова подробно изложены на стр. 151 — 211 настоящего сборника.

[36] Ф. Б. — Фаддей Булгарин.

Фельетон «Как люди дружатся» напечатан в «Северной Пчеле», 1837 г., № 47, стр. 187 — 188; мы воспроизводим его в нашем издании, опуская первую часть, состоящую из риторических рассуждений на общие темы.

[37] Ci-gît Piron, qui ne fut rien,
Pas même académicien.

(Здесь покоится Пирон, который не был ничем, даже академиком).

Пирон, французский поэт XVIII в.

[38] Печатаемые здесь воспоминания о Грибоедове ближайшего его друга С. Н. Бегичева были опубликованы И. А. Шляпкиным («Записка об А. С. Грибоедове») в «Русск. Вестн.» (август, 1892 г., стр. 306 — 316) и представляют собою ответ С. С. Дудышкину, поместившему в № 4 «Отечеств. Записок» за 1854 г. рецензию на вышедшие в 1854 г. 4 новых издания «Горя от ума». Записка Бегичева долгое время сохранялась в библиотеке начальника главн. упр. по делам печати В. В. Григорьева в копии, озаглавленной «Ответ господину рецензенту на рецензию его четырех изданиев [sic] комедии «Горе от ума» в № 4 Отечественных Записок».

Воспроизведенные в нашем сборнике примечания к «Ответу рецензенту» под текстом принадлежат С. Н. Бегичеву (помеченные инициалами *С. Б.*) и И. А. Шляпкину (без подписи).

[39] Ион, Богдан Иванович (1787 — 1852), уроженец Тюрингии; 1810 — 1812 г.г. — студент Моск. университета, с 1814 г. — доктор обоих прав Казанск. университета. Ион, воспитатель Грибоедова, (был впоследствии воспитателем Мих. Андр. Кологривова, которому, по некоторым свидетельствам, внушил «вольнодумные мысли» П. А—рский, «Дело М. Кологривова», «Русск. Мысль», 1901 г., № 11, отд. 2, стр. 153—163).

[40] См. примечание **, стр. 267.

[41] Переводил для театра вместе с П. А. Катениным, Жандром и кн. Шаховским (трагедия Корнеля «Горации»).

[42] Шереметев, Василий Васильевич (1794—1817), штаб-ротмистр Кавалергардского полка. Н. В. Сушков видел его на другой день после известного поединка его с Завадовским из-за Истоминой. «В нем кипела еще молодая жизнь. Он был спокоен, почти весел, разговаривал, шутил со мной... В нем не было ни тени

не скажу вражды, ни тени досады на изменивших ему приятелей и женщину, которой он верил, как дитя» («Моск. университетск. благородн. пансион; сочинение Н. В. Сушкова», М., 1858, стр. 12).

[43] Истомина, Авдотья Ильинична (1799 — 1848), знаменитая балетная танцовщица, увековеченная Пушкиным в первой главе «Евгения Онегина», сводившая, по свидетельству Ф. Ф. Вигеля, с ума молодых офицеров и послужившая причиной нескольких поединков. «На горизонте мира петербургских театралов», вспоминает в своих записках О. А. Пржецлавский («Русск. Стар.», 1883 г., август, стр. 383), «сияла тогда звезда, воспетая и Пушкиным — танцорка Истомина. Она не была красавицею в тесном смысле, но обладала тем, что называют «пикантностью» и что многие предпочитают правильной красоте; в хорическом же искусстве уступала немногим европейским знаменитостям. Этого было слишком довольно, чтобы вскружить необремененные мозгами головы тогдашней «золотой» (вернее, позолоченной) молодежи».

[44] Граф Завадовский, Александр Петрович (1794 — 1856), камер-юнкер, сын известного фаворита Екатерины II, министра народн. просв. Александра I. О. А. Пржецлавский, лично знавший А. П. Завадовского, характеризует его в своих воспоминаниях («Русск. Стар.», 1883 г., август, стр. 383—384) как одного из «зашибленных в цвету потомков знатных фамилий, задохшихся в тяжелой атмосфере аракчеевского гнета и своим диогеновским поведением протестовавших против этого режима». «Это был умный и приятный собеседник», «блестящий джентльмен», но трагический исход дуэли с Шереметевым (оставивший глубокий след и на Грибоедове) «развил в нем врожденное расположение к мизантропии и пессимизму». Современники считали, что именно его, воспитанного в Англии и слывшего за англомана, имел в виду Грибоедов, вложивший в уста Чацкого слова о князе Григории:

Чудак единственный! нас со смеху морит!
Век с англичанами, вся английская складка;
И так же он сквозь зубы говорит,
И так же коротко обстрижен для порядка.

[45] Известный сподвижник Каподистрии, Александр Стурдза, сообщает в своих воспоминаниях («Беседа Любителей Русского Слова и Арзамас в царствование Александра I и мои воспоминания», «Москвитянин», 1851 г., ноябрь, стр. 19) следующие подробности назначения Грибоедова в Персию:

«Я знал Грибоедова при самом начале деятельности его на поприще словесности и службы. Подобно Батюшкову, он домогался

должности дипломатической и с целью искал моего знакомства. Светлый ум, крутой нрав и сметливая физиономия Грибоедова полюбились мне. Пользуясь тогдашним положением моим при министерстве иностранных дел, я вступился, сколько мог, за благородного искателя, и предложил ему на выбор должности канцелярского чиновника в Филадельфии и Тегеране. Грибоедов колебался; я указывал ему беспристрастно на относительную важность этих посольств, измеряемую связью каждого из них с прямыми выгодами России. Мне хотелось, чтоб он предпочел Америку Персии, потому только, что более надеялся на правила и образ мыслей нового начальника этой отдаленной миссии, барона Тейля, с которым я подружился на зимних биваках 1812 г., при Березине. Однако ж, я познакомил Грибоедова лично не только с ним, но и с ст. сов. Мазаровичем; оба они находились в столице и собирались в путь, каждый сообразно своему назначению. Грибоедов сам решил участь свою и отправился в Персию. По заключении Турхманчайского мирного договора, Грибоедов приезжал на время в столицу, но забыл и даже не спрашивал обо мне. Ему везло: осыпанный царскими милостями, он уехал обратно в Тегеран—поверенным в делах, повидимому стремясь к новым заслугам и почестям; а в самом деле ожидала поэта жестокая насильственная смерть! Никогда в жизни не случалось со мною быть столь близким очевидцем при выборе самим страдальцем собственного таинственного жребия».

[46] Кавказский проконсул, проконсул Грузии, как называли А. П. Ермолова.

[47] На Анне Ивановне Барышниковой, к которой Грибоедов питал искреннее расположение. «Я враг крикливого пола», писал он Бегичеву в июле 1824 г., «но две женщины не выходят у меня из головы: твоя жена и моя сестра; я не разлучаю их ни в воспоминаниях, ни в молитвах» (Полн. собр. соч. Грибоедова, под ред. Н. К. Пиксанова, т. III, стр. 157).

[48] Грибоедова, Настасья Федоровна (1768—1834).

[49] Грибоедова, Мария Сергеевна (1793—1856), впоследствии замужем за А. М. Дурново.

[50] Бегичев, Дмитрий Никитич (1786—1855); служил вместе с братом, С. Н. Бегичевым, и Грибоедовым при ген. А. С. Кологривове; писатель («Семейство Холмских» и др.), впоследствии тайн. советн., сенатор.

[51] «По делам службы»: читай—арест Грибоедова по предписанию из Петербурга и увоз его фельдъегерем Уклонским. Насколько запугано было русское общество разгромом декабризма видно хотя бы

из этих слов Бегичева, не решающегося спустя 28 лет называть вещи их именами.

52 «Веселость» Грибоедова стала исчезать уже в 1817 г., после дуэли Шереметева с Завадовским. Творческий кризис, наступивший вслед за окончанием «Горя от ума», усугубил в Грибоедове состояние разочарованности и уныния, достигшее апогея после сидения в Главном штабе, гибели друзей на эшафоте и в «каторжных норах» и «кассирования» поколения, к которому принадлежал Грибоедов. Перелом в настроениях Грибоедова был настолько заметен, что молва недаром отнесла на счет А. С. элегическое стихотворение Боратынского «Надпись», которое в ряде посмертных изданий Боратынского было прямо озаглавлено: «Надпись на портрет Грибоедова» («Взгляни на лик холодный сей, — взгляни: в нем жизни нет...»). В копии жены Боратынского, Настасьи Львовны, стихотворение это многозначительно озаглавлено: «А. С. Г...» (Полн. собр. соч. Е. А. Боратынского, под ред. М. Л. Гофмана, т. I, стр. 82 и 259).

53 Бестужев (Марлинский), Александр Александрович (1797 — 1837), штабс-капитан ЛГВ Драгунского полка; известный писатель, друг Грибоедова, Пушкина, Рылеева; участник выступления 14 декабря 1825 г., когда «поутру он ходил по ротам Московского полка, возбуждая нижних чинов к мятежу, и грозил пистолетом генерал-майору Фридрихсу и капитану Моллеру. На площади он построил каре и отвращал сделанные начальством предложения» («Алфавит членам бывших злоумышленных тайных обществ»); приговорен в каторжную работу на 20 лет; в 1829 г. — рядовой на Кавказе; в 1836 г. — прапорщик; убит в сражении с черкесами (мыс Адлер).

Статья Бестужева «Знакомство мое с Грибоедовым» сохранилась у сестры его, Елены Александровны, и была напечатана в октябрьской книжке (т. CXXXII) «Отечеств. Записок» за 1860 г., стр. 633 — 640, под заглавием: «Знакомство А. А. Бестужева с А. С. Грибоедовым (1824)».

54 Вероятно, Николай Алексеевич Муханов (1802 — 1871).

55 Наводнение 7 ноября 1824 г.

«Я закричал, чтобы выносили, что понужнее, в верхние жилья (это было на Торговой, в доме В. В. Погодина)... Бегаю, распоряжаюсь — и вот уже из-под полу выступают ручьи, в одно мгновение все мои комнаты потоплены; вынесли, что могли, в приспешную, которая на полтора аршина выше остальных покоев; еще полчаса и туда воды со всех сторон нахлынули, люди с частью вещей перебрались на чердак; сам я нашел убежище во 2-м ярусе,

у N. N.» (А. Грибоедов, «Частные случаи петербургского наводнения», полн. собр. соч. Грибоедова, под ред. Н. К. Пиксанова, т. III, стр. 106).

[56] Каратыгин, Петр Андреевич (1805—1879), известный водевилист и актер. Воспоминания его, воспроизведенные в нашем издании, были впервые напечатаны в мартовской книжке «Русск. Стар.» за 1872 г., стр. 422—430 (П. А. Каратыгин, «Александр Сергеевич Грибоедов. Из моих записок»).

[57] Кюхельбекер, Вильгельм Карлович (1797—1846), поэт, лицейский товарищ Пушкина; в 1821—1822 гг. — чиновник особых поручений при А. П. Ермолове в Грузии, где сблизился с Грибоедовым; участвовал в выступлении 14 декабря 1825 г., когда «был в числе мятежников с пистолетом, целился в великого князя Михаила Павловича и генерала Воинова. По рассеянии мятежников картечами, он хотел построить Гвардейский экипаж и пойти на штыки, но его не послушали» («Алфавит членам бывших злоумышленных тайных обществ»); присужден в каторжную работу на 20 лет; вел в заточении дневник, в котором неоднократно упоминается «гениальный, набожный, благородный, единственный мой Грибоедов», имевший на Кюхельбекера большое влияние.

[58] Граф Милорадович, Михаил Андреевич (1771—1825) петербургский военный генерал-губернатор, убитый декабристом Каховским. Грибоедов, увлекавшийся в 1824—1825 гг. известной балетной танцовщицей Е. А. Телешовой, был в этом отношении соперником Милорадовича, которому (в письме к С. Н. Бегичеву 4 янв. 1825 г.) дает весьма нелестную аттестацию: «глуп, хвастлив, идол Шаховского, который ему подличает. Оба скоты» (Полн. собр. соч. Грибоедова, под ред. Н. К. Пиксанова, т. III, стр. 165).

[59] Каратыгин, Василий Андреевич (1802—1853), знаменитый трагик.

[60] См. примечание *, стр. 291.

[61] Д. И. Смирнов сохранил в своих записях другой вариант этого четверостишия (см. эпиграф на стр. 67).

[62] Воспоминания Николая Викторовича Шимановского (1800—1875) о Грибоедове были напечатаны в № 7 «Русского Архива» за 1875 г. (стр. 339—344) под заглавием «Арест Грибоедова» (Грибоедов был арестован 23 января 1826 г.).

[63] Как видно из «Дела о коллежском ассесоре Грибоедове» (П. Е. Щеголев, «А. С. Грибоедов и декабристы», СПБ, 1905), к оправданию его послужили другие обстоятельства.

[64] Фельдъегерь с известием об отречении Константина и вступлении на престол Николая прибыл в станицу Червленую не 25 декабря, а накануне (Е. Г. Вейденбаум, «Кавказские этюды», Тифлис, 1901, стр. 264).

[65] Отряд, расположенный у станицы Червленой, выступил в крепость Грозную 21 января 1826 г. и прибыл туда на другой день к вечеру (Вейденбаум, «Кавказские этюды», стр. 264).

[66] Имам — духовный глава у мусульман.

[67] Подписанное военным министром отношение на имя Ермолова об аресте Грибоедова: «По воле государя императора покорнейше прошу ваше высокопревосходительство приказать немедленно взять под арест служащего при вас чиновника Грибоедова со всеми принадлежащими ему бумагами, употребив осторожность, чтобы он не имел времени к истреблению их, и прислать как оные, так и его самаго под благонадежным присмотром в Петербург прямо к его императорскому величеству» (П. Е. Щеголев, «А. С. Грибоедов и декабристы», стр. 24).

[68] Е. Г. Вейденбаум подвергает сомнению версию «об уничтожении каких-то бумаг» («Кавказские этюды», стр. 266). А. Ермолов писал 23 января 1828 г. Дибичу, что Грибоедов «взят таким образом, что не мог истребить находившихся у него бумаг, но таковых у него не найдено, кроме весьма немногих, кои при сем препровождаются». В заключение, Ермолов заявляет, что Грибоедов «как в нравственности своей, так и в правилах не был замечен развратным и имеет многие весьма хорошие качества» (А. Берже, «А. С. Грибоедов в Персии и на Кавказе», «Русск. Стар.», 1874 г., октябрь, стр. 291).

[69] Н. В. Шимановский намекает на «измену» Грибоедова А. П. Ермолову и переход его «в лагерь» Паскевича. Сам Ермолов заметил однажды: «Грибоедов, оставив меня, отдался моему сопернику» (А. Берже, «А. С. Грибоедов в Персии и на Кавказе», «Русск. Стар.», 1874 г., октябрь, стр. 291).

[70] В *Лондоне*, в 1863 г. (Londres — Bruxelles).

[71] Категоричность этого утверждения можно оспаривать: Грибоедова ценили и любили такие люди как Пушкин, Кюхельбекер, Бестужев, Рылеев.

[72] Сомнительно, чтобы прототипом Платона Михайловича мог быть Ст. Н. Бегичев. Есть бо́льшие основания полагать, что толчком для создания образа этого «московского жителя» послужила фигура *Дм.* Н. Бегичева: он «принадлежал к тем из русских дворян, которых тип изобразил Грибоедов в Платоне Михайловиче. Я слышал

даже, что в Платоне Михайловиче Грибоедов представил Д. Н. Бегичева» («Записки Кс. Ал. Полевого», СПБ, 1888, стр. 297).

[73] Завалишин, Дмитрий Иринархович (1804 — 1892), лейтенант 8 флотского экипажа, декабрист; «не только знал о намерении заговорщиков истребить императорскую фамилию, но даже убеждал Беляевых, Арбузова и Дивова в необходимости сей меры для твердости нового правления, доказывая примером Испании, что половинные меры не годятся» («Алфавит членам бывших злоумышленных тайных обществ»); осужден в каторжную работу вечно; срок сокращен сначала до 20 лет, затем — до 15 и, наконец, в 1835 г., до 13 лет; автор «Записок декабриста», дающих в общем весьма ценный для истории декабризма материал, нуждающийся, однако, в оговорках и поправках. То же можно сказать и относительно воспроизведенного в нашем издании «Воспоминания о Грибоедове», появившегося в 1879 г. в № 4 «Древней и Новой России» (стр. 311 — 321).

[74] Сомов, Орест Михайлович (1793 — 1833), писатель, издавал альманах «Северные Цветы» и «Литературную Газету»; служил вместе с Рылеевым в Российско-Американской Компании; был арестован по делу декабристов.

[75] Рылеев, Кондратий Федорович (1795 — 1826), поэт, декабрист, повешенный 13 июля 1826 г.

[76] Бестужев, напротив, показал, что Грибоедов не был членом тайного общества, куда Бестужев не принимал его «потому что жалел подвергнуть опасности такой талант; в чем и Рылеев был согласен» (П. Е. Щеголев, «А. С. Грибоедов и декабристы», стр. 9).

[77] За исключением Е. Оболенского («Грибоедов был принят в члены общества месяца два или три перед 14 декабря») и С. Трубецкого («слышал от Рылеева, что он принял Грибоедова в члены тайного общества»).

[78] Списки «Горя от ума» стали «ходить по рукам» с середины 1824 г.

[79] По одному преданию, под упоминаемой в комедии княгиней Марьей Алексеевной надлежит разуметь кн. Нат. Петр. Голицыну, мать моск. воен. генерал-губернатора, прозванную «la princesse moustache» (усатая княгиня). Другое предание называет, однако, Нат. Кир. Загряжскую («Горе от ума», под ред. П. Д. Гарусова, СПБ, 1875).

[80] «Высочайше учрежденная 17 декабря 1825 года следственная комиссия».

[81] Игнатьев, Павел Николаевич (1797—1879), ген.-адъютант, ген.-от-инф.; в 1860 гг. петербургский генерал-губернатор, председатель комитета министров; с 1877 г. граф.

[82] О том, насколько слаб был надзор над заключенными в Главном штабе, где сидел под арестом Грибоедов, можно судить из эпизода, рассказанного Д. И. Завалишиным в его «Записках декабриста» (стр. 234).

«Меня поместили сначала в комнате, которая назначена была общею приемною комнатою. От нечего делать, я начал осматривать свою комнату; она была в нижнем этаже и имела выход на тротуар чрез двойную стеклянную дверь. Внутренняя дверь не была заперта, а наружная, казалось, была заделана наглухо, но, посмотрев внимательно, я увидел, что она была просто заклеена по щелям, и бумага почти везде отстала. Потянув немного дверь к себе, я увидел, что не было даже и замка. Поужинав, я сказал, чтобы меня разбудили завтра в 7 часов и приготовили самовар. Скоро услышал я, что сторожа, бывшие в передней комнате, улеглись и захрапели. Я оделся; на дворе была почти мятель, и на улице не было никого видно. Дверь отворилась без скрипа, только отклеившаяся бумага, задевая за пол, производила легкий шум. Я повернул направо под арку Генерального штаба, так как тут я надеялся встретить менее людей. Я отправился к некоторым надежным знакомым. Там всячески убеждали меня бежать и давали немедленно на то средства. Во всяком случае, обещали меня скрыть до весны, когда бы еще легче было уехать за границу на иностранном корабле. Но я отклонил все это, доказав необходимость и твердую решимость мою оставаться в отечестве и делить с ним худое, чтобы иметь право разделить и доброе. Я возвратился в свою комнату, никем незамеченный; на душе у меня было чрезвычайно легко; я лег спать и крепко заснул».

Несколько небезынтересных черточек, рисующих обстановку, в которой содержались заключенные в Главном штабе, и могущих служить дополнением к воспоминаниям Завалишина о Грибоедове,— дают «Замечания на воспоминания Ф. Ф. Вигеля» И. П. Липранди («Чтения в имп. обществе истории и древностей российских при Моск. университете», 1873 г., кн. II, стр. 234):

«Невозможно описать впечатления той неожиданности, которою я был поражен: открывается дверь, в передней два молодые солдата учебного карабинерного полка, без боевой аммуниции; из прихожей стеклянная дверь, через нее я вижу несколько человек около стола за самоваром; все это во втором часу пополуночи меня поражало. «Вот господа, еще вам товарищ», сказал Жуковский: все

глаза бросились на меня. Здесь сидели за чайным столом: бригадный генерал 18 дивизии Кальм, известный Грибоедов, адъютант Ермолова Воейков (оба привезенные с Кавказа), отставной подпоручик генерального штаба А. А. Тучков (старший брат бывшего в Москве генерал-губернатора) и предводитель дворянства Екатеринославской губернии Алексеев — человек около шестидесяти лет и, как оказалось, привезенный по ошибке, вместо своего сына, гусара. Поздний чай произошел оттого, что Воейков и Грибоедов были на допросе в комиссии, находящейся в крепости. Через час мы все были как старые знакомые. Предмет разговора понимается: вопросам, расспросам и взаимно сообщавшимся сведениям не было конца. Содержались мы на свой счет, обед брали из ресторации, позволено было выходить вечером с унтер-офицером для прогулки. Немногие, однако же, желали пользоваться сим. Книг, набранных Грибоедовым от Булгарина, было много».

83 П. Е. Щеголев подвергает сомнению версию о первоначальном намерении Грибоедова быть откровенным, — намерении, от которого Грибоедов отказался, якобы, лишь под влиянием настоятельных советов полковника Любимова («А. С. Грибоедов и декабристы», стр. 30). Но так или иначе, Грибоедов, в ответах на вопросные пункты, действительно, заявил, что ничего не знает: «Ничего не зная о тайных обществах, я никакого собственного мнения об них не мог иметь».

84 Чернышев, Александр Иванович (1785 — 1857), ген.-адъютант, приближенный Николая I, член следственной комиссии для изыскания о злоумышленных обществах; с 1849 г. светлейш. князь.

85 Грибоедов, в письме с Кавказа к С. Н. Бегичеву от 9 декабря 1826 г., сетовал: «Кто нас уважает, певцов истинно вдохновенных, в том краю, где достоинство ценится в прямом содержании к числу орденов и крепостных рабов? Все-таки Шереметев у нас затмил бы Омира, скот, но вельможа и крез. Мученье быть пламенным мечтателем в краю вечных снегов. Холод до костей проникает, равнодушие к людям с дарованием» (Полн. собр. соч. Грибоедова, под ред. Н. К. Пиксанова, т. III, стр. 196). Письмо это было опубликовано в 1860 году («Письма Н. М. Карамзина к А. Ф. Малиновскому и А. С. Грибоедова к С. Н. Бегичеву», под ред. М. Н. Лонгинова, стр. 36 — 38) и, следовательно, могло быть известно Д. И. Завалишину, когда он писал свое «Воспоминание о Грибоедове».

86 Каховский, Петр Григорьевич (1797 — 1826), отставной поручик, декабрист; «вечером накануне возмущения ему поручено было убить ныне царствующего императора»; «явясь на площадь,

присоединился к Московскому полку; там застрелил графа Милорадовича и полковника Стюрлера и ранил кинжалом свитского офицера» («Алфавит членам бывших злоумышленных тайных обществ»); повешен 13 июля 1826 г.

87 На что бы решился Грибоедов, если бы он 14 декабря 1825 г. был в Петербурге, сказать, конечно, трудно. П. Е. Щеголев полагает, «что Грибоедов не только идейно был близок к декабристам, но и был избран ими в члены тайного общества» и что, если бы у него было время развернуться, то, «наверное, он был бы не рядовым членом, а вождем» («А. С. Грибоедов и декабристы», стр. 46). В. В. Розанов («Литературные очерки», СПБ, 1899, стр. 197) высказывает мнение прямо противоположное: «Известно, что очень много было в обществе 1825 года людей, которые, будучи чуть-чуть не захвачены при аресте декабристов, — так близко стояли они к ним, — в действительности стали «разбирателями их дела». Грибоедова вполне можно представить в их круге».

88 В сентябре 1824 г. Грибоедов писал Булгарину: «Не могу далее продолжать нашего знакомства. Лично не имею против вас ничего; знаю, что намерение ваше было чисто, когда вы меня, под именем Талантина, хвалили печатно и, конечно, не думали тем оскорбить. Но мои правила, правила благопристойности и собственное к себе уважение не дозволяют мне быть предметом похвалы незаслуженной, или во всяком случае, слишком предускоренной» («Полн. собр. соч. Грибоедова, под ред. Н. К. Пиксанова, т. III, стр. 161). См. примечание 22.

89 См. стр. 21, письмо Грибоедова к Булгарину от 16 апреля 1827 г. из Тифлиса.

90 Муханов, Петр Александрович (1799 — 1854), штабс-капитан ЛГВ Измайловского полка, декабрист; «после возмущения 14 декабря, будучи в Москве, он говорил некоторым членам, чтобы для избавления арестованных мятежников отправиться в С.-Петербург и покуситься на жизнь императора и что он сам готов убить его величество» («Алфавит членам бывших злоумышленных тайных обществ»); осужден на 12 лет в каторжную работу, срок которой сокращен сначала до 8, затем до 6 лет. Статьи и очерки П. А. Муханова печатались в повременных изданиях 20-х годов.

91 19 марта 1826 года Грибоедов переслал Булгарину записку, в которой просил: «Сделай одолжение, достань мне «Тавриду» — Боброва, да ежели нельзя иметь на подержание, то купи мне le Calcul différentiel de Francoeur, по-французски или по-русски» (Полн. собр. соч. Грибоедова, под ред. Н. К. Пиксанова, т. III, стр. 192).

[92] Давыдов, Денис Васильевич (1784 — 1839), прославленный организатор партизанского отряда, имевшего большое значение в войне 1812 г.; участвовал в персидской войне 1826 — 1827 гг; поэт, высоко ценимый Пушкиным и Белинским. Назначенный временным начальником войск, расположенных на границе Эриванского ханства, Давыдов в августе 1826 г. выехал из Москвы на Кавказ.

Печатаемый нами отрывок из «Воспоминаний о 1826 годе» взят из 4-го изд. 1-й ч. «Сочинений Дениса Васильевича Давыдова», М., 1860, стр. 12 — 19.

[93] Освобожденный из-под ареста 4 июня 1826 г., Грибоедов возвращался в Тифлис.

[94] Возможно, что Николай *Гаврилович* Огарев, пионерный офицер, в ведении которого находилась Военно-Грузинская дорога, старый знакомый Грибоедова; у этого Огарева во Владикавказе хранилась во время ареста Грибоедова часть вещей последнего, которая была вытребована в Екатериноград и вскрыта; 6 сентября 1828 г. Грибоедов обратился к Паскевичу с просьбою «в пользу бедного Огарева, которому существовать нечем. 1½ года тому назад угнаны у него его лошади хищниками» («Дела и Дни», 1921 г., кн. 2, стр. 72).

[95] Хозрев (Хозрой)-Мирза (1813 — 1875), был *внуком* шаха (сын наследника шахского престола Аббаса-Мирзы). См. примечание 122.

[96] Суждения Д. В. Давыдова о «душевных свойствах» Грибоедова (частично воспроизведенные М. П. Погодиным в «Русск. Вестнике», 1863 г., декабрь, стр. 583 — 584) повлекли за собой возражения Д. А. Смирнова (см. о нем в примечании 163) в «Беседах О. Люб. Росс. Словесности» (1868 г., вып. II, отд. 2, стр. 3 — 30); статья Д. А. Смирнова, напечатанная уже после его смерти (умер в 1866 г.), вызвана «в высокой степени несправедливыми известиями» Д. В. Давыдова. «Даровитый писатель Грибоедов так же не мог довольствоваться славой, столь справедливо заслуженной им в литературном мире, как и был чужд всякого служебного честолюбия. И слава, и служебная почесть достались ему сами собой. Ни той, ни другой он не добивался... Грибоедов был поставлен в самую неприятную и странную служебную и житейскую дилемму: к Ермолову его привязывало личное искреннее уважение; с Паскевичем он был связан очень близким родством». Смирнов передает следующую, рассказанную ему сестрой Грибоедова, любопытную историю: «Матушка», рассказывала Марья Сергеевна, «никогда не понимала глубокого сосредоточенного характера Александра, а всегда желала для

него только блеска и внешности. Вот что она раз с ним сделала: *брат решительно не хотел ехать служить к Паскевичу.* Матушка как-то пригласила его с собой помолиться к Иверской божией матери. Приехали, отслужили молебен... вдруг матушка упала перед братом на колени и стала требовать, чтобы он согласился на то, о чем она будет просить... Растроганный, взволнованный, он дал слово... Тогда она объявила ему, чтобы он ехал служить к Паскевичу. Делать было нечего, он поехал».

Д. А. Смирнов протестует против слов Д. В. Давыдова о том, что в Тегеране Грибоедов «сделался жертвой своей ошибки». «*Его* ошибки», говорит Смирнов, «никакой не было. Если была чья-нибудь ошибка, так, стало быть, правительства, назначившего Грибоедова полномочным министром в Персии, — и кого же скорей можно было назначить, как не человека, который так хорошо знал и сторону, и народ, и язык, жил там и дело делал».

То, что Грибоедов, как никто другой, был вполне на месте на своем посту полномочного министра в Персии, признает даже Н. Н. Муравьев (стр. 138 — 139), вообще относившийся к Грибоедову в достаточной степени отрицательно.

[97] Муравьев-Карский, Николай Николаевич (1793—1867), командир 7 Карабинерного полка, с 1828 года ген.-майор, затем ген.-адъютант; участник войн 1812 — 1814 гг., русско-персидской (1826 — 1827) и русско-турецкой (1828 — 1829); в 1854 — 1856 гг. — наместник Кавказа; автор обширных дневников и записок; с Грибоедовым познакомился в Тифлисе, в 1818 г.

Записки Н. Н. Муравьева, отрывки из которых мы воспроизводим в нашем издании, печатались в «Русск. Архиве» в 1886 — 1894 гг.

[98] Якубович, Александр Иванович (1792 — 1845), капитан Нижегородского драгунского полка на Кавказе, куда был переведен из ЛГВ Уланского полка за участие, принятое им в качестве секунданта в трагически закончившейся дуэли между В. В. Шереметевым и гр. А. П. Завадовским; воспитывался, как и Грибоедов, в моск. универс. благородн. пансионе; декабрист, «из злобной мести намеревался покуситься на жизнь покойного императора... На одном из совещаний он говорил, что для успеха в их предприятии надобно убить ныне царствующего императора». 14 декабря, придя на Сенатскую площадь «с ротами Московского полка, пробыл с мятежниками недолго и представился с раскаянием к государю императору» («Алфавит членам бывших злоумышленных тайных обществ»); приговорен в каторжную работу вечно; сокращена сначала до 20, затем до 15 и, наконец, до 13 лет.

[99] Секундантом Грибоедова был, как это и видно из дальнейшего изложения Н. Н. Муравьева, сослуживец Грибоедова в Персии

Андрей Карлович Амбургер, впоследствии, в посольство Грибоедова, назначенный генеральным консулом в Тавризе.

[100] Аббас-Мирза (1782—1833), сын шаха Фет-Али, наследник персидского престола (наиб-султан); ведал внешними сношениями, почему дипломатические представители разных держав находились не в Тегеране, а в резиденции Аббаса-Мирзы, Тавризе; выдающийся полководец, завел при помощи французских офицеров регулярное войско сарбазов; имел наклонности реформатора; ценил Грибоедова и, повидимому, искренно сокрушался катастрофой 30 января 1829 г. После смерти Аббаса-Мирзы Фет-Али-шах провозгласил наследником престола старшего сына Аббаса-Мирзы Мамеда-Мирзу, занявшего, после смерти Фет-Али-шаха в 1834 г., шахский престол.

[101] С. И. Мазарович, как было указано в примечании [14], был венецианец; перешел в русское подданство лишь в 1836 г.

[102] Воейков, Николай Павлович (ум. в 1871 г.), адъютант А. П. Ермолова; был арестован по делу декабристов и отправлен в Петербург, где содержался, как и Грибоедов, в Главном штабе, откуда, по выяснении непричастности его к делу, вскоре освобожден; был женат на дочери Дм. Н. Бегичева.

[103] Повидимому, Дмитрий Александрович Бобарыкин, свиты е. в. поручик, ездивший в 1817 г. в посольстве А. П. Ермолова в Персию.

[104] Похвиснев, Николай Николаевич, тифлисский чиновник

[105] Севинис, Вильям Егорович. 1 октября 1822 г. Грибоедов писал Кюхельбекеру из Тифлиса: «Грека, рыцаря промышленности, выгнали от Ахвердовых, и я при этом остракизме был очень деятелен» (Полн. собр. соч. Грибоедова, под ред. Н. К. Пиксанова, т. III, стр. 146). Севинис за мошеннические проделки был в 1826 г. выслан из России.

[106] А. П. Ермолов был смещен 29 марта 1827 г.

[107] Вот, сударь, как нужно точно соблюдать пунктуацию; все зависит от этого.

[108] Дорогой генерал, сделайте одолжение, напишите от меня словечко генералу Сипягину, уведомьте его о победе и сообщите что дальнейшие подробности следуют.

[109] Арестуйте этого человека, он мошенник.

[110] Грибоедов отправлялся в Персию в звании министра-резидента, а не генерального консула, которым был назначен А. К. Амбургер.

[111] Нелюбовь Н. Н. Муравьева к Грибоедову превосходит здесь всякие границы. Дошедшие до нас письма Грибоедова убеждают как раз в обратном: в серьезном и глубоком чувстве, которое он питал к своей юной подруге жизни. «Весь город», рассказывал погибший впоследствии в Тегеране вместе с Грибоедовым 2-й секретарь посольства К. Ф. Аделунг, «сочувствовал этому браку; все без исключения любили и уважали Грибоедова» (А. Берже, «А. С. Грибоедов в Персии и на Кавказе», «Русск. Стар.», 1874 г., октябрь, стр. 296).

[112] В «журнале Греча» («Сын Отечества») было напечатано письмо Грибоедова не к Гречу, а к Булгарину (см. стр. 26 — 28).

[113] Отец Нины Чавчавадзе, кн. Александр Герсеванович.

[114] Завилейский, Петр Дамианович (1800 — 1843), начальник казенной экспедиции верховного Грузинского правительства, с июля 1829 г. — тифлисский гражданский губернатор, впоследствии действ. статск. советн., член совета министра финансов.

[115] Статья XIII Туркманчайского трактата «О мире между Россиею и Персиею»: «Все военнопленные обеих сторон, взятые в продолжение последней войны или прежде, а равно подданные обеих правительств, взаимно впадшие когда-либо в плен, должны быть освобождены и возвращены в течение четырех месяцев; они имеют быть снабжены жизненными припасами и прочими потребностями и отправлены в Аббас-Абад для сдачи взаимным комиссарам, кои назначатся для принятия их и распоряжения дальнейшего препровождения в места жительства. Высокие договаривающиеся стороны будут таким же образом поступать со всеми военнопленными и всеми российскими и персидскими подданными, взаимно впадшими в плен, кои не будут возвращены в означенный срок по отдаленности их нахождения, или по иной какой-либо причине или обстоятельству. Обе державы предоставляют себе точное и неограниченное право требовать таковых во всякое время и обязуются возвращать их взаимно по мере того, как они будут оказываться, или когда поступят о них требования» (Полн. собр. законов российск. империи, собр. 2-е, том III, СПБ, 1830, стр. 129).

[116] *1827 год. Октябрь.*

«Перед моею палаткою собралась толпа старшин и градоначальников разных степеней. Я переговорил с ними и принял Ахмет-хана и одного мирзу, который хотел мне что-то объяснить наедине. Я его впустил в палатку, и он сказал мне, что Алаяр-хан, оставивший вал крепостной при нашем приближении к городу,

хотел бежать к Тегерану; но что слуга увел его лошадей и что он скрывался в небольшом доме в противуположном предместье, ожидая способов к побегу. Немедленно сказал я сие Эристову и по согласию нарядил 25 черноморских казаков с сотником Памелою, коим дал в провожатые мирзу, открывшего мне сие, приказав ему привести ко мне Алаяр-хана, на что я имел мало надежды, потому что не мог предполагать, чтоб Алаяр-хан не нашел средства уйти. Ночь уже совсем легла, когда я отправил сию команду, с коею пошел и армянин Рустам, носивший звание курьера при дипломатических чиновниках и отпросившийся со мною в поход к Тавризу, в коем он имел много знакомых. В подкрепление сей малой команде послал я еще роту пехоты, и войска сии тронулись со всевозможною тишиною. Не прошло двух часов, как посланные возвратились и, против чаяния нашего, привели знаменитого пленника. Вот как сие случилось. Памела окружил небольшой домик, который указали казаки, и сам с Рустамом вошел в оный. Алаяр-хан, видно, не ожидал сего посещения; ибо, узнав внезапно о том, что русские уже в двери входят, он взбежал по маленькой лестнице на крышу и хотел с оной соскочить, дабы бежать; но встреченный пиками казачьими, обращенными вверх, он возвратился по лестнице вниз, держа ружье на изготовье, и, не спустившись еще с оной, был встречен Рустамом, по коему он спустил курок; но ружье его осеклось, и Рустам, мужчина высокий, сильный и бойкий, обхватил его обеими руками, лишил через то способа защищаться и представил ему, что всякое покушение к освобождению могло только подвергнуть жизнь его опасности. Алаяр-хан сдался и вмиг был обезоружен Рустамом, который отнял у него ружье и богатый кинжал, осыпанный драгоценными каменьями, который у него был за поясом» (Записки Н. Н. Муравьева-Карского, «Русск. Арх.», 1891 г., № 10, стр. 188 — 189).

[117] Джанбазы (повидимому — сарбазы) — солдаты регулярной армии, заведенной наследником престола Аббасом-Мирзой, регулярные пехотинцы.

[118] Зилли-султан Али-шах, сын шаха Фет-Али, губернатор Тегерана; после смерти отца, в 1834 г., выступил в качестве одного из претендентов на шахский престол, но, потерпев поражение, был заключен в крепость, откуда бежал в Турцию, где и умер.

[119] Об обстоятельствах спасения Мальцова см. на стр. 185—198 его собственные донесения.

[120] К. А. Бороздин, лично знавший Нину Александровну, говорит в своих «Закавказских воспоминаниях» (СПБ, 1885, стр. 16),

что вестницей печали явилась здесь гр. Е. А. Паскевич. Однако, из воспоминаний К. Боде (см. стр. 209) можно заключить, что эта роль выпала на долю француженки де-ла-Мариньер.

121 Н. А. Грибоедова, столь рано лишившаяся супруга, уже до конца дней своих (ум. в 1857 г. от холеры) оставалась вдовой. К. А. Бороздин, встречавшийся на Кавказе с Ниной Александровной в 50-х годах, говорит («Закавказские воспоминания», стр. 18), что «всегда с приветливым взглядом и улыбкой на лице вносила она с собою всюду одно лишь самое приятное впечатление. Любила очень вспоминать о Грибоедове, рассказывала о нем много интересного, знала наизусть несколько музыкальных пьес, написанных им, замечательных обработкою и оригинальностью мелодии, и нельзя не пожалеть, что они остались никем не записанными». Вносившая с собой всюду «какую-то особую атмосферу благодушия, доступности, умения войти в нужды каждого», пользовавшаяся на Кавказе большой популярностью, — «она не была ни ханжа, ни синий чулок, ни моралистка, беседа ее была самая приятная, потому что она сама была веселого характера и всегда охотно делила и понимала веселость других».

122 Хозрев-Мирза, «юноша, с лицом красивого персидского типа, прелестными глазами и стройной осанкой» (впоследствии ослепленный братом своим Мамед-шахом), приехал в петербург 4 августа 1829 г. в сопровождении свиты, в которой, в числе других лиц, состояли: начальник регулярных войск, эмир-низам Мамед-хан (посланный, между прочим, в 1837 г. приветствовать Николая I при посещении последним Эривани); статс-секретарь Аббаса-Мирзы Мирза-Салех, один из первых персов, получивших образование в Париже; секретарь и главный переводчик Аббаса-Мирзы Мирза-Масуд; переводчик и придворный поэт Фазыл-хан, встречу и разговор с которым Пушкин запечатлел в «Путешествии в Арзрум». «Хозрев-Мирза», рассказывает в своих воспоминаниях О. А. Пржецлавский, «по своему положению, изящным манерам и красоте, сразу сделался *львом дня* в Петербурге». Он оказался весьма сведущим «в искусстве флиртации», да и от вина, несмотря на запрещение Корана, не отвращал взора. И месяца не прошло с того дня, как прах Грибоедова был опущен в могилу, а перед экзотическими участниками этой увеселительно-дипломатической поездки были широко раскрыты двери петербургских гостиных, откуда «знаменитые гости разъезжались в веселом, нередко в очень веселом расположении духа». Поэт Фазыл-хан не отставал, конечно, от других; он, по словам мемуариста, влюблялся «в разных петербургских барышень и писал в их альбомах стихи

на своем языке». Хозрев-Мирза проездом через Москву посетил мать Грибоедова.

123 Контрибуция составляла 10 куруров туманов (20 миллионов рублей серебром), из которых 7 куруров были уплачены России перед подписанием Туркманчайского трактата. Хозреву-Мирзе удалось выпросить «прощения» 10-го курура и отсрочки уплаты 9-го курура на 5 лет. Николай I, вместе с тем, лично заявил Хозреву-Мирзе: «Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие».

124 «Реляция происшествий, предварявших и сопровождавших убиение членов последнего российского посольства в Персии» была напечатана в 1830 г. в «Nouvelles Annales des Voyages et des Sciences Géographiques», т. 48, стр. 314 — 345 («Relation des évènemens, qui ont précédé et accompagné le massacre de la dernière ambassade russe en Perse»). Будучи первой публикацией обстоятельств ужасной тегеранской катастрофы, «Реляция» лишь в 1858 г. стала доступна русской публике в изданном Евгр. Серчевским сборнике «А. С. Грибоедов и его сочинения», где был помещен довольно плохой и с некоторыми пропусками перевод вышеназванной «Реляции», сверенный, исправленный и дополненный для нашего издания по французскому тексту. В виду того, что «Реляция» представляется документом исключительного значения, мы сохранили во всей ее неприкосновенности наводящую на многие размышления явно неправильную транскрипцию искаженных персидских собственных имен и терминов.

Рассказ ведется в «Реляции» от имени некоего персидского мирзы, причисленного в качестве секретаря к мехмендарю русского посольства, и примечание, приведенное в русском переводе на стр. 180 нашего сборника, дает основание полагать, что французский текст «Реляции», действительно, является переводом с персидского. Перевод этот не мог, однако, быть сделан французом: синтаксис, отдельные выражения и слова французского текста, транскрипция некоторых персидских имен заставляют думать, что переводчиком с персидского на французский был а н г л и ч а н и н, или же лицо, владевшее английским языком лучше, нежели французским.

«Реляция», при появлении своем сначала в «Nouvelles Annales des Voyages», а затем в русском переводе, в издании Евгр. Серчевского, — вызвала сомнения в своей подлинности. Однако, целый ряд моментов «Реляции» нашел себе подтверждение в опубликованных впоследствии официальных документах. Так или иначе, но «Реляция» писана лицом весьма осведомленным (или со слов его) и пренебрегать ею ни в коем случае не следует.

[125] Мехмандарь (мехмендарь) — чиновник, прикомандированный персидским правительством для обслуживания почетных лиц, заготовления им ночлега, провианта и фуража.

[126] Ферраши — камердинеры, ставщики палаток, постельничие, шахские стражники. Феррaш-баши — начальник постельничих (баши — голова).

[127] Аделунг, Карл Федорович, 2-й секретарь, протоколист посольства Грибоедова в Персии, сын директора института восточных языков, Ф. П. Аделунга; погиб вместе с другими во время резни 30 января 1829 г. «Я тщетно старался добыть какие-либо подробности о его смерти», писал из Тифлиса 15 мая 1829 г. отцу К. Ф. Аделунга спасшийся 1-й секретарь посольства И. С. Мальцов: — «все, что мною узнато, заключается в том, что он искал спасения в бане, при посольском доме, где и пал под ударами кинжалов. Вещи его, а равно бумаги, все было похищено при разграблении нашего дома» («Русск. Стар.», 1874 г., октябрь, стр. 277).

[128] Иначе — европейцы.

[129] Фураганы — возможно, фераганские всадники, шахская кавалерия из провинции Фераган.

[130] Нессекчиезы (писакчи) — жандармы. Заршпи (вероятно — джарчи) — глашатаи, герольды.

[131] Мирза-Нарриман — штабс-капитан; Шахназаров, переводчик миссии.

[132] Евнух Мирза-Якуб Маркарян, армянин, сыгравший, как видно из рассказа Мальцова и др., роковую роль в трагических событиях, закончившихся истреблением нашей миссии; родился в Эривани, где изучил древне-армянский язык, для усовершенствования в котором перебрался в Эчмиадзин; оттуда через некоторое время отправился для продолжения учения в Тифлис, но по дороге караван, с которым шел Якуб, был атакован персами, большая часть каравана была перебита, а уцелевшие, среди которых оказался и Якуб, были взяты в плен. В Персии Якуб был оскоплен, обращен в магометанство и отослан в шахский гарем, где выдвинулся, благодаря знанию бухгалтерии и упрощению системы отчетности; впоследствии Мирза-Якуб успешно выполнял поручения шаха по составлению отчетности о приходе и расходовании государственных средств и занял видное положение при дворе шаха (Галуст Шермазянян, «Материалы для национальной истории», «Русск. Стар.», 1901 г., октябрь, стр. 43 и след.).

[133] Кн. П. Д. Цицианов, ген.-от-инф., главнокомандующий Грузии, был убит в *1806* г.

[134] Манучир (Манучер, Манучехр)-хан, главный евнух шахского гарема, армянин из фамилии Ениколоповых, в молодости взятый персами в плен и оскопленный.

[135] Мирза-Месих, тегеранский мудштехид (духовное лицо, достигшее высшей степени в толковании закона); был уличен впоследствии как вдохновитель разгрома русской миссии, повлекшего за собой убийство Грибоедова и др. Несмотря на огромное влияние, которым мудштехид пользовался среди населения и на оказанное им сопротивление, он, подвергшись шахскому гневу, был изгнан из пределов Персии. «Невозможно описать всех ужасов, бывших в столице во время изгнания почтенного мирзы и наказания преступников», писал каймакаму Абул-Касиму министр внутренних дел Абдулла-хан: «Во время изгнания упомянутого мирзы, от множества полицейских и натиска народа у меня пропали один мальчик и одна служанка. Его (мирзу) выгнали с совершенной суровостью». (А. Мальшинский, «Подлинное дело о смерти Грибоедова», «Русск. Вестн.», 1890 г., июль, стр. 222).

[136] Коллежский ассесор кн. Соломон Иосифович Меликов, сын сестры Манучехр-хана, приехал к бабке своей Воскуме, матери Манучехр-хана. Соломон Меликов также пал жертвой резни 30 января 1829 г.

[137] Врачом миссии был молодой ординатор Эриванского госпиталя Мальмберг, из уроженцев Эстляндии.

[138] О геройской смерти доктора Мальмберга упоминает в своих записках и К. К. Боде (см. стр. 208).

[139] Мессахче-баши (нисакчи-баши) — начальник жандармов.

[140] Сведения о числе жертв расходятся. Из письма неизвестного из Тегерана к другу Грибоедова астраханскому архиепископу Нерсесу («Кавказск. Стар.», 1872 г., № 1, стр. 28) следует, что в русской миссии погибло 58 человек. Спасшийся же 1-й секретарь посольства И. С. Мальцов доносил, что «всего погибло в сей ужасный день 37 человек наших и 19 тегеранских жителей».

[141] О Мальцове см. примечание 28.

В главе I дано донесение Мальцова Паскевичу за № 4 от 18 марта 1829 г. из Нахичевани, опубликованное А. Берже в статье «Смерть А. С. Грибоедова» («Русск. Стар.», 1872 г., № 8, стр. 174—179); глава II — из донесения Мальцова за № 6 от 21 марта 1829 г., глава III — из его же донесения за № 9 от 23 марта 1829 г., глава IV — письмо Мальцова к Паскевичу от 23 марта 1829 г. — опубликованы А. Мальшинским в статье «Подлинное дело о смерти

Грибоедова» («Русск. Вестн.», 1890 г., июль, стр. 164—168 и 170—175). Вследствие того, что транскрипция некоторых персидских имен и терминов в публикациях Берже и Мальшинского несколько различна, мы позволили себе, в печатаемых нами извлечениях из донесений Мальцова, привести ее к единообразию.

[142] Сердарь, сардарь — военный и гражданский правитель края.

[143] Лошаки.

[144] Шаро, шэр, шэр'э — закон, духовный суд.

[145] Хаким — гражданский судья.

[146] Каймакам — управляющий делами наследника престола, его наместник и помощник по управлению пограничным с Россией Азербейджаном. Каймакамом был Мирза-Абул-Касим, убитый в 1835 г. по приказу Мамед-шаха, преемника Фет-Али-шаха.

[147] Ахунд — мусульманское духовное лицо, учитель, наставник.

[148] Гулямы — курьеры, верховые прислужники.

[149] Я отвечал персам хитростью на хитрость.

[150] Т.-е. вице-канцлера гр. К. В. Нессельроде, управляющего министерством иностранных дел.

[151] Амбардум (Ибрагим-бег) служил курьером у Грибоедова; о том, как удалось ему спастись, он сообщил скрывшемуся под инициалами *Г. А.* автору статьи «Убийство А. С. Грибоедова» (озаглавленной в нашем сборнике «Смерть вазир-мухтара») в газете «Мшак», откуда статья эта вошла в обзор М. Я. Аламердянца «Кончина А. С. Грибоедова по армянским источникам» в октябрьской книжке «Русск. Стар.», 1901 г., стр. 66—68. Галуст Шермазянян сообщает в своих «Материалах для национальной истории», вошедших в вышеназванный обзор «Русск. Стар.», что Амбардум до конца жизни получал из России через тавризского консула содержание в 120 голландских червонцев.

[152] Граф Симонич, Иван Осипович (ум. в 1850 г.), ген.-лейтенант; с 1833 г. по 1838 г. — российский полномочный министр в Персии. Перевод извлечения из писанных по-французски записок гр. Симонича, под заглавием «Смерть Грибоедова», был напечатан в № 145 газеты «Москва» за 1867 г.

[153] Означает — государственный великий визирь (премудрого царя Соломона), титул Аллаяр-хана, происходившего, как и шахский дом, из фамилии Каджаров и женатого на дочери Фет-Али-шаха, Марьям-Ханум.

154 О, Аллах! О, Али!

155 Барон Б о д е, Клементий Клементьевич (род. в 1806 г.), состоял 1-м секретарем посольства гр. Симонича в Персии. Воспоминания его, под заглавием «Смерть Грибоедова», были напечатаны в «Живописном Обозрении» за 1879 г. (№ 4, стр. 94 — 95).

156 Доктор Мальмберг.

157 Об обстановке, в которой очутилась Н. А. Грибоедова в первые дни после гибели мужа, говорит дошедший до нас перевод письма из Тавриза от 13 февраля 1829 г. тифлисского купца Егора Бежоева: «Когда я вручил Министерши Грибоедовой письмо от Княгини [Саломе Чавчавадзе, матери Нины Александровны], она приняла его с радостию и начала читать, в коем написано было, чтобы Нина Александровна просила позволения от Александра Сергеевича на несколько время приехать в Тифлис; при чтении сих слов она, Грибоедова, начала плакать, хотя она об смерти его точно не извещена, но по всему догадывается; когда из Тейрана приехал курьер, тот же час Английский посланник просил ее к себе в гости и на другой день объявил ей, что Александр Сергеевич, будучи сам несколько нездоровым, писал, чтобы она отправилась в Тифлис, куда и он сам оттоль прямо отправится. В сем случае, хотя она и просила показать ей его письмо, но сего сделать было невозможно, и тому вчерашний день, она отправила человека своего к Александру Сергеевичу, коему говорила, что пока она не получит от него письма, то с места не тронется. Сахар, который был в доме, продадим; когда завязывали дорожные вьюки, пришла девка и говорила, что напрасно трудимся, пока она не получит от него письма ни за что не поедет, но через два или три дня как жена Грибоедова, также и жена Амбургера, отправятся в путь» («Дела и Дни», 1921 г., кн. 2, стр. 76).

158 Печатаемое нами здесь описание перевезения тела Грибоедова представляет собою письмо нашего генерального консула в Тавризе А. К. Амбургера к Паскевичу от 4 мая 1829 г., опубликованное А. Берже в статье его «Смерть Грибоедова» («Русск. Стар.», 1872 г., июль, стр. 200 — 202).

159 Тахтиреван (тахтаравань) — род паланкина с четырьмя оглоблями, которые прикрепляются к спинам лошаков.

160 Отрывок из «Путешествия в Арзрум» печатается по изданию «Просвещения», под ред. П. О. Морозова (т. VI, стр. 488—490). Описанный здесь Пушкиным случай произошел 11 июня 1829 г.

Мысли о всей значительности фигуры Грибоедова пришли Пушкину в голову отнюдь не сейчас, у останков погибшего поэта. Еще более чем за год до того, Ксенофонт Полевой видел их обоих на обеде у П. П. Свиньина: «Грибоедов явился вместе с Пушкиным, который уважал его, как нельзя больше, и за несколько дней сказал мне о нем: «Это один из самых умных людей в России. Любопытно послушать его» (Кс. Полевой, «О жизни и сочинениях А. С. Грибоедова», стр. XLI).

161 Вы этих людей не знаете: вы увидите, дело дойдет до ножей.

162 «Дополнение к статье «Воспоминание о А. С. Грибоедове»: «Описание последнего долга, отданного ему в Тифлисе; письмо из Тифлиса к Булгарину» В. Н. Григорьева (1803 — 1876) было напечатано в № 2 «Сына Отечества» за 1830 г., стр. 87 — 94.

163 Смирнов, Дмитрий Александрович (1819 — 1866); служил в канцелярии орловского губернатора, заседателем владимирской палаты гражданского суда, мировым посредником; автор нескольких рассказов и очерков, напечатанных в журналах 40 — 60 гг.; был в родстве с Грибоедовым и посвятил более четверти века собиранию материалов и биографических сведений о нем, вкладывая в это много настойчивости и энтузиазма. Смирнов был знаком с матерью Грибоедова, Настасьей Федоровной, с его сестрой, Марьей Сергеевной Дурново, с его друзьями, С. Н. Бегичевым, А. А. Жандром, Б. И. Ионом и др., находился в переписке с вдовой поэта, Ниной Александровной Грибоедовой-Чавчавадзе. Из собранного им весьма обширного и ценного материала Смирнов опубликовал в «Русском Слове» (1859 г., №№ 4 — 6) лишь «Черновую тетрадь Грибоедова», автограф которой был подарен ему С. Н. Бегичевым. Вдова Смирнова передала после смерти мужа его материалы о Грибоедове Обществу Любителей Российской Словесности, в «Беседах» которого была в 1868 г. напечатана статья Смирнова «А. С. Грибоедов» (см. примечание 96); материалы эти (частично использованные академиком Алексеем Веселовским) впоследствии из Общества исчезли. Другая часть материалов о Грибоедове, оставшаяся после смерти Смирнова в его имении, погибла в 1877 г. во время пожара. Сгорело, однако, не все. К немногому уцелевшему относятся напечатанные в нашем издании рассказы о Грибоедове его друзей, записанные Смирновым и опубликованные (под заглавием «К биографии А. С. Грибоедова. Из неизданных материалов Д. А. Смирнова») Н. В. Шаломытовым в «Историческ. Вестнике» за 1909 г. (март, стр. 1036 — 1061; апрель, стр. 132 — 163).

Примечания под текстом без подписи принадлежат Н. В. Шаломытову; за подписью *Д. С.* — Д. А. Смирнову; *М. П.* — Михаилу Матвеевичу Поливанову, родственнику С. Н. Бегичева.

[164] Моя немка вышла, а книга находилась в ее комнате.

[165] С комфортом.

[166] Грибоедову после освобождения его (4 июня 1826 г.) из-под ареста был выдан следующий аттестат: «По высочайшему его императорского величества повелению Комиссия для изыскания о злоумышленном обществе сим свидетельствует, что коллежский ассесор Александр Сергеев сын Грибоедов, как по исследованию найдено, членом того общества не был и в злонамеренной цели оного участия не принимал. С.-Петербург, июня 9 дня 1926 года».

[167] В своей записке о Грибоедове («Ответ рецензенту») С. Н. Бегичев говорит, что Грибоедов заезжал к нему в начале августа (1826 г.) на один день (см. стр. 44).

[168] Об интересном случае, подтверждающем самообладание Грибоедова, его «холодную храбрость», рассказал он в 1828 г. сам у кн. В. Ф. Одоевского, в присутствии Ксенофонта Полевого, когда зашла речь «о власти человека над самим собою». Об этом случае с Грибоедовым, кроме Ксенофонта Полевого («О жизни и сочинениях А. С. Грибоедова», стр. XLV — XLVII), рассказывает и Ф. Булгарин (стр. 21).

[169] Как говорят, нетронутой.

[170] Завадовский жил «в доме бывшем Чаплина, на углу Невского проспекта и Большой Морской» (Воспоминания О. А. Пржецлавского, «Русск. Стар.», 1883 г., август, стр. 384).

[171] Зарядите мои пистолеты.

[172] Каверин, Петр Павлович (1794 — 1855), тогда офицер ЛГВ Гусарского полка; был в приятельских отношениях с Пушкиным и Грибоедовым.

[173] Межевич, Василий Степанович (1814 — 1849), литератор, друг Булгарина.

[174] В «Алфавите членам бывших злоумышленных тайных обществ и лицам прикосновенным к делу» не значится Михаил Семенович Алексеев. Речь, несомненно, идет о Степане Ларионовиче Алексееве, доставленном в Петербург на главную гауптвахту 8 февраля 1826 г. (Грибоедов был доставлен на главную гауптвахту

11 февраля) и освобожденном 21 февраля 1826 г. Ст. Лар. Алексеев, действительно, брат екатеринославского губернского предводителя дворянства Дм. Лар. Алексеева, доставленного в Петербург 19 февраля 1826 г. — т.-е. позднее Степана Ларионовича, которого имеет в виду в своем рассказе А. А. Жандр.

175 П. Е. Щеголев подвергает сомнению историю изъятия Грибоедовым пакета со своими бумагами: «Мы пересмотрели все производство комиссии и нигде следа не нашли каких-либо бумаг Грибоедова: ни во входящих журналах, ни в делах по возвращению отобранных вещей и бумаг» («А. С. Грибоедов и декабристы», стр. 29).

176 В своем письме из-под ареста к Николаю I от 15 февраля 1826 г. Грибоедов писал: «Я не знаю за собой никакой вины. В проезд мой из Кавказа сюда, я тщательно скрывал мое имя, чтобы слух о печальной моей участи не достиг до моей матери, которая могла бы от того ума лишиться. Но ежели продлится мое заточение, то конечно и от нее не укроется» (Полн. собр. соч. Грибоедова, под ред. Н. К. Пиксанова, т. III, стр. 189).

177 Поверенный в делах.

178 Чрезвычайный посланник и полномочный министр.

179 Незадолго до своей последней поездки в Персию Грибоедов, когда в Петербурге Ксенофонт Полевой заговорил с ним «о любопытном его будущем положении в Персии», — сказал: «Я уж столько знаю персиян, что для меня они потеряли свою поэтическую сторону. Вижу только важность и трудность своего положения среди них и, главное — не знаю сам отчего, мне удивительно грустно ехать туда! Не желал бы я увидеть этих старых своих знакомых» (Кс. Полевой, «О жизни и сочинениях А. С. Грибоедова», стр. LVIII).

180 Всеволожский, Александр Всеволодович (1793 — 1864), друг Грибоедова, один из основателей общества «Зеленая Лампа».

181 Римский сенатор (господин сенатор).

182 Телешова, Екатерина Александровна (ум. в 1850 г.), «первая пантомимная танцовщица», которою в 1824 — 1825 гг. сильно увлекался Грибоедов, воспевший ее в стихотворении «Телешовой в балете «Руслан и Людмила», где она является обольщать витязя». В письме из Петербурга к С. Н. Бегичеву от 4 января 1825 г. Грибоедов пишет: «В три, четыре вечера, Т[елешова] меня с ума свела, и тем легче, что в первый раз и сама свыклась с тем чувством, от которого я в грешной моей жизни чернее угля выгорел (Полн. собр. соч. Грибоедова, под ред. Н. К. Пиксанова, том III

стр. 165). 11 февраля 1825 г. Грибоедов писал из Петербурга П. А. Катенину: «Зачем ты Телешову дрянью называешь, не имея об ней никакого понятия? Как же на других пенять, когда ты так резко судишь о том, чего не знаешь?» (Там же, стр. 170).

183 Указания М. Н. Загоскина «на образец неправильности и безвкусия» относились не к «Своей семье», а к «Молодым супругам»: «Такие, граф, стихи против поэзии суть тяжкие грехи», писал Загоскин в своей рецензии на постановку «Молодых супругов» («Северн. Наблюдатель», 1817 г., № 25).

184 Партию вчетвером.

185 А, он посягал на мою жизнь! К барьеру!

186 Н. В. Сушков вспоминал впоследствии: «Несколько времени после дуэли и незадолго до мученической кончины своей в Персии, Грибоедов часто услаждал меня на чужой стороне, посреди татар, в Крыму, — своею певучею, раздумною игрою на клавикордах; но прежней беглости в ней уже не было» («Моск. университетск благородн. пансион», стр. 13).

187 В. В. Розанов в своих домыслах идет значительно дальше См. примечание 87.

188 Ничего слишком.

189 Запрещенных вещей.

190 Об этом инциденте между Грибоедовым и Федоровым рассказывает в своих воспоминаниях и П. А. Каратыгин (см. стр. 59—61). В записках А. М. Каратыгиной («Русск. Вестн.», 1881 г., апрель, стр. 588) также находим вариант этой истории.

191 Смирнов уже рассказал об этом выше (стр. 263—265).

192 Веселая компания!

193 Делать хорошую мину при плохой игре. «Не беспокойтесь, сударыня, нам будет отлично с вашим мальчиком... Я сам отец семейства».

194 Он для меня раскопал такие вещи, которые неизвестны никому.

195 В бумагах Д. А. Смирнова сохранилась запись о двух встречах его с М. С. Щепкиным в Москве в апреле и июне 1858 г. Щепкин заявил Смирнову, что с Грибоедовым он «вовсе не был близко знаком», хотя и «встречал его в иных обществах», и никогда не забудет «одной встречи или, лучше сказать, одних слов Грибоедова о Ермолове. «Я сказал в глаза Алексею Петровичу», говорил Грибоедов,

«вот что: зная ваши правила, ваш образ мыслей, приходить в недоумение, потому что не знаешь, как согласить их с вашими действиями; на деле вы совершенный деспот». — «Испытай прежде сам прелесть власти», отвечал мне Ермолов, «а потом и осуждай».

Беседы Смирнова со Щепкиным в сравнительно небольшой степени коснулись личности Грибоедова. Эти записи Смирнова, где он, между прочим, снова (в третий раз) излагает историю «Лубочного театра», опубликованы тем же Н. В. Шаломытовым в «Ежегоднике имп. театров» (сезон 1907—1908 гг., стр. 173—220). под заглавием «Два утра у Щепкина. Из неизданных материалов Д. А. Смирнова».

# УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН


Аббас-Мирза — 13, 21, 41, 105, 115, 116, 129, 130, 131, 145, 147, 151, 153, 157, 158, 169, 172, 177, 179, 183, 192, 209, 237, 238, 239, 321, 323, 326.
Абдулла-Мирза, принц — 153, 154, 155, 157.
Абдулла-хан — 329.
Аврамов, П. В. — 86.
А., Г., автор — 199, 330.
Аделунг, К. Ф. — 152, 156, 165, 177, 208, 324, 328.
Аделунг, Ф. П. — 328.
Азарова, танцовщица — 275.
Аксаков, С. Т. — 295.
Алавердянц, М. Я. — 310, 330.
Александ I — 3, 69, 115, 116, 240, 241, 265, 312.
Александр II — 267.
Александр, принц Вюртембергский — 282.
Алексеев, Д. Л. — 334.
Алексеев, Матвей — 70.
Алексеев, М. С. — 249, 250, 251, 319, 333.
Алексеев, С. Л. — 333, 334.
Алексей Михайлович, царь — 9.
Али-Верди, кондитер — 178.
Али-Шах (Зилли-султан-шахзадэ, Зели-султан) — 143, 159, 161, 174, 176, 182, 183, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 325.
Аллаяр (Алаяр, Аллах-Яр, Али-Яр)-хан (Асиф-ед-Довлет) — 46, 105, 139, 140, 141, 143, 171, 172, 173, 174, 177, 189, 203, 204, 255, 324, 325, 330.
Алли-Нагги-Мирза — 154.
Амбарцум (Ибрагим-бег), курьер русского посольства — 199, 201, 330.
Амбургер, А. К. — 109, 110, 111 114, 215, 309, 323, 331.
Амбургер, жена А. К. Амбургера — 331.
Амманула-хан — 159.
Аммин-эд-Даулэ (Эмин-ед-Довлет) — 161, 162, 164, 202.
Арбузов, А. П. — 317.
Аргутинский, подполковник — 216.
А--рский, П. — 311.
Асиф-эд-Доулэ (Асиф-ед-Довлет) см. Аллаяр-хан.
Ахвердов, Е. Ф., брат С. Ф. Муравьевой — 119, 127.
Ахвердов, Ф. П., муж П. Н. Ахвердовой — 119, 120.
Ахвердова, П. Н., рожд. Арсеньева — 27, 119, 120, 121, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 145, 309.
Ахвердова, С. Ф. — см. Муравьева, С. Ф.
Ахвердовы — 133, 323.
Ахмет-хан — 324.

Б., В., автор — 307.
Багратион-Мухранский, князь — 309.
Багратион-Мухранский, князь предв. дворянства — 122.
Байрон — 18, 48, 49, 53.
Балашов, П. П. — 304.
Баратаев, князь — 84, 85.
Барт, Н. Т. — 12.
Б[артенев], П. [П.] — 309.
Барышников, А. П. — 233.
Барышникова, А. П. — см. Бегичева, А. П.
Батюшков, К. Н. — 149, 312.
Башуцкий, П. Я. — 250.
Бебутов, князь А. — 119.

Бебутова, княжна, дочь князя А. Бебутова — 119.
Бегичев, Д. Н. — 104, 233, 313, 316, 317, 323.
Бегичев, С. Н. — 11, 12, 22, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 76, 103, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 255, 258, 259, 272, 273, 275, 282, 285, 286, 295, 304, 311, 313, 314, 315, 316, 319, 332, 333, 334.
Бегичева, А. И., рожд. Барышникова — 233, 237, 313.
Бежоев, Е. — 331.
Бей-Булат, имам — 71.
Белинский, В. Г. — 82, 321.
Бельфорт, граф И. Ф. — 72.
Беляевы, А. П. и П. П. — 317.
Беннигсен, Л. Л. — 240.
Бенкендорф, К. Х. — 130.
Берг, Н. — 309.
Берже, А. П. — 309, 316, 324, 330, 331.
Бестужев, А. А. (Марлинский) — 3, 47, 56, 57, 58, 79, 82, 213, 281, 282, 283, 314, 316, 317.
Бестужева, Е. А. — 314.
Бетховен — 58.
Бобарыкин, Д. А. — 116, 117, 323.
Бобров, С. С. — 320.
Боде, барон К. К. — 207, 326, 329, 331.
Бок, И. С. — 55, 57, 58.
Боратынский, Е. А. — 314.
Боратынская, А. Л. — 314.
Бородин, командир Шпрванск. пехотн. полка — 126.
Бороздин, К. А. — 5, 325, 326.
Бруевич, чиновник канцелярии следств. комиссии над декабристами — 91.
Бруни, Ф. А. — 274.
Булгарин, Ф. В. — 9, 20, 24, 26, 28, 31, 39, 40, 50, 57, 95, 96, 221, 222, 235, 243, 244, 246, 251, 253, 254, 258, 270, 283, 303, 304, 305, 306, 308, 310, 311, 319, 320, 324, 332, 333.
Булгарина, Е. И., жена Ф. В. Булгарина — 22.
Буле, И. Ф. — 10, 16, 37, 38, 230, 304.
Быков, капитан л.-г. Преображенского полка — 109, 112.
Ван-Дейк — 230.
Ваценко, В. Я. — 216.
Вебер, композитор — 59.
Вельяминов, А. А. — 17, 69, 118, 308.
Вейденбаум, Е. Г. — 232, 316.
Верстовский, А. Н. — 304.
Веселовский, Алексей Н. — 77, 78, 332.
Вигель, Ф. Ф. — 312, 318.
Витгенштейн, князь П. Х. — 266.
Владимир Святославич, в. князь Киевский — 19.
Воейков, Н. П. — 116, 117, 319, 323.
Воинов, генерал — 315.
Волконская, княгиня А. Н. — 83.
Волконская, княгиня З. А. — 83.
Воротников, артист — 56.
Всеволожский, А. В. — 256, 334.
Вяземский, князь П. А. — 83.

Габбидулла-хан — 159.
Гагарина, княгиня Е. С., рожд. Семенова — 306.
Гагин, гвард. офицер, основатель «Tugendbund'а — 266.
Гади-Бей (Хади-бек, Хаджи-бег), майор сарбазов — 160, 177, 191,
Гайдн, композитор — 58.
Гарусов, И. Д. — 317.
Гейм, профессор — 37.
Гессе, генерал — 136.
Гете — 17, 18, 40, 48, 49.
Герцен, А. И. — 262.
Глинка, М. И. — 234.
Гоашатур — см. Хаджатур.
Голицына, княгиня Н. П. — 317.
Гольден-Исмаил-хан — 167.
Гомер (Омир) — 319.
Горихвостов — 83.
Горчаков, князь П. Д. — 69.
Гофман, М. Л. — 314.
Греч, Н. И. — 12, 15, 24, 33, 34, 79, 133, 235, 246, 263, 265, 290, 303, 306, 310, 324.
Грибов, А. — 61, 62, 63, 70, 75, 138, 140, 142, 162, 179, 231.
Грибовские [Гржибовские], предки А. С. Грибоедова — 9.
Грибоедов, А. С. — passim.
Грибоедова, А. Ф., мать А. С. Грибоедова — 36, 37, 42, 45, 64, 109, 234, 239, 252, 313, 321, 322, 332.

Грибоедова, М. С. — см. Дурново, М. С.
Грибоедова, Н. А., рожд. кн. Чавчавадзе (Чевчавадзева), жена А. С. Грибоедова — 5, 26, 27, 28, 29, 30, 119, 120, 121, 131, 132, 133, 134, 135, 144, 145, 146, 166, 177, 209, 210, 219, 224, 309, 324, 325, 326, 331, 332.
Грибоедовы [предки А. С. Грибоедова] — 9, 10.
Григорьев, В. В. — 311.
Григорьев, В. Н. — 221, 332.
Григорьев, П. И. — 56, 57, 58.
Гуссейн-хан (Хусейн-хан), последний правитель Эривани — 155, 171, 186.

Давид, св. [«Гора св. Давида»] — 23, 146, 210, 213, 224, 225.
Давыдов, Д. В. — 76, 101, 304, 321, 322.
Давыдов, З. С. — 6.
Дадаш-бег — 152, 158, 163, 165, 177.
Дамиш, фельдъегерь — 70, 71.
Дашкова, княгиня Е. Р. — 262.
Декарт, философ — 219.
Демут, ресторатор — 22.
Джигангир-хан, старшина племени Шагагни — 153.
Дибич, И. И., граф Забалканский—73, 121, 122, 123, 123, 316,
Дивов, В. А. — 317.
Дмитриев, М. А. — 256, 307.
Дмитрий Донской — 19.
Долгорукий, князь Д. И. — 148.
Дудышкин, С. С. — 45, 311.
Дурново, А. М. — 313.
Дурново, М. С., рожд. Грибоедова, сестра А. С. Грибоедова — 36, 42, 230, 244, 274, 308, 313, 321, 332.
Дюр, Н. О. — 64.
Дюр (Дюрова), Л. О. — см. Каратыгина, Л. О.

Екатерина II — 312.
Ениколопова, Воскума — 329.
Ермолов, А. П. — 13, 15, 20, 41, 42, 43, 44, 69, 70, 71, 73, 74, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 128, 129 231, 232, 237, 238, 248, 249, 254, 280, 281, 283, 306, 313, 315, 316, 319, 321, 323, 335, 336.
Ермолов, П. Н. — 116, 306.
Ермолов, С. Н. — 70, 73, 74, 76, 132, 133, 134, 306.

Жандр, А. А. — 11, 12, 20, 28, 29, 36, 39, 46, 62, 232, 235, 241 244, 245, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 269, 270, 271, 273, 274, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 295, 297, 298, 305, 306, 310, 311, 332, 334.
Жандр, П. П. — 260, 274, 283.
Жихарев, подполковник — 71, 73, 74.
Жуковский, капитан — 85, 86, 87, 88, 250, 318.

Завадовский, граф А. П. — 41, 108, 109, 239, 240, 241, 275, 276, 277, 278, 279, 284, 311, 312, 114, 322, 333.
Завадовский, граф П. В. — 312.
Завалишин, Д. И. — 77, 252, 283, 317, 318, 319.
Завилейский, П. Д. — 134, 135, 136, 146, 224, 324,
Загоскин, М. Н. — 263,264, 265, 296, 297, 298, 336.
Загряжская, Н. К. — 317.
Зураб (Зограб)-хан — 164, 165, 166, 188.
Зосима, грек — 121.

Иванов, начальник отдела инспекторского департамента — 251.
Ивановский, А. А. — 91, 92, 251, 252, 253, 283.
Игнатьев, граф П. Н. — 88, 318.
Ималь-Верди-Мирза, принц—182.
Ион, Б. П. — 38, 230, 238, 239, 275, 279, 311, 332.
Иона, митрополит, экзарх Грузии — 224.
Истомина, Е. П. — 40, 239, 240, 275, 276, 277, 278, 279, 311, 312,

Каверин, П. П. — 240, 241, 279, 333.
Каджары — 330.

Кальм, Ф. Г. — 84, 85, 319.
Каминский, домовладелец в Варшаве 31.
Каподистрия, граф И. А. — 255, 312.
Карамзин, Н. М. — 319.
Каратыгин, А. В. — 257.
Каратыгин, В. А. — 58, 59, 265, 268, 292, 298, 315.
Каратыгин, П. А. — 55, 257, 268, 274, 315, 335.
Каратыгина, А. М., рожд. Колосова — 268, 335.
Каратыгина, Л. О., рожд. Дюр — 64, 65.
Катенин, П. А. — 39, 266, 267, 268, 306, 311, 335.
Каховский, П. Г. — 94, 96, 315, 319.
Качеиовский, М. Т. — 37.
Керим-хан, фераш-баши — 183.
Киселев граф, П. Д. — 266.
Кииб-Али-султан — 215, 222.
Ковалев, полковник — 277.
Ковалева, артистка — 57.
Козловский, В. М. — 73, 74, 76.
Кологривов, А. С. — 10, 11, 32, 286, 304, 313.
Кологривов, М. А. — 311.
Кологривова, П. Ю. — 83.
Колосова, А. М. — см. Каратыгина, А. М.
Коновницына, графиня А. И. — 86.
Константин Павлович, в. кн. — 69, 95, 279, 316.
Корнель — 40, 310, 311.
Корф, барон (затем — граф) М. А. — 287.
Котелев, гвард. офицер, основатель «Tugendbund'a» — 266.
Красинский — 32.
Крашенни ов — 261.
Крылов, И. А. — 55.
Купер, Фенимор — 29.
Кюхельбеккер, В. К. — 58, 118, 227, 251, 281, 289, 304, 310, 315, 323.

Лагарп, де, Ж-Ф. — 15.
Ланской, камер-юнкер — 277.
Ланской, полковник Кавалергардского полка — 277.
Лафайетт, де, маркиз — 79.
Лебедева, артистка — см. Шелихова.
Левашов, граф В. В. — 82.
Липранди, И. П. — 5, 318.
Лист, штабс-капитан — 118.
Ломоносов, М. В. — 44.
Лонгинов, М. Н. — 319.
Лопухин, князь П. П. — 89.
Лоредо, кондитер — 87, 88.
Луиза Бонапарт, королева Неаполитанская — 209.
Лукомский, В. К. — 304.
Лунин, М. С. — 95.
Любимов, Р. В. — 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 252, 319.

Магомед-Али-бег (Ага-Могаммед-Али), помощник фераш-баши — 152, 172, 177, 179.
Мазаровнч, С. И. — 13, 41, 67, 102, 105, 108, 114, 115, 116, 119, 306, 323.
Мазаровичи, братья — 110.
Майков, А. А. — 265.
Майков, А. Н. — 265.
Макаров, прапорщик Тифлисского пехотного полка — 217.
Маркарян, Мирза-Якуб, евнух Фет-Али-шаха — 105, 141, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 182, 183, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 196, 197, 203, 204, 205, 328.
Малиновский, А. Ф. — 319.
Мальмберг, доктор — 329, 331.
Мальшинский, А. — 329, 330.
Мальцов, И. С. — 28, 106, 137, 144, 152, 163, 165, 166, 168, 169, 171, 182, 185, 192, 209, 309, 328, 329, 330.
Мамед-хан — 326.
Мамед (Мирза)-шах — 3, 323, 330.
Манучар (Манучир, Манучехр)-хан Ениколопов — 105, 168, 169, 176, 178, 187, 188, 189, 190, 206, 329.
Мариньер, де-ла — 209, 210, 326.
Мартин, англичанин — 118.
Мартиненго — 145.
Марьям-Ханум, принцесса, жена Аллаяр-хана — 330.
Мати-Кули-хан, сын Гуссейн-хана Эриванского — 171, 172,

Махмуд-хан, капитан персидской гвардии и обер-церемониймейстер — 160.
Межевич, В. С. — 243, 333.
Меликов, князь С. И. (Мирза-Селлиман-Маллейкаф) — 176, 178, 179, 180, 190, 206, 329.
Меньшиков, князь А. С. — 266.
Мерлини, С. Д. — 215, 216.
Миклашевич (Миклашевичева), В. С. — 28, 29, 30, 269, 270, 271, 272, 273, 285, 310.
Миклашевич, Н. — 271.
Миллер, доктор — 110, 111, 112.
Миллер, Г. Ф. — 308.
Милорадович, граф М. А. — 58, 257, 258, 265, 267, 315, 320.
Мирабо — 244.
Мирза-Абул-Гуссейн-хан — 160, 193.
Мирза-Абул-Касим — 329, 330,
Мирза-Абул-Хассан (Гассан, Хасан, Гасан)-хан, министр иностранных дел в Персии — 160, 162, 163, 164, 189, 192, 202, 203, 204.
Мирза-Абдул-Вахаб (Вагаб), Моатемид-эд-Даулэ — 161 175, 176.
Мирза-Масуд — 326.
Мирза-Матти (Мехти), секретарь шаха — 173, 192.
Мирза-Месих (Мессих, Масси) — 170, 171, 174, 190, 194, 196, 205, 329.
Мирза-Могаммед-Али-хан (Мирза-Мамед-Али-хан), визирь — 159, 160, 162, 164, 182, 191, 195,
Мирза-Мусса-хан — 151, 152.
Мирза-Набби-хан, персидский министр — 155, 156, 157.
Мирза-Нарриман — см. Шахназаров.
Мирза-Раффи, министр принца Абдуллы-Мирзы — 153.
Мирза-Салех (Сале) — 129, 130, 326.
Мирза-Селлиман-Маллейкаф — см. Меликов, князь С. И.
Мирза-Фата — 153.
Мирза-Якуб — см. Маркарян, Мирза-Якуб.
Михаил Павлович, в. кн. — 315.
Мищенко, полковник — 74, 75, 232.
Моатемид-эд-Доулэ — см. Мирза-Абдул-Вахаб.
Могаммед-Али-Султан — 160.
Могаммед-Бакер-хан — 160.
Могаммед-Тахикс-бег — 172, 174.
Могаммед-хан, Эриванский — 167.
Могаммед-хан Ad шар (Магаммед-Велли-хан) — 155, 159, 175.
Могамме т-хан Замбор-эккчи-баши — 159, 177, 183.
Могилевский, чиновник при А. П. Ермолове — 115.
Моллер, капитан — 314.
Мольер — 40.
Мономах, Владимир Всеволодович, в. кн. Киевский — 19.
Мордвинов, граф Н. С. — 79.
Морозов, П. О. — 331.
Моцарт — 58.
Мошинский, граф — 84, 85.
Муравьев, А. З. — 80.
Муравьев, Никита М. — 266, 267, 282.
Муравьев-Апостол, С. И. — 281, 282, 283.
Муравьев-Карский, Н. Н. — 4, 108, 119, 304, 322, 324, 325.
Муравьева, С. Ф., рожд. Ахвердова — 119, 120, 121.
Муханов, Н. А. — 47, 50, 314.
Муханов, П. А. — 96, 320.

Назар-Али-хан Авшарский — 151, 152, 154, 156, 157, 159, 160, 169, 170, 172, 173, 176, 193, 194.
Наиб-султан — см. Аббас-Мирза.
Наполеон I, император французов — 38, 209, 219.
Нарышкин, А. Л. — 265.
Нарышкин, М. М. — 86.
Наумов, С. А. — 112, 113.
Неджев-Кули-бег — 153.
Нерсес, архиепископ аштаракский — 329.
Нессельроде, граф К. В. — 255, 310, 330.
Нессер-Уллах-Афшар — 153.
Николай I — 3, 4, 17, 21, 22, 45, 70, 75, 103, 121, 122, 131, 163, 165, 169, 183, 186, 193, 194, 195, 236, 243, 268, 269, 287, 288, 290, 306, 309, 310, 316, 320, 326, 327, 334.

Новосильцев, В. Д. — 289.
Новосильцева, Е. В. — 5, 307.
Носков, майор — 216.

Оболенский, князь Е. П., — 377.
Огарев, Н. Г. — 101, 321.
Одоевский, князь А. И. — 3, 30, 78, 80, 81, 95, 96, 97, 269, 273, 281, 287, 289, 310.
Одоевский, князь В. Ф.—230, 274, 299, 304, 333.
Озеров, В. А. — 37.
Ольхин, издатель — 303.
Омир — см. Гомер.
Оржицкий, Н. Н. — 83.
Орлов, князь А. Ф. — 92, 266.
Орлов, М. Ф. — 92, 266.
Оссиан — 306.
Остен-Сакен, граф Д. Е. — 266.
Остерман-Толстой, граф А. И. — 82, 83.

Павлов, Н. А. — 118.
Памела, казацкий сотник — 325.
Парсех, армянский епископ—216.
Паскевич, Е. А., графиня Эриванская, княгиня Варшавская, рожд. Грибоедова, жена И. Ф. Паскевича и двоюродная сестра А. С. Грибоедова — 44, 80, 138, 239, 304, 308, 326.
Паскевич, И. Ф., граф Эриванский, князь Варшавский — 19, 21, 24, 25, 26, 27, 44, 45, 80, 92, 95, 101, 104, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 138, 147, 236, 237, 238, 239, 306, 308, 309, 310, 316, 321, 322, 329, 331.
Перовский, граф В. А. — 287.
Перфильева Александрина — 119, 120.
Перцов, И., издатель — 281.
Пестель, П. И. — 91, 281, 282.
Петрозилиус, И. Б. — 230.
Пиксанов, Н. К. — 304, 313, 315, 319, 320, 323, 334.
Пирон, А. — 35, 311.
Погодин, В. В. — 314.
Погодин, М. П. — 321.
Поливанов, М. М. — 251, 266, 267, 282, 333.
Попов, обер-аудитор следствен. комиссии над декабристами—91.
Полевой, Кс. А. — 5, 244, 305, 307, 317, 332, 333, 334.
Полевые, Н. и Кс. А. — 244.
Потапов, А. Н. — 250, 253.
Потемкин, Я. А. — 266.
Похвиснев, Н. Н. — 118, 323.
Пржецлавский, О. А. — 312, 326, 333.
Прилуцкая, артистка — 57.
Пушкин, А. С. — 3, 4, 5, 7, 20, 80, 93, 95, 99, 218, 222, 229, 234, 268, 281, 305, 306, 309, 310, 314, 315, 316, 321, 326, 331, 332, 333.

Раевские, А. Н. и Н. Н. — 84, 89, 90.
Рамазан-бег, фераш шаха Фет-Али — 169.
Расин — 40, 310.
Рассветаев, казачий урядник — 74, 75.
Рейтард, профессор — 37.
Ренненкампф, П. Я. — 125.
Родзянко 3-й, штабс-капитан л.-гв. Егерского полка — 250.
Родионов, донской полковник — 25.
Родофиникин, К. К. — 28, 310.
Розанов, В. В. — 281, 320, 335.
Романовы, царствовавший в России дом — 9.
Рустам (Рустем, Рустем-бег) — 141, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 163, 165, 168, 169, 172, 174, 177, 190, 325.
Рылеев, К. Ф. — 79, 94, 281, 283, 289, 290, 314, 316, 317.
Рязанцев, артист — 56.

Салтыков, граф П. И. — 10, 38.
Сапега, Лев — 10.
Свиньин, П. П. — 332.
Севинис, В. Е., грек, офицер — 121, 323.
Семенов, гвард. офицер, основатель «Tugendbund'а» — 266.
Семенова, Е. С. см. Гагарина, кн. Е. С.
Семенова-«меньшая», Н. С. — 12, 306.
Сенковский, О. И. — 306.
Сенявин, Н. Д. — 84, 250.
Серчевский, Е. — 304, 327.

Симонич, графиня А. А. — 210.
Симонич, граф И. О. — 202, 330, 331.
Сипягин, Н. М., тифлисский губернатор, генерал-адъютант — 118, 127, 128, 266, 323.
Скотт, Вальтер — 306.
Смирдин, издатель — 258.
Смирнов, Д. А. — 37, 229, 231, 232, 235, 238, 244, 285, 288, 291, 293, 294, 297, 299, 308, 315, 321, 322, 332, 333, 335, 336.
Смирнова, С. А. — 294, 332.
Соболевский, С. А. — 309.
Соковнина, Е. П. — 234.
Сократ — 17.
Соломон, царь иудейский — 330.
Сомов, О. М. — 79, 317.
Сосницкий, И. И. — 59, 257, 262, 263, 274, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299.
София, княгиня, правительница Гурии — 135, 136.
Сохацкий, П. А. — 37.
Соц, В. — 292.
Спешнев, профессор — 37.
Степанов — 114.
Стерн, писатель — 49.
Стрекалов, С. С. — 224.
Стурдза, князь А. С. — 5, 312.
Стюрлер, полковник — 320.
Суворов, А. А., граф Рымникский, князь Италийский — 21, 89.
Суворов, А. В., граф Рымникский, князь Италийский — 21, 128, 306.
Сухтелен, граф П. П. — 129.
Сушков, — 266, 298.
Сушков, Н. В. — 266, 311, 312, 335.

Талаань, персидская пленница, христианка — 171.
Талызин, И. Д. — 72, 73, 74, 75, 109, 113, 232.
Тейль, барон Ф. В. — 313.
Телешова, Е. А. — 258, 259, 260, 306, 315, 334, 335.
Тизенгаузен, фон, барон В. К. — 86.
Толь, граф К. Ф. — 85.
Трубецкой, князь С. П. — 317.
Тучков, А. А. — 319.
Тютчев, И. Н. — 82, 83.
Тютчев, Н. И. — 82, 83.
Тютчев, Ф. И. — 82.

Уклонский, фельдъегерь — 72, 73, 74, 75, 231, 232, 233, 313.
Унгерн — 108, 110, 113.
Уткин, Н. И. — 15.

Федоров, В. М. — 59, 60, 61, 292, 293, 335.
Фет-Али (Фетх-Али), шах персидский — 13, 41, 46, 104, 105, 106, 139, 140, 143, 144, 147, 151, 155, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 219, 242, 321, 323, 325, 330.
Франкер, математик — 96, 320.
Фридрихс, ген.-майор — 314.
Фызыл-хан — 326.

Хаджатур (Хачатур) — 179, 193.
Хмельницкий, Н. И. — 12, 39, 59, 60, 61, 292, 293, 306.
Ховен, фон-дер, барон Р. П. — 20.
Хозрев (Хозрой) - Мирза — 106, 147, 148, 243, 321, 326, 327.

Цицианов, князь П. Д. — 167, 328.

Чавчавадзе (Чавчавадзевы), князья — 132, 133, 137.
Чавчавадзе, княгиня, жена кн. Герсевана Чавчавадзе, бабка Н. А. Грибоедовой — 27, 133, 137.
Чавчавадзе (Чевчевадзев), князь А. Г., отец Н. А. Грибоедовой — 28, 119, 133, 134, 137, 145, 309, 324.
Чавчавадзе, князь Герсеван — 309.
Чавчавадзе (Чевчевадзева), Н. А., см. Грибоедова, Н. А.
Чавчавадзе, князь Р. — 138, 144.
Чавчавадзе, княгиня Саломе, мать Н. А. Грибоедовой — 27, 133, 137, 331.

Чайчиков, артист — 57.
Чаплин, домовладелец — 333.
Чевкин, офицер гвард. генер. штаба — 83.
Челокаевы, князья — 133.
Чернов, ген.-майор — 289.
Чернов, К., подпор. Семеновск. полка — 289.
Чернова — 289.
Чернышов, князь А. И. — 92, 319.
Чипягов — 39.

Шаломытов, Н. В. — 332, 333, 336.
Шахназаров (Мирза-Нарриман), переводчик русского посольства — 163, 164, 165, 166, 168, 169, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 187, 192, 328.
Шаховской, князь А. А. — 12, 39, 55, 56, 64, 260, 263, 265, 274, 275, 278, 291, 295, 296, 306, 311, 315.
Шаховской, князь Ф. П. — 84.
Шейх-Абдул-Айсиз, сеид — 155.
Шекспир — 40, 49.
Шелихов, артист — 57.
Шелихова, артистка, рожд. Лебедева — 57.
Шениг, Н. Н. — 121.
Шереметев, граф Д. Н. — 319.
Шереметев, А. В. — 83.
Шереметев, В. А. — 241.
Шереметев, В. В. — 40, 41, 108, 109, 239, 240, 241, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 311, 312, 314, 322.
Шермазянян, Галуст — 328, 330.
Шиллер — 18, 40.
Шимановский, Н. В. — 67, 74, 101, 231, 315, 316.
Шишкин, И. И. — 297.
Шляпкин, И. А. — 192, 241, 268, 285, 304, 311.
Шнейдер, В. В. — 230.
Штейн — 38.
Шубинский, С. Н. — 289.
Ш., Х., автор — 225.

Щеголев, П. Е. — 282, 315, 316, 317, 319, 320, 334.
Щепкин, М. С. — 294, 299, 335, 336.

Эксанхан, полковник — 215, 216.
Экунин, артист — 57.
Эммануэль, Г. А. — 25.
Эристов, князь Г. И. — 122, 325.

Якубович, А. И. — 41, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 120, 240, 241, 266, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 322.
Якунин, фельдъегерь — 69.
Ярослав Владимирович, в. кн. Киевский — 19.
Яхья-Мирза — 185.

# СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Предисловие . . . . . 3

I

Ф. Булгарин. — Воспоминания о незабвенном Александре Сергеевиче Грибоедове.

Род Грибоедова. — Годы учения. — Иркутский полк. — Друзья Грибоедова. — Приезд в Петербург. — Драматургия. — Дипломатическая служба. — Вывод из Персии беглых. — Определение к А. П. Ермолову. — «Горе от ума». — Стихотворение «Телешовой». — «Хищники на Чегеме». — Меланхолия. — Любовь к России. — Служба при Паскевиче. — Письма Грибоедова. — Туркманчайский трактат. — Грибоедов — полномочный министр. — Трагедия «Грузинская ночь». — Объяснение с Ниной Чавчавадзе. — Женитьба. — Известие о смерти Грибоедова . . . . . 9

Ф. Б. — Как люди дружатся.

Встреча в Варшаве. — Больной гусар. — Знакомство и сближение с Грибоедовым. — «Основание» дружбы Грибоедова с Булгариным . . . . . 31

С. Бегичев. — Ответ рецензенту.

Музыкальные способности Грибоедова. — «Дмитрий Дрянской». — «Молодые супруги». — Собрания у А. А. Шаховского. — «Своя семья». — «Притворная неверность». — Литературные вкусы Грибоедова. — Первые сцены «Горя от ума». — Дуэль Шереметева с Завадовским. — Назначение в Персию. — Отзыв Грибоедова о Ермолове. — Сожжение 1-го акта «Горя от ума». — Грибоедов — шафер у Бегичева. — 3-й и 4-й акты «Горя от

стр.

ума». — «Юность вещего». — В чем видел Грибоедов свое призвание. — «Веселость моя исчезла». — «Грузинская ночь». — Тяжелые предчувствия . . . . . 36

А. Бестужев. — Знакомство мое с Грибоедовым.

Предубежденность Бестужева против Грибоедова. — Знакомство с Грибоедовым. — Разговор о Байроне, Гете и Шекспире. — Дружеское объяснение. — Чтение Грибоедовым своей комедии. — Высокие черты характера Грибоедова. — Грибоедов о женщинах . . . . . 47

П. Каратыгин. — Из моих записок.

В театральном училище. — Попытка постановки «Горя от ума» на школьном театре. — Запрещение постановки «Горя от ума». — Грибоедов за фортепиано. — Обед у Хмельницкого. — Столкновение с Федоровым. — Проделки Александра Грибова. — Арест Грибоедова в 1826 г. — Прощание с Грибоедовым . . . . . 55

II

Н. Шимановский. — Арест Грибоедова.

Смерть Александра I и присяга императору Константину. — В главной квартире А. П. Ермолова. — Новая присяга. — «Кутерьма» в Петербурге. — Прибытие фельдъегеря Уклонского. — Приказ об аресте Грибоедова. — Обыск. — Возвращение Грибоедова на Кавказ . . . . . 69

Д. Завалишин. — Воспоминание о Грибоедове.

Встречи с Грибоедовым у Сомова и А. Одоевского. — Грибоедов и А. Одоевский. — «Горе от ума» рукописное. — О прототипах «Горя от ума». — В Главном штабе. — Капитан Жуковский. — Полковник Любимов. — Прогулки из-под ареста в кондитерскую Лоредо. — Опасная встреча. — Вопросные пункты Грибоедову. — Совет полковника Любимова. — Делопроизводитель Ивановский. — «Горе от ума» в качестве улики. — Грибоедов и современники. — Обстоятельства, способствовавшие спасению Грибоедова. — Грибоедов и Булгарин. — Портреты Грибоедова . . . . . 77

III

Денис Давыдов. — Из воспоминаний о 1826 годе.

Попутчики. — Грибоедов о Паскевиче. — Отрицательное отношение Д. В. Давыдова к Грибоедову. — Взаимо-

стр.

отношения Грибоедова и Ермолова. — Обстоятельства гибели Грибоедова . . . . . 101

Н. Муравьев-Карский. — Из записок.

Поединок Грибоедова с Якубовичем. — Ранение Грибоедова. — Грибоедов и Ермолов. — Недоразумение между Грибоедовым и Муравьевым. — «Силлогизм человеческого преследования». — Занятия восточными языками. — Снова недоразумения. — Дуэль Кюхельбекера с Похвисневым. — Сватовство Муравьева и участие в этом Грибоедова. — Изгнание грека Севиниса. — Приезд Дибича. — Смещение Ермолова. — Взбалмошность Паскевича. — Столкновение Муравьева с Паскевичем. — Как пишутся реляции о победе. — Поездка Грибоедова в лагерь Аббаса-Мирзы. — Дипломатические способности Грибоедова. — Женитьба на Нине Чавчавадзе. — Проект учреждения компании «на подобие Восточной Индии». — Известие об убийстве Грибоедова. — Ратоборство его «со всем царством персидским». — Разгром русской миссии. — Интриги англичан и попустительство персидского правительства. — Спасение Мальцова. — Вдова Грибоедова. — Приезд Хозрева-Мирзы в Россию . . . . . 108

IV

Реляция происшествий, предварявших и сопровождавших убиение членов последнего российского посольства в Персии.

Рассказ персиянина. — Путешествие из Тавриза в Тегеран. — Состав русского посольства. — Методы продовольствования посольства. — Злоупотребления Рустем-бека. — Торжественные встречи в пути. — Празднества в Казвине и бесчинство Рустем-бека. — Реквизиции и поборы. — Неблагоприятные астрологические предзнаменования. — Въезд в Тегеран. — Церемония представления шаху. — Отступления Грибоедова от этикета. — Столкновения между населением и посольской прислугой. — Промедление с доставкой подарков шаху. — Освобождение пленных. — Награждение Грибоедова орденом Льва и Солнца. — Прощальная аудиенция у шаха. — Появление Мирзы-Якуба. — Перевод пленниц Аллаяр-хана в посольский дом. — Возмущение мулл. — День 30 января 1829 г. — Штурм здания русской миссии. — Смерть Мирзы-Якуба. — Геройская смерть доктора Мальмберга. — Смерть Гри-

стр.

боедова. — Издевательства над телами убитых. — Как спасся Мальцов. — Похороны жертв . . . . . 151

И. Мальцов. — Из донесений.

Глава I.

Почести, оказанные Грибоедову в Тегеране. — Несговорчивость Мирзы-Якуба. — Мальцов и Мирза-Якуб в духовном суде. — Вопрос о насильственно удерживаемых в русской миссии женщинах. — Разгром русской миссии. — Красноречие, вместо штыков. — Перевод Мальцова переодетым во дворец губернатора . . . . . 185

Глава II.

Заинтересованность штабс-капитана Шахназарова в деле Мирзы-Якуба. — Нота Грибоедова. — Чудесное спасение Мальцова. — Вероломный совет муджтехида. — Притворство Мальцова . . . . . 192

Глава III.

Осведомленность персидского правительства о готовившемся погроме. — Единственный способ истребить Мирзу-Якуба . . . . . 195

Глава IV.

Как удалось Мальцову сохранить свою жизнь. — Его боязнь снова попасться «в когти персиян». — Ходатайство Мальцова . . . . . 197

Г. А. — Смерть вазир-мухтара (Рассказ Амбарцума).

Опасные ночные визиты. — Осквернение ислама «кяфиром». — «Эй Алп, салават!» . . . . . 199

И. Симонич. — Убийство русского посланника.

О причинах тегеранской катастрофы. — Гнев Фет-Али-шаха. — Мудрый совет Абул-Гасан-хана. — Смущение шаха и сановников после катастрофы. — Непонятная судьба! . . . . . 202

К. Боде. — Смерть Грибоедова.

Непопулярность Грибоедова при шахском дворе. — Участие бахтиарцев в разгроме посольства. — Надругательство над телом Грибоедова. — Вдова Грибоедова в Тав-

стр.

кризе. — На могиле Грибоедова. — Оценка его образа действий в Персии. — Недостаточное признание современниками заслуг Грибоедова и беспристрастный суд потомства . 207

V

А. Амбургер. — 1 — 3 мая 1829 года.

День грусти и печали. — Встреча тела Грибоедова. — Траурное шествие. — Открытие гроба. — Последнее желание Грибоедова . . . . . 215

А. Пушкин. — Из «Путешествия в Арзрум».

Вид Армении. — Двойной переход. — Армянская деревня. — Гергеры. — Грибоедов . . . . . 218

В. Григорьев. — Описание последнего долга, отданного А. С. Грибоедову в Тифлисе.

Парадная процессия. — Встреча в Нахичевани. — Перевезение тела Грибоедова из карантина в Тифлис. — Встреча его Ниной Грибоедовой. — Монастырь св. Давида. 221

VI

Д. Смирнов. — Рассказы о Грибоедове.

Глава I.

Рассказы С. Н. Бегичева и Б. И. Иона. — Арест Грибоедова по делу 14 декабря. — Дорога с фельдъегерем Уклонским до Петербурга через Москву и Тверь. — Четверостишие Грибоедова о своем заключении. — Искусство Грибоедова очаровывать окружающих. — Ночные прогулки Грибоедова из-под ареста к Жандру. — Случай с надсмотрщиком. — Оправдание. — Возвращение на Кавказ. — Паскевич ждет Грибоедова в Воронеже. — Предположения Грибоедова о женитьбе на дочери частного пристава. — Деятельное участие Грибоедова в персидской кампании 1827 — 28 гг. — Отношения к Аббасу-Мирзе. — «Хладнокровная храбрость» Грибоедова . . . . 229

Глава II.

Дуэль Шереметева с Завадовским из-за танцовщицы Истоминой. — Причина дуэли. — Вмешательство Якубовича. — Описание дуэли на Волковом поле. — Смертельная рана Шереметева. — Слова Каверина. — Угроза Яку-

стр.

бовича. — Встреча Грибоедова с Якубовичем в Тифлисе. — Дуэль. — Грибоедов и Якубович ранены. — Причины катастрофы 30 января 1829 г. — Лакеи Грибоедова и персидские женщины. — Самозащита Грибоедова перед смертью. — Встреча Д. А. Смирнова с Булгариным . . . 239

Глава III.

Первое знакомство с Жандром (28 апреля 1858 г.). — «Притворная неверность». — Впечатление на публику от ареста Грибоедова. — Жандр о ночных визитах к нему арестованного Грибоедова. — Новые подробности ареста. — Прогулки арестованного Грибоедова днем по Петербургу. — Роль делопроизводителя Ивановского. — Обход ген. Потаповым заключенных в Главном штабе. — Грибоедов со штыком часового у Жандра. — Объяснение дружбы Грибоедова с Булгариным. — Еще о смерти Грибоедова. — Слова Грибоедова при назначении его посланником. — Последние проводы его из Петербурга. — Эпиграмма на М. Дмитриева. — Об увлечении Грибоедова Телешовой. - Болезнь Д. А. Смирнова . . . . . 244

Глава IV.

Визит Жандра к Смирнову 2 июня 1858 г. — Разговор о Герцене и освящении Исаакиевского собора. — «Лубочный театр» Грибоедова. — Отзыв о нем Жандра. — О трудных театральных временах в царствование Александра I. — Арест Сушкова, высылка П. А. Катенина. — «Реквизитор». — Любовь Грибоедова к театру и кулисам. — Воспоминания о кн. А. И. Одоевском. — «Горе от ума» — светское евангелие. — Суеверность Грибоедова. — Сверхъестественные встречи знакомых на улицах Тифлиса и Петербурга. — Аналогичные случаи с В. С. Миклашевич. — Портрет А. С. Грибоедова. — Отзывы о нем сестры Грибоедова, П. Каратыгина, кн. В. Ф. Одоевского и А. А. Жандра . . . . . 261

Глава V.

Рассказы Жандра о подробностях дуэли Шереметева с Завадовским. — Роль Истоминой, Грибоедова и Якубовича в столкновении Шереметева с Завадовским. — Объяснение слов Каверина, сказанных после дуэли. — Ранение Грибоедова Якубовичем. — Свидетельство Жандра о полном участии Грибоедова в заговоре 14 декабря. —

стр.

Объяснение слов Грибоедова «о ста человеках прапорщиков». — Порядок приема в члены тайного общества. — Пользование казенными печатями для сношений между думами. — «Зеленая книга». — «Желтая книга». — Благоприятные для Грибоедова показания арестованных . . . 274

Глава VI.

Жандр в кругу семьи. — Жандр-пурист. — Как записывал Смирнов рассказы Жандра. — Сравнение Жандра с С. Н. Бегичевым . . . . . 283

Глава VII.

Свидание Смирнова с Жандром в конце февраля 1859 года. — Воспоминания о недавно умершем С. Н. Бегичеве и его дружбе с Грибоедовым. — Случай в католическом монастыре. — Сообщение Жандра об автографе «Горя от ума». — Многочисленные списки «Горя от ума». — Главный список А. А. Жандра, исправленный автором собственноручно. — Допрос Жандра Николаем I. — О портфелях для бумаг. — Причина дуэли Чернова и Новосильцева и обстановка похорон того и другого. — Надежды на помилование декабристов. — Где похоронены тела повешенных . . . . . 285

Глава VIII.

Первое знакомство Смирнова с Сосницким. — Помощь Грибоедова Сосницкому и визиты его к Сосницкому в 1815 г. — Инцидент во время чтения Грибоедовым своей комедии. — Гостеприимство Сосницкого . . . . . 291

Глава IX.

«Липецкие воды» и война из-за них в печати. — Стихи Грибоедова по этому поводу. — Нападки М. Н. Загоскина на Грибоедова в «Северном Наблюдателе». — «Лубочный театр». — Отказ печатать эти стихи и размножение их в тысяче списков. — Поездка Смирнова к Сосницкому в Павловск . . . . . 294

Примечания . . . . . 301

Указатель имен . . . . . 337

Содержание . . . . . 345

---

*Опечатка.* На стр. 119, строка 10 сверху, напечатано: Александру Перфильевну; следует читать: *Александрину Перфильеву.*

Цена 1 р. 50 коп.

СКЛАД ИЗДАНИЯ:
Издательство «КРАСНАЯ ГАЗЕТА»
Ленинград 2, Фонтанка 57